

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

**ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

"НАУКА"
МОСКВА-1994

СО Д Е Р Ж А Н И Е

О.Н. Трубачев (Москва). Мысли о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания (по поводу новой книги: Leszek Moszyński. Die vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft. Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien, 1992).....	3
В.Б. Крысько (Москва). Заметки о древненовгородском диалекте (II. Varia)	16
Г.А. Климов (Москва). Фрагмент культуры древних картвелов по данным языка	31
Т.Е. Янко (Москва). Когнитивные стратегии в речи: коммуникативная структура русских интродуктивных предложений.....	37
Р.И. Розина (Москва). Когнитивные отношения в таксономии. Категоризация мира в языке и в тексте	60
И.Г. Рузин (Москва). Когнитивные стратегии именования: модусы перцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и их выражение в языке	79
П.И. Кузнецов (Москва). Система узковокалических формантов в древнетюркском – среднеазиатско-тюркском – османском – турецком языках.....	101
Т.А. Михайлова (Москва). "Красный" в ирландском языке: понятие и способы его выражения	118
В.С. Храковский (Санкт-Петербург). Условные конструкции: взаимодействие кондициональных и темпоральных значений	129

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов (Москва). Из неопубликованного наследия А.М. Сухотина.....	140
А.М. Сухотин. Тезисы к докладу-реферату о "Курсе общей лингвистики" Фердинанда де Соссюра	142
Н.А. Замятина (Москва). Рукописная картотека "Материалы для словаря графических искусств старого и нового времени" П.К. Симони.....	144

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Р е ц е н з и и

Г.К. Вернер (Бонн). Языки мира. Уральские языки	147
Н.Н. Семенюк (Москва). <i>D. Krohn Grundwortschätze und Auswahlkriterien. Metalexikographische und fremdsprachdidaktische Studien zur Struktur und Funktion deutscher Grundwortschätze</i>	150
А.Е. Аникин (Новосибирск). <i>Linguistica Baltica. Colloquium Pruthenicum Primum</i>	152
Указатель статей, опубликованных в 1994 г.	157

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов,
 А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик,
 Г.А. Климов (отв. секретарь), Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров,
 В.М. Солнцев, Н.И. Толстой (главный редактор),
 О.Н. Трубачев (зам. главного редактора), А.М. Щербак

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2.
 Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания".

Тел. 201-74-42

Зав. редакцией Н.В. Ганнус

© 1994 г. О.Н. ТРУБАЧЕВ

**МЫСЛИ О ДОХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ СЛАВЯН В СВЕТЕ
СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

(по поводу новой книги: Leszek Moszyński. Die vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft. Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien, 1992*)

Известный польский специалист по старославянской письменности, постоянно интересующийся также историей религии и религиозной терминологии, профессор гданьского университета Лешек Мошинский представил нам в настоящей книге свой вариант праславянской (дохристианской) картины духовного мира. Автор вполне сознает, сколь ответственна его задача – подвести обдуманый современный итог после исследований А. Брюкнера, С. Урбаньчика, Х. Ловмянского и др., а также с учетом "новой сравнительной мифологии" школы Дюмезиля. Естественно, что он начинает с постановки вопросов, и первый из них – религия или мифология? Его ответ гласит (не только потому, что источники скудны и представлены неравномерно¹): "Фактически праславянской мифологии в классическом смысле не было. Так называемая праславянская мифология – это скорее научная фикция..." (с. 2). По мнению Урбаньчика, которого автор цитирует, мы обязаны термином "славянская мифология" традиции или же собственной лени (с. 17). Даже если дело не столь однозначно, ясно одно: теория Жоржа Дюмезиля с ее трехчастным миром людей и богов не подходит безоговорочно к представлениям наших предков. При этом изображение может выглядеть интересно и даже красиво, но не без потерь для объективного знания, в первую очередь – для славянского своеобразия (ср. с. 17).

После некоторых филологических вступительных наблюдений Мошинский занимается тем, что он называет праславянской полидоксией: магией, колдовством (*вльхвъ, врачъ, балиш, диво, чудо*), а главным образом – демонологией: праслав. **vytkod(ь)lakъ* "оборотень", которое автор этимологизирует как **vyiko-kud-yl-akъ* "похожий на волка" + "взломаченный, кудлатый", далее, **qpyrь/qpирь* "привидение", толкуемое Мошинским не совсем вразумительно как "пернатая плененная душа умершего" (?), тогда как имеет в виду "revenant, возвращающийся мертвец", который способен покидать свою могилу, т.е. "нечто вылетающее наверх", при этом *q*-восходит к и.-е. **ana* "вверх, сверху", в гетеросиллабической позиции – *on-* в праслав. **on-utja* (русск. *онуча* "верхняя обмотка"), с сербохорв. *vāmpīr* "вампир, упырь" в качестве праславянского словообразовательного варианта **vьnъ-pirь/pyrь*, тоже "улетающее, ускользящее наружу". За этими существами апокрифическими

* Статья представляет собой переработанный (переведенный на русский язык) вариант авторского немецкого оригинала, публикуемого в "Zeitschrift für slavische Philologie" (Bd 54,1, 1994) под названием "Überlegungen zur vorchristlichen Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft".

¹ "Хронография" Малалы, пантеон Владимира Святого, свидетельства прочих летописцев, из которых некоторые поддельны или же, возможно, являются вторичными интерполяциями, собственно мифологические зачатки представлены почти исключительно у прибалтийских славян, не без влияния религиозно-политического сопротивления против только еще начинающегося "Drang nach Osten"; кроме этого – следует учитывать использование при реконструкциях фольклорно-этнографического и тому подобного материала в записях нового времени.

следуют праслав. **běszь* и **čьrьrь*, нашедшие – хотя и неодинаковый – доступ также в христианскую терминологию, особенно **běszь*, главный термин для беса, дьявола. Не удовлетворившись этим вполне, создали для той же цели уже в раннее время еще несколько неологизмов, уклончивых табуистических обозначений: *неприянь*, калька с др.-в.-нем. *un-holdo*, и *лжжавыи*, собственно "ходящий извилистыми путями", не говоря о синонимах, представляющих собой книжные заимствования из греческого и семитского, но ничего общего с праславянской религией не имеющих (см. о них специально дальше в книге Мошинского).

Дальнейший особый вопрос представляет способ обозначения души в славянском. Христианское учение о бессмертии человеческой души не означает, что в понимании некрещеных славян душа человека сразу после смерти умирала, что, к тому же, было бы несвойственно анимистическому мировоззрению. Об исконно праславянских терминах **духъ*, **duša*, канонизированных христианством, мы еще будем говорить дальше. Здесь отметим лишь, что праслав. **duša*, возведенное христианством в ранг универсального термина для "бессмертной души", ранее, вероятно, употреблялось преимущественно как обозначение "живой души", что было также в соответствии с этимологией слова **duša* (*душа живая, дыхание*). Уклончивый, табуистический (с христианской точки зрения, суеверный) взгляд на обозначаемое – вот что было мотивом всех иных названий походов души после смерти человека. Я имею при этом в виду такие слова, как **навь*, **тана* и др. Похоже, Мошинский недооценил эту разницу между христианским и дохристианским способом видения. Это сказалось на толковании слов, напр. **навь*. Архаическое обозначение мертвеца (ст.-слав. **навь* *νεκρός, mortuus*; род.п. мн. *из навши = отъ мрътвыхъ*. Ио. 12, 9) имеет достоверное праиндоевропейское происхождение. Для меня остается не вполне понятной мысль Мошинского о вторичном распространении этого слова у восточных славян (буквально: "во время так наз. второго южнославянского влияния?" с. 27). И это притом, что древнейшие летописи, а также народные говоры, великорусские и украинские, обнаруживают довольно порядочно словарное гнездо: *навь, навье, навий, навский день* "день поминовения покойников", *навський (мавьський) великдень, навья кость*, укр. *мавка* "некрещеный ребенок женского пола, обращенный после смерти в русалку". Отсутствие праслав. **навь* в польском заслуживает особого объяснения, но не является "неопровержимым" аргументом против принадлежности этого слова к праславянской демонологии (ср. с. 28). С миром душ умерших связано так или иначе слово *Велес*: некий мифический *Велесь* упоминается в "Слове о полку Игореве", еще один *veles* – в старочешском ругательстве *k velesu* (что-то вроде "к черту"). Определенные родственные отношения с лит. *vėlės* мн. "души умерших", *vėlnias* "черт", известные с давних пор, не являются, однако, основанием для того, чтобы объяснять вместе с автором славянское слово как заимствование из балтийского (с. 29–30, 43), тем более, что сам Мошинский несколькими страницами дальше, а также в другом месте [1] настойчиво приписывает его влияниям кельтского, хотя и здесь речь скорее идет об индоевропейских родственных связях. Это своеобразное корневое гнездо будет интересовать нас также в дальнейшем. Кроме нескольких германизмов и латинско-романских элементов различного распространения из понятийной сферы мира духов (польск. *skrzat* и родственные, *strzyga, siriga*, ст.-слав. *русалия*, откуда русск. *русалка*), автор отмечает собственно славянские слова, вероятно, более позднего образования, главным образом в польской форме (*zmora, topielica, południca, dziwożona*), не подвергая их дальнейшему анализу (см. с. 31), что было бы, возможно, интересно в плане истории слов и понятий (включая отношения христианско-дохристианского взаимодействия), ср. например, тему беса полуденного (русс.-цслав.) 'daemon meridionalis'.

О возможно праславянском женском божестве **Мокось*, др.-русс. (у Мошинского

– "altostslav".) *Мокошь* автор не может нам сообщить ничего нового (с. 32). Мошинский трактует раздельно вышеупомянутый мир духов (II. Праславянская полидокия, с. 18–37) и собственно мир богов (III. Праславянская религия, с. 38–113), что, кажется, до некоторой степени противоречит его собственному суждению: "Праславянские демоны не стояли между человеком и богом..." (с. 37). Если развить его логически несколько дальше, это суждение обрело бы такую формулировку, что праславянские духи обязательно принадлежали к тому же миру, что и праславянские боги, а историко-типологическим основанием для этого явилось то, что понятие "богов" едва ли было у праславян столь закончено и развито, как в более развитой религии, оно было у них, так сказать, на полпути в этой эволюции. Приблизительно так обстояло дело с варварскими βασιλεῖς, reges в античной и средневековой традиции: это не были цари, короли в собственном смысле слова. Наша попытка ослабить оппозицию "дух" – "бог" в праславянской культуре дает также дальнейшую перспективу для суждений о предмете в его истории. Ввиду распливчатости примитивного понятия "бога" мы вправе усомниться, что процесс протекал точно так (как представил его Дитрих у Мошинского, с. 38–39): "и.е. *deiwos "бог-господин ясного неба"... [>] *bhagos > *Bogъ "бог-податель". Но спрашивается, знали ли вообще прежде древнейшие праславяне это *deiwos "бог". Равным образом должно считаться распливчатым славянское обозначение "рая" – *rajь. Отсутствие оппозиции "рай" – "ад" (не говоря уж о "чистилище, purgatorium"!)) имело своим следствием то, что праслав. *rajь могло означать только "потусторонний мир" вообще. Сравнивать его по-прежнему с иран. rāy "богатство, счастье" (как это делает Мошинский: с. 39, примеч. 159) теряет всякий смысл. Я обсудил эту проблему подробнее в другом месте [2, с. 173–174], сославшись на мнение Мейе о том, что славянское название рая *rajь имеет ярко выраженный народный характер, а, кроме того, указав на то абсолютно игнорируемое обстоятельство, что европейский, международный термин для рая был получен через посредство греч. παράδεισος из совершенно другого иранского источника с исходным значением "огороженное место, парк".

В вопросе об иранских этимологиях древнерусских теонимов *Хорсь*, *Стрибогъ*, *Съмаргль* Л. Мошинский занял сдержанную позицию, следуя в этом Ю. Речку (с. 47). Тем больше бросается в глаза готовность Мошинского считать, что кельтские влияния простигались до острова Рюген (с. 50). Но современное языкознание отвечает на вопрос о кельтах на берегах Балтийского моря отрицательно (ср., например, решительную критику подобных рассуждений Шахматова у Фасмера [3]). Во всей зарейнской Германии кельты едва ли продвинулись севернее верховьев Эльбы, что же касается некоторых более северных находок (например, серебряный котел с кельтскими богами, найденный в Дании), то их можно отнести на счет торгового и военного импорта (ср. [4], с картой). При этом не все и в аргументации Мошинского относится к языкознанию в собственном смысле слова, будь то засвидетельствованное у прибалтийских славян и, по мнению Мошинского, кельтское, почитание лошадей или же многоголовость богов (там же), например, *Triglov* у полабских славян, несмотря на то, что автор никак не может решить сам, не скрывается ли в этом образ христианской троицы (с. 59). Поликефалия (вариант: полимастия "многососцовость") принадлежит, однако, к распространенным представлениям о божествах, ее пытались связать с родовой организацией [5, с. 8–9], дальнейшие соображения о западнославянских групповых божествах см. [6]. Мошинский высказывает предположение, что в имени полабского бога *Prove vel Rणे* (следовательно, совершенно недостоверном со стороны формы) представлено имя кельтского бога *Borvol/Bormo* (с. 52), но против этого объективно свидетельствует славянская по виду форма имени, вероятно, того же самого бога *Poreuithus*, явно образованная с адъективным суффиксом *-ov-itъ*, от *pora* "время года, жизненная сила". Неправдоподобность реконструкции и эмендации **Taran-vitъ* (?) из *Turupit* в

древнеисландском источнике (с. 55) означает для нас невозможность говорить о каком-то боге по имени **Taran̥* из кельтского *Taranis*. Далее, автор склонен видеть в слав. *Veles* заимствование из древнекельтского **uel-ēt-s*, откуда древнеисландское *filí* (им.п.) "ясновидящий, поэт" (род.п. *filed*, дат. *filid*, вин. *fileda*). Но, насколько уже явствует из исторического имени (возможно, кельтского по происхождению) ясновидящей жрицы – *Veleda* – у одного германского племени (по Тациту), заимствованное имя (также в нашем случае) скорее кончалось бы на *-t* или *-d*, не говоря о прочих сомнениях со стороны формы, а также семантики (в случае со славянским Велесом речь идет о божестве, а не о поэте или ясновидце). Поэтому целесообразно оставить пока кельтское слово в стороне, а имя Велес нам еще потребует обсуждения в более широких связях.

Но сначала обратимся к главному слову как христианской, так и дохристианской славянской религиозной лексики, — прилагательному **svęťь*. Это слово обладает в историческую эпоху во всех славянских языках практически одним-единственным значением "святой", и его охотно воспринимают как христианское и опрокидывают в праславянскую древность. Но это вряд ли имеет что-нибудь общее с семантической реконструкцией. Так, наш автор неоднократно утверждает, что праславянское **svęťь* первоначально означало "светлый, блестящий" (с. 60, 93). Один из богов у северо-западных славян носил имя *Světovítъ*. Это имя, с одной стороны, стоит в ряду двучленных, по большей части княжеских, личных собственных имен, таких, как русск. *Святослав*, *Святополк*, ст.-польск. *Świętosław*, *Świętopolk*, также и у других славян, с другой стороны – в ряду производных имен с суффиксом *-ovítъ* (см. выше), ср. прежде всего древнеполабские теонимы *Jarovit*, *Rujevit*, *Porevit*. Было бы заблуждением реконструировать на их материале существительное **vítъ* (с каким бы то ни было значением – 'dominus, potens' или "бытие", ср., с литературой, в рассматриваемой книге Мошинского, с. 61). Не менее нелепой представляется попытка усмотреть в нем чуть ли не "верховного бога лехитских славян по имени **Vitъ* (М. Рудницкий у Мошинского, там же) или, наконец, христианского святого Вита. Эти мифы современной науки отдают чистой народной этимологией и напоминают мне похожий лингвистический анекдот из области далматинско-хорватского (рассказанный мне в свое время в Загребе), а именно: апеллатив *svetòdnik* "маяк", разумеется, из **světìdlnikъ*, сюда же русское *светильник*, некоторые тамошние жители понимали как **svetī Onik* (род. п. *svetog Onika!*) "святой Оник"... Едва ли удачна еще одна этимология *-vítъ* в составе имени *Světovít* из первоначального **viktъ* < и.-е. **ueik-t-* или **uik-t-* с значением корня "жизненная сила", ср. лат. *victima* "жертва" [7, с. 40]. Нам кажется более перспективным предполагать в образованиях на *-ov-itъ* своего рода степень сравнения, ср. там же [7, с. 40] мнение Р. Якобсона о том, что в случаях *Jarovit*, *Rujevit*, *Porevit* мы имеем дело с обозначениями различных ступеней жизненной силы. Тем самым мы возвращаемся к концепции *Světovít* как суффиксального производного. Этому вполне отвечает констатация, что *Světovít*, собственно говоря, является эпитетом [8, с. 421]. Этимология и употребление слова **svęťь* подсказывают нам несколько иное решение, отличное от первоначального значения "светлый, блестящий", как у Мошинского, выше. И.-е. **k̑uen-to-*, (откуда слав. **svęťь*) обнаруживает исходное значение "набухший, выросший, усилившийся", ср. [7, с. 17 и passim]. Терминологизированный сакральный характер с оттенком внешнего "сияния" прибавился сюда позже. Мы согласны с Топоровым, что, например, **Světoslavъ* – "не тот, чья слава "сакральна", но тот, у кого она возрастает, ширится" [7, с. 40]. Но, может быть, еще явственнее это в случае с именем **Světopolkъ* = "тот, полк (дружина) которого множится". Широкоупотребительная по сей день русская поговорка: *Свято место пусто не бывает* (которую следует понимать в том смысле, что "изобильное место не бывает пустым") говорит сама за себя и дышит

архаикой. Мы имеем здесь перед собой смысловую оппозицию, едва ли замеченную исследователями, *святой – пустой* (т.е. с чертами досакрального, дохристианского употребления и при полном отсутствии признаков блеска). Русское *пустосвят* "исполнитель внешних обрядов для виду" (словарь Даля) уже показывает дальнейшее семантическое развитее. Одним словом, исследуя старую религиозную терминологию и через нее – более древнее состояние культуры, мы нередко рискуем модернизировать и подгонять под свой собственный (христианский) способ видения многое из исследуемого. Что и случилось с Мошинским, который резюмирует свое исследование таким образом (с. 124): "Праславяне имели только одного Бога, которого они представляли себе как "лучезарного подателя" (*světъ Bogъ*)". Даже если посмотреть на дело чисто филологически, оно представляется далеко не таким простым и однозначным. Возьмем общеизвестное и цитируемое также Мошинским место из Прокопия (*De bello Gothico* III 14, 23): *θεὸν μὲν ἕα ἕνα, τὸν τῆς ἀστραλιῆς διπλοῦρον ἀλάτων κύριον μόνον αὐτὸν νομίζουσιν εἶναι* "они (славяне. – *О.Т.*) имеют одного бога, творца молнии, которого они считают единственным господином всего сущего" (так у Мошинского, с. 66). Но было бы небесполезно для всех дальнейших догадок автора о том, имеем ли мы здесь дело с монотеизмом или энотеизмом, уделить внимание тому факту, что лучшая рукопись Прокопия дает именованное чтение: *θεῶν* (не *θεόν!* – *О.Т.*) *μὲν ἕα ἕνα...* (и далее по тексту), т.е. надо читать "одного из богов". Ср. [9]. Таким образом, что было чрезвычайно характерно для дохристианской, праславянской религии, так это плюрализм **bozi* (вин.п. мн. **bogy*, ср. специально русскую начальную летопись о деятельности Владимира в связи с языческим пантеоном и последовавшим затем низвержением богов), а не *singulare tantum *Bogъ*, столь привычное для христианского мироощущения. Может быть, именно это культурно-исторически вторичное восприятие побудило автора к построению несколько деланной этимологии праслав. **dadjъbogъ* как некоей формулы приветствия **dadjъ Bogъ* "дай Бог (тебе счастья)", своеобразный эквивалент христианского *спаси Богъ* → русск. *спасибо* (с. 68–69).

Памятуя о подзаголовке книги Мошинского ("... в свете славянского языкознания"), мы с сожалением констатируем, что большинство этимологий, предложенных автором, едва ли можно назвать удачными, будь то **tino-golvъ* ("Христос в терновом венце"?! – о языческом боге победы у полабян на основе *Tjarnoglofi* древнеисландской традиции, с. 74–75), или дешифровка **potaga < Podaga*, праеротепия которой упоминается в источниках (с. 79), но *Podaga* (вариант: *pogaga*), заслуживало бы более естественного объяснения, уже предлагавшегося другими исследователями ранее, что-то вроде "пожар", чем выражалась мощь бога. К той же семантической сфере могло бы принадлежать божество северо-западных славян *Pripegala*, если из **Pripěkala*, отглагольное имя от **pripěkati* "припекать". Мошинский смотрит на него иначе, связывая с польск. *opieka* "забота, попечение" (с. 81). Но столь резкие семантические различия одного и того же глагольного корня **pekti* "жечь, печь, жарить" и "заботиться" зависят главным образом от префикса.

"До сих пор языкознание едва ли привлекалось в исследованиях по дохристианской славянской религии", – таков приговор, выносимый автором (с. 88), и мы должны на этот раз признать его правоту.

Мошинский придерживается мнения, что слова **duxъ* и **duša* не принадлежали к праславянской религиозной лексике (с. 97). Выше мы попытались затронуть проблему происхождения души после смерти, насколько они (похождения) могли обозначаться с помощью табуистического древнего словарного состава, служить предметом представлений, а также по возможности проследиваться и вскрываться лингвистическим путем. То, что до смерти носило название **duša*, продолжает, по праславянским представлениям, жить и после смерти, но только – под новыми именами **navъ*, **mana*, **manъ* и, возможно, также другими, ср. еще и.-е. **ān-*, откуда

не только нем. *Ahn* "предок", но и слав. **vъликъ* "внук", этимологически "того же рода, что и предок, дед, принадлежащий предку, деду" [5, с. 74–75]. Существенная деталь: в книге Мошинского я не встретил слова (и понятия) табу ни разу, отчего явно пострадало лингвистическое исследование материала. Равным образом в ряде случаев, кажется, имело место пренебрежение лингвистической типологией. Вот только один пример, который, однако, с тех пор как я его обнаружил, является для меня чудом лингвистической типологии и славянского культурного своеобразия. Внешне тот же самый лексический материал служит предметом обсуждения и у Мошинского в части III, главе 2 "Дохристианская религия славян в свете праславянского словарного состава", параграф с) "Проблема ответственности человека после смерти" (с. 97 и сл.). Там написано совершенно правильно, что "проблема грядущей ответственности была чужда праславянам. Праславянский словарный состав не содержит слова, обозначающего "ад, преисподнюю" (с. 97). Таким образом, не было лексико-понятийной оппозиции между "раем" и "адам", мимо чего автор проходит молча. Но поскольку упраздняется названная оппозиция, а вместо двух четко очерченных понятий остается одно расплывчатое "потусторонний мир, тот свет" (см. об этом уже выше), отпадает надобность и в этом разделении на хорошие и плохие души. Этого не позволяет делать элементарный структурализм, отчего в праславянский потусторонний мир (**raǰь*) переселяются все умершие. Иначе мы получим не реконструкцию праславянского состояния, а скорее иррадиацию собственного христианского сознания на собственные научные представления. Но самыми важными, на мой взгляд, остаются дальнейшие типологические различия. На одной стороне мы констатируем эту славянскую ситуацию с наличием собственного названия "рая" **raǰь*, отсутствием заимствования из греч. *παράδεισος* и с заимствованными названиями "ада" (*адъ, нькъль*). Совершенно противоположную ситуацию мы наблюдаем на другой стороне – у большинства неславянских народов Европы и в их языках. Лат. *infernum* и его продолжения во всех романских языках, нем. *Hölle*, англ. *hell* и т.д. "ад", показывают нам, что в западном языковом и культурном ареале туземными и дохристианскими были как раз названия ада, преисподней, в то время как понятие и название "рай" там оказалось импортированным извне вместе с христианизацией [10]. Нельзя не высказать своего удивления по поводу того, что столь глубокое различие между Востоком и Западом до сих пор, насколько я знаю, не привлекло внимания.

Среди прочих лингвистических и этимологических неудач книги следует, возможно, выделить анализ лексического семейства *trъba* "жертва". Автор явно пошел по ложному следу, принимая здесь за исходные значения "чистить", "корчевать (лес)" (с. 109). Конечно, здесь представлен корень **ter-*, расширенный элементом *-b-* и обладающий основным значением "тереть, перетирать, истреблять с помощью чего-то острого", но сакральное значение "жертва" дало не оно. Непосредственно от глагольного значения "перетирать, истреблять" отпочковалось значение "острая необходимость, дело" (ср. литовск. *reĩkia* "надо, нужно", *reĩkalas* "дело", этимологически родственные с значением глагола *riẽkti* "резать" [11, с. 714]). Праслав. **terba*, цслав. *trъба* "victima" < "necessitas" (сюда же польск. *trzeba* "нужно") является хорошей аналогией этому. Когда Мошинский (там же) толкует слово *trъбище* как "очищенное от деревьев, раскорчеванное место", получается еще одна досадная ошибка. Со стороны языка дело ведь абсолютно ясно и однозначно: *trъбище* – это (также в этимологическом смысле) "место требы, жертвоприношения, locus victimae", в соответствии со словообразовательной моделью на *-iŝĉe* и семантической иерархией. Строго говоря, и ст.-слав. *капище* – не обязательно "здание" (к трудному вопросу о храмах), как у Мошинского (с. 112), а точнее – "место того, что называется *капъ* ("идол")".

Что касается обсуждения книги, мы уже близки к цели. Я, конечно, разделяю мнение, что эта тема сложна, трудна и с лингвистической точки зрения обработана

еще в очень малой степени. Вызывает сожаление, что наш автор трактовал проблему слишком фрагментарно. И его заявленная лингвистическая позиция осталась скорее невыполненным обещанием; у Мошинского, безусловно хорошего филолога, перевесила склонность к историко-филологическому (по большей части традиционному) взгляду на вещи. Но одной письменной традиции для реконструкции языка и культуры недостаточно. Напрасно также объектом критики и сомнений Мошинского сделалось использование этнографического материала. Но главное в сущности то, что в его изображении своеобразии праславянской религии оказалось едва ли затронутым.

Остаются уязвимыми для критики и рассуждения автора о том, что мы должны называть религию праславян не языческой (*поганьскъ*), а дохристианской (с. 123, 125). Из этого можно было бы сделать явно опрометчивый вывод, будто речь идет только о немногих столетиях, собственно предшествующих введению христианства, т.е. отрезке времени, которым традиционно любят оперировать историки языка. Но это не так. Следует говорить о самостоятельном, весьма протяженном периоде, значение которого вряд ли можно было бы переоценить, тем более, что его воздействие сохраняло силу и для последующего христианства (ср. то, что сказано выше о понятийной паре "рай" – "ад" в двух культурных регионах Европы). Тем самым ставится вопрос о временной глубине и о том, что она в исследовании Мошинского, по-моему, недостаточна. Так, интерес исследователя простирается не далее середины I-го тысячелетия до н.э., или, выражаясь словами самого Мошинского (с. 125): "Очень древние иранские влияния были не столь существенны... Скандинавские влияния установить не удастся. Протоболгарское влияние было лишь поверхностным. Влиянию кельтской религии подверглись прежде всего западные лехиты". И это все? Как я себе это сейчас представляю, ученый занимается последним периодом развития праславянской языческой религии: уже наличествует понятие бога (богов), не без иранского влияния. Вне поля зрения остался предшествующий период культурной жизни с более примитивным миром духов и характерными нравами и обычаями, но совершенно отличный также по своим языковым и этническим связям, прежде всего славяно-италийским (латинским). Обойти их здесь молчанием было бы едва ли правильно, но тем самым нам придется говорить о другой книге – о моем "Этиогенезе и культуре древнейших славян (лингвистические исследования)", вышедшей в 1991 году [2]. После прочтения книги Мошинского я нахожу это даже настоятельно необходимым, тем более, что прошедшие после этого годы помогли здесь кое-что добавить или объяснить.

Для краткости я буду придерживаться своего тогдашнего изложения, будучи при этом, однако, вынужден произвести некоторый отбор проблем в интересах, так сказать, продолжения диалога с Мошинским. Итак, по порядку: кельтов я вижу значительно южнее – южнее, чем германцы последних столетий до н.э., чей отпечаток носит имя вольков/волохов (*Volcae* > **Walhōz* > праслав. **volsi*/**volxy*) в их продвижении к славянам в Среднее Подунавье. Значительно дальше на восток и не раньше V в. до н.э. имеют место не только иранско-славянские, но и индоарийско-славянские контакты. Это путь к этимологии **Svarogъ* из др.-инд. *svarga-* "небо". Иранская этимология терпит естественно фиаско на факте сохранения этимологического *s-* в начале слова, невозможность исконно праславянской этимологии очевидна из наличия *-r-* внутри слова (если от названия солнца, то почему тогда не *-l-* ?), то, что пишет об этом слове Мошинский (с. 53–54, примеч. 226), неубедительно. Наш вышеупомянутый *terminus post quem* (середина I тысячелетия до н.э.) для контактов с индоарийским ограничивает более глубокую датировку также и для имени "бога солнца" *Svarogъ*. После критики неестественно высокоразвитой трехклассовой культуры (пра)индоевропейских племен по Дюмезилю, Гамкрелидзе и Иванову я обращаюсь к ключевому (в моем представлении) слову славянской культуры **svobjь* "свой" в контексте родовой идеологии и терминологии, ср. в первую

очередь словосочетание **svojb rodъ* "свой род". С идеологией рода естественно сочетается земледельческая идеология со своими суевериями. Так следует понимать, как мне кажется, русск. *колдун*, собственно праслав. **koltunъ* "тот, кто спутывает (хлебные колосья – со злым умыслом)". Памятуя о родовых коннотациях слова **svojb* (и.-е. **sue-*), я рассматриваю праслав. **sъ-тъrbъ* "смерть" как эквивалент русск. *своя смерть* – о естественной смерти – со специфической понятийной нейтрализацией и.-е. **su-I* "suus" и **su-II* "хороший (в нравственном смысле)" – и то, и другое из первоначального **su-* "рождение, род". "Тот свет" обозначался просто как "связанное с (или находящееся за) водой" (своего рода Across the river and into the trees "На той стороне реки, в тени деревьев", как у Хемингуэя), ибо примерно таков этимологический смысл праслав. **rajъ* (**rāi-: *rei-*), а сомнения Фасмера в связи с отсутствием **rajъ* в гидронимии объясняются как сакральный запрет.

Когда в центре картины мира помещается **svojb rodъ* (и.-е. **suo- geno-* "свой род"), уместно говорить скорее об антропоцентризме, но не о трехчастной модели мира. Развитые религиозные системы, семья богов, пантеон появляются относительно поздно, во всяком случае вторично, за ними почти можно наблюдать глазами истории, как, например, за реформой Владимира 980 г. Боги появляются вследствие сублимации низших божеств, и собственно праславянская культура была как раз охвачена этим развитием. Многие при этом остались незавершенными, как бы на полпути, например, **Perunъ* – отчасти бог, а отчасти – чисто нарицательное обозначение грома с молнией, **perunъ*. И в этом сама славянская архаика. Божественность того же Стрибога и Дажбога не следует преувеличивать, это культурные инновации после скифского времени, но все же теонимы (а не формула приветствия!), которые, впрочем, оказались возможны только благодаря расцвету определенного антропонимического типа. Ослепленные блеском более развитых религиозных систем, "героического века" их мифологий (в Древней Индии, Риме и др.), исследователи слишком часто упускают из виду то, что вправе считаться (пра)славянской спецификой. Так, например *Родъ*, олицетворение человеческого рода, вообще не находит места у Мошинского, но надо признать, что в контексте намеченной выше реконструкции **svojb* (**svojb rodъ*) и др. это обрело бы прямой смысл. Похоже, что исследователи религии старшего поколения, навлекшие на себя критику за свою приверженность к этнографии, понимали дело правильнее. Я имею в виду Гейштора, который, правда, идя по стопам Бенвениста и Р. Якобсона, стремился обязательно связать славянского Рода в классическую индоевропейскую мифологическую систему [12, с. 156]. Внутреннесемантические аналогии с римским *Quirinus* (**co-vir-* "мужское содружество"), умбрским *Vofione* (**leudh-*, ср. слав. **l'udъje*), кельтским *Teutates* (*teuta* "род, народ"), может быть, и не лишены интереса. Особенно много занимается Родом Б.А. Рыбаков, ср. целую главу "Род и рожаницы" в его книге о язычестве древних славян [13, с. 438 и сл.], а также его последующую книгу [14, с. 246 и сл.]. После специальной работы И.И. Срезневского 1855 г. и исследований А.Н. Веселовского Б.А. Рыбаков тоже уделяет внимание так называемым рожаницам русских народных верований, этим "паркам, стерегущим домашний очаг", ср. еще специально [15, с. 94 и сл.]. Несколько слов об этих существах, поскольку их образ и название все же не привлекли особого интереса исследователей. Может быть, именно потому, что со стороны языка здесь все кажется таким "понятным" и "прозрачным"? В названии рожаниц, кроме женского характера и преимущественно множественной формы (каковая выразительно связана с родовым коллективом и его идеологией), заслуживает внимания грамматическая сторона и ее отношение к лексической семантике слова. Наш автор Л. Мошинский тоже занимался праславянским **rodjanica* в своей статье о славянских названиях чародеев [16, с. 104–105]. Но от него ускользнуло своеобразие слова: действительное (активное) лексическое значение при страдательном (пассивном) грамматическом виде, ибо **rodjan-ica* принадлежит к

п а с с и в н о й причастной форме прошедшего времени лишь формально. Все говорит за то, что мы здесь имеем, так сказать, функциональный медий (средний залог: пассивная форма + активное значение). И нет никаких оснований для того, чтобы толковать это слово вместе с Мошинским как "ta, która zostafa urodzona"! Аналогичный медий, как и в *рожан-ица*, наблюдается в слав. **ръжанъ*, русск. *пьян*, *пьян-ица* (тоже в основе страдательное причастие с действительным лексическим значением). Нашей задачей было показать здесь высокую архаичность слова *рожанницы*, которую историки культуры чувствовали, может быть, лучше, чем языковеды.

Вернемся теперь снова к нашей книге об этногенезе и культуре. Периоду более высокой религии и соответственно развитой теонимии (и то, и другое синонимично героическому веку классической древности) совершенно естественно предшествовал период молчаливого поклонения; и пение гимнов героического века – отнюдь не извечная категория. Достаточно сравнить вторичность **poja* "пою, воспеваю" на основе **poja* "пою, даю пить" в славянском. Именно этим более архаичным периодом датируется такая выдающаяся эксклюзивная славяно-латинская изоглосса из области древнейшей религиозной практики, как **gověti* "поститься", "х р а н и т ь м о л ч а н и е", "воздерживаться", "благоприятствовать" – лат. *favēre* "быть благосклонным" "х р а н и т ь м о л ч а н и е". Это можно определить как стадию *favēre*. Так что сначала безмолвное почитание богов или, правильнее сказать, – безымянных сил природы, при полном отсутствии самих имен и терминов. Свидетельство лат. *nūmen* "безмолвный знак, кивок; изъявление божественной воли; б о ж е с т в о" может тоже считаться красноречивым архаизмом стадии *favēre*. И только после стадии *favēre* наступает стадия *hávate*, обычно столь неумеренно обобщаемая современным исследованием. Реконструкцию в собственном смысле при этом путают с транспозицией. В начале всякой культовой и именотворческой деятельности были неизреченность, табу и различные запреты. Только типологически здоровое рассмотрение (пра)славянской культуры как самостоятельного диалектного варианта способно оградить от потопа дюмезилевской системы славянскую (как и любую другую!) самобытность. Мошинский, правда, не согласен следовать школе Дюмезиля, но то, что мы получили в его книге, это, собственно говоря, дохристианская славянская религия глазами доброго христианина, и это его благочестивое приношение, похоже, уже в силу одного этого сужения поля зрения отвечает не всем требованиям науки.

После предложенного параллельного чтения двух книг о культуре праславян можно выделить еще несколько вопросов, заслуживающих дальнейшего (хотя бы краткого) обсуждения. Для меня это в первую очередь славяно-латинские изолексы высокой архаичности, предпочтительно из сферы древнейшей религии. Вслед за уже упоминавшейся парой слов **gověti* – *favēre* назову дальше праслав. **mana* (русск. диал., укр. и блр.) "привидение" **manъ* (польск. диал.) "галлюцинация", (русск. диал.) "нечистый дух, обитающий в доме или в бане" и лат. *mānēs* "духи умерших". Ср. еще русск. диал. *манья* "привидение, призрак", укр. диал. *манія*, блр. диал. *манія* – с тем же значением и лат. *māniae* "призраки мертвых". Общность форм и значений при этом столь велика, что мы чувствуем себя вправе говорить здесь об общих началах культа предков, культурном событии, совершившемся намного раньше, чем, скажем, тот гораздо более поздний славяно-иранский культурный обмен из эпохи более развитой религии (о чем выше).

Таковы данные моей книги по этногенезу и культуре 1991 г. С того времени были выполнены еще две работы на тему, а именно доклад на съезд славистов в Братиславе [17] и его продолжение (в печати). А главное, о чем стоит упомянуть (помимо критики наивной "реконструкции" Лейстом и Леманом первой заповеди п р а и н д о е в р о п е й с к о г о общества "Тебе надлежит чтить богов" (!), чему я настойчиво противопоставляю свою версию древнейшей заповеди, а именно **ǵnō- suom ǵenot* = **znajъ svojъ rodъ* "знай свой род"...), это, собственно, еще одна

эксклюзивная славяно-латинская изолекса, почерпнутая из практики работы над Этимологическим словарем славянских языков, и на этот раз тоже из нравственно-религиозной сферы. Со славянской стороны это **nebasъ* (кашубскословинское "негодяй", русск. диал. "грубый"), сравнимое со знаменитой латинской правовой формулой *ne-fās* "грех", и образующие с ними обоими пару утвердительное праслав. диал. **bas-* (русск. диал. суффиксальные производные со значениями "хороший, красивый") и лат. *fās* "божественный закон". Славянские лексемы из области религии **gověti*, **manъ/a* и **basъ/*nebasъ* с их латинскими соответствиями следует понимать также как нашу корректуру к заключению Голомба [18, с. 173], о том что в северозападном индоевропейском лексиконе религиозные термины отсутствуют.

У нас нет желания ввязываться в дискуссию, отвечает ли праславянская духовная культура больше религии, а не мифологии. Для далекоидущих аналогий с мифологией классического типа как будто нет достаточных оснований. Но и здесь все же стоит предпочесть нигилизму дальнейшую работу по реконструкции. Эта дальнейшая работа могла бы выявить дополнительную информацию о местных божествах, а с другой стороны – дополнить наши сведения о так называемых главных божествах, не претендуя при этом на раскрытие целых "мифов". Лучше оставаться при этом на лексико-семантическом уровне, опираясь, разумеется, на здравые этимологии. Возможности последних далеко еще не исчерпаны, бывает, что и результаты, полученные ранее, остаются порой втуне, как та этимология Куриловича: слав. **koščunъ* (и родственное) как калька иранского *astvant-* "преходящий, бранный", буквально "костеобразный" (ср. [19]) и это – о человеческой душе! Выходит, что все это гнездо слов, столь весомое в плане христианских этических норм, – **koščunъ/*koščuna*, **koščunii*, русск. *кощунство* – следует считать дохристианским праславянским. Что касается малоизвестных местных божеств, то я мог бы указать пока на два примера. Один из них, особенно веский в моих глазах ввиду его локализации на Среднем Дунае предположительно праславянского времени, – это имя из римской эпиграфики *Dobratii(s)*, в надписи II–III вв. н.э. из Нижней Паннонии (*Intercisa* на Дунае), собственно, праслав. **dobrotъ* "добро, доброта", в данном случае персонифицированное (надпись на барельефе с изображением конного божества), см. об этом у меня [2, с. 100–101]. Второй из двух моих примеров, возможно, не столь многозначителен, но тоже может быть отнесен к древности. Я имею в виду случаи потенциальной сакрализации праслав. **děva*, притяжательное прилагательное **děvinъ* "девичий, девственный", засвидетельствованные в топонимии. Это, как правило, обрывистые скалы, труднодоступные (и, возможно, культовые?) места, в их числе – знаменитый Девин в Словакии, при впадении Моравы в Дунай. В отличие от Л. Мошинского, Б.А. Рыбаков специально пишет о нем, о распространении святых гор с такими именами во всем славянском мире и о прочной связи древних ритуальных традиций с ними [13, с. 285]. В качестве параллели можно сослаться на синонимичное греч. *Παρθέριον*, например, в античном Крыму.

Праславянские имена богов остаются по-прежнему актуальной темой. С аппеллативом **bogъ* связана, вероятно, праславянская производная форма **bogytъ*, что-то вроде "место, посвященное богу", образованная с суффиксом *-ytъ* от **bogъ*, засвидетельствовано прежде всего как название горы *Богит*, в непосредственной близости от места, где был найден знаменитый збручский идол; см. об этом и о раскопках И.П. Русановой там же [14, с. 250, 251, 767]. Остается сказать, что, например, А. Вайян ничего не знает об этом архаичном производном на *-yt-*, (ср. [20, с. 700]). В свое время оно ускользнуло и от нашего внимания, я имею в виду гнездо **bogъ* в нашем Этимологическом словаре славянских языков.

Несмотря на то, что выше мы констатировали нарицательное употребление слова **perunъ* "гром" от праславянского до современности, что, так сказать, ослабляет

безусловно божественную природу обозначасмого именем **Perunъ* и ставит его под вопрос, все же многое говорит также в пользу еще праславянской народной веры в этого бога. В пользу этого говорит, например, и своеобразная табуизация имени этого бога с помощью народных вариантов вроде *paron, parom*, а также *taron* и др., которые тем самым вряд ли имеют что-нибудь общее с анатолийскими именами бога грома, как, например, хетт. *Tarhun-*, и совершенно излишне, например, далсе, принимать для западнославянского диалектного *taron* кельтское происхождение, (ср. [21]). Одной этой табуизации достаточно, чтобы удостоверить божественный статус Перуна. Попытки уравнивать заимствованного Сварога с исконным Перуном, а Велеса, так сказать, лишить божеского сана (и то, и другое в вышеназванной книге Л. Мошинского) выглядят все-таки недостаточно обоснованными. Вместо того, чтобы совсем отделять восточнославянский вариант *Волос* и понимать его как преобразование заимствованного имени Βλάσιος, мы видим в нем в согласии с другими исследователями еще праславянские варианты **velesъ/*velsъ*. Следы имени не только Перуна, но и Велеса широко распространены, в том числе к югу от Дуная [6, с. 455]. С разных сторон поступают, далее, непротиворечивые указания на то, что, в отличие от Перуна, обитателя скал и возвышенностей, Велес выступает в связи с низинами (ср. [22], особенно гл. 2. "Восточнославянское *Velesъ/Volosъ* и проблема реконструкции имени и атрибутов противника бога грозы"). Нас здесь интересуют эти "низины", позволяющие увидеть Велеса в более широких связях, а его семантику – в связи с отзвуками различных индоевропейских отношений. Хотя и несколько в тени, но все же не осталась незамеченной исследователями связь имени *Velesъ* с **Velyнь/*Volнь* и даже с *Vârûna-*. Начнем с этого последнего индийского имени бога, которое до настоящего времени "не объяснено убедительно" [23], в немалой степени из-за этой двусмысленности индоиранского *-r-*. Р. Якобсону принадлежит идея сравнения имени *Vârûna-* с лит. *vėlės* "духи умерших", *vėlnias* "черт", *Veliuonà* "богиня духов предков" и, наконец, с др.-русск. *Велесь* (Там же). Сравнение *Велесь* и *Vârûna-* принималось во внимание нашими мифологистами, привлекательное, видимо, ввиду параллелизма мифологических отношений **Perunъ : *Velesъ=Indra-: Vârûna-*, ср. [24]. С этой стороны мы получаем отдельные полезные намеки, например, *Vârûna-* < **Vol-ün-/*Vel-ün-*, ср., далее, сюда же *Вольнь* < **Vol-ün-* [25], однако направление и смысл словопроизводства оставались все же неясными. Это допускало также довольно широкий выбор этимологий, результатом чего явились внешне корректные этимологии, которые не могут нас удовлетворить. Например, З. Голомб склонен видеть здесь наличие понятия власти, господства, правда, речь при этом сводится к корневой этимологии: польско-американский лингвист исходит из праформы местного названия **Velolyn'i*, которое он прямо связывает с корнем глагола слав. **velēti*, русск. *велеть*, и.-е. **uel-* "хотеть", куда также слав. **velbъjъ, *velikъ* "большой, великий" (первоначально "мощный"). Принимая за исходное значение "сила, власть", исследователь толкует топоним др.-русск. *Вельнь, Вольнь* как "подвластная земля", что-то вроде лат. *dominium* (откуда англ. *dominion*), со ссылкой на праслав. **volstъ* "власть", откуда, например, (др.-) русск. *волость*, и даже чеш. *vlast* "родина" [18, с. 237–238]. Однако у нас есть что возразить на это, особенно ввиду близкого параллелизма имени **Perunъ* и родственных форм, из них прежде всего *Перынь*, культовое место близ Новгорода. Естественно, здесь нет никакого производного на *-yni-*; совершенно очевидно, что речь здесь идет о производном от имени бога *Перунъ*. От последнего абсолютно регулярно образовывалось производное с формантом *-jъ*, засвидетельствованное и в летописях в эпоху принятия христианства: *Перунѧ рѣнь* "Перунова отмель", в районе днепровских порогов [26, с. 101]. Кроме того, можно принять также более архаичный способ производства с продлением гласного (врдхн), как еще индоевропейский и вполне оправданный в культовых именах. В чистом виде это выглядело бы как **Перынь* из **Перунъ*. Фактически засвидетельствованное

Перынь объяснимо как амальгама обеих словообразовательных моделей, старой и более новой. Другой хороший пример на **Perunь*/**Peryнь* представлен в болгарском языковом ареале, в названиях гор *Перѣн*, *Пирин планина* [27, с. 174]. Таковы показания форм **Perunь*/**Perunь*/**Peryнь*. Представляется, что и в случае с **Velunь*/**Volunь* мы имеем дело с аналогичным развитием, засвидетельствованным, правда, фрагментарно **velunь* → **velunь*/**velunь*. Интересно же то, что это имя связано не с понятием власти (см. Голомб, выше), а скорее с древним миром духов и богов. Мы как будто имеем право говорить о праславянском имени **Velunь* "божество низин", во многих отношениях (в том числе формальном) парном к праславянскому **Perunь* (по нашим мифологистам, эта пара богов имеет вид **Perunь* – **Velesь*), и, что в высшей степени интересно, с индоевропейским соответствием в уже упомянутом др.-инд. *Váruna*. Это открывает перед нами возможность, во-первых, правильнее охарактеризовать здесь отношение форм слав. *-unь*/**-unь*, чем это делалось до сих пор (Ф. Славский в своем "Очерке праславянского словообразования" [28, с. 134] оставляет, в сущности, необъясненным отношение *Perunь Peryнь Peryнь*, во всяком случае его характеристика формы *Perunь* как "postać starsza" лишена всякой вероятности в смысле славянского развития). Во-вторых, мы как будто вправе принять для праслав. **Velunь* индоевропейскую праформу, а именно **uelu n-*, далее, родственно хетт. *uellu-* "пастбище, луг (умерших)", см. о последних [29], сюда же **Нѣстѣловъ лѣдѣловъ* "Елисейская равнина", потусторонний мир древних, воображавшийся в виде поля, луга, равнины – лѣдѣлов [30]. Кроме последнего приведенного названия, продолжающего и -е **uelu-t-om-*, сюда же должны быть отнесены славянские слова со значениями "холм", "холмистая равнина" – **q vьlь* (польск. *Wawel*), **q-valь* (русск. *увал*) – все с чертами архаики. В качестве славянских названий долины лучше известны **dolь* (с производными) и **dьbь*. Возможно, более архаично название долины, равнины, восходящее к и -е **uel-n-*, откуда, с одной стороны, лат. *vallēs*, *vallis*, а с другой стороны – своеобразная форма в слав. **volunь*/**ь*, куда относятся, кроме др.-русск. *Вельны*/*Вольны*, практически только западнославянские формы – *Volyně* в Чехии и польск. *Wolin* (стар. *Wollin*) на Балтийском море. Исключительный характер латинско-славянской встречи *vallis* и **Volunь*/**ь* здесь тоже для меня не лишен интереса как еще одно указание на Среднее Подунавье. При этом и семантическое содержание, и словообразование могут порой носить отпечаток вторичности. К числу вторичных можно, вероятно, отнести и отдельные сакральные значения. Вполне возможно, что при этом удастся этимологически разоблачить соответствующее обозначение духов или бога как табу "(дух или божество) из (той) д о л и н ы", что подошло бы для лит. *vėles*, *vėlnias*, но и для праслав. **Velunь*, **Velesь*, в чем, возможно, заключается причина, почему это индоевропейское название долины на апеллативном уровне в славянском постепенно пришло в забвение.

В общем и целом я чувствую себя, к сожалению, обязанным высказать скорее отрицательное мнение о книге Мошинского. Хороший замысел автора – представить дохристианскую религию славян в свете славянского языкознания – остался по большей части неосуществленным, и об этом сто́ит пожалеть, если мы серьезно думаем раскрыть религию и идеологию праславян и прежде всего – ее своеобразие. Будучи поставлены перед дилеммой – внешнее сравнение (в данном случае – метод Дюмезиля), или внутренняя реконструкция, – мы выберем, естественно, последнее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 *Moszyński L.* Zagadnienie wpływów celtyckich na starsłowiańską teonię // Z polskich studiów slawistycznych Seria 8. Językoznawstwo. Prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratysławie 1993. Warszawa, 1992, с. 176
- 2 *Трубачев О Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991
- 3 *Vasmer M.* Kritisches und Antikritisches zur neueren slavischen Etymologie. V // Rocznik slawistyczny 6. 1913, с. 172 и сл. (= M. Vasmer. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde, hrsg. von H. Brauer. Bd. I. Berlin 1971, с. 3 и сл.)
- 4 *U(ntermann) J.* Kelten – Der Kleine Pauly. Bd. 5. München, 1979, стр. 1612 и сл.
- 5 *Трубачев О Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959
- 6 *Иванов В В., Топоров В Н.* Славянская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия. 2-е изд. Т. 2. М., 1988, с. 450 и сл., 454
- 7 *Топоров В Н.* Язык и культура. об одном слове-символе // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988
- 8 *Иванов В В., Топоров В Н., Свентовит.* // Мифы народов мира. Энциклопедия. 2-е изд. Т. 2. М., 1988
- 9 Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I (I–VI вв.) / Отв. ред. Л. А. Гиндин, Г. Г. Литаврин. М., 1991, с. 12, 182
- 10 *Трубачев О Н.* В поисках единства. М. 1992. с. 40–41
- 11 *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I–II. Heidelberg, 1962
- 12 *Gieysztor A.* Mitologia Słowian. Warszawa, 1982
- 13 *Рыбаков Б А.* Язычество древних славян. М., 1981
- 14 *Рыбаков Б А.* Язычество Древней Руси. М., 1987
- 15 *Черепанова О А.* Материалы по славянскому язычеству и мифологии в трудах И. И. Срезневского // Славянские языки. письменность и культура. Сборник научных трудов / Отв. ред. В. В. Колесов. Киев, 1993
- 16 *Moszyński L.* Kierunki zmian semantycznych prasłowiańskich apeliatywów określających przedchrześcijańskich czarowników // Philologia slavica. K 70-letiu akad. Н. И. Толстого. М., 1993
- 17 *Трубачев О Н.* Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993. с. 3 и сл.
- 18 *Golob Z.* The origins of the Slavs. A linguist's view. Columbus (Ohio) 1992
- 19 Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 11 / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1984, с. 169
- 20 *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. IV. La formation des noms. Paris, 1974
- 21 *Николаев С Л., Страхов А Б.* К названию бога громовержца в индоевропейских языках // Балто-славянские исследования. 1985. М., 1987, с. 149 и сл.
- 22 *Иванов В В., Топоров В Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974
- 23 *Mayrhofer M.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. III. Heidelberg, 1976, с. 151–152
- 24 *Топоров В Н.* Еще раз о Велесе Волосе в контексте основного мифа // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов второй балто-славянской конференции. М., 1983, с. 50 и сл.
- 25 *Топоров В Н.* Праславянская культура в зеркале собственных имен (элемент **mir*) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993, с. 112, примеч. 122
- 26 Этимологичний словник літонісних географічних назв Південної Русі / Відповідальний редактор О. С. Стрижак. Київ 1985
- 27 *Миков В.* Происход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места. София, 1943
- 28 *Słownik prasłowiański.* T. I / Pod red. F. Stawskiego. Wrocław, 1974
- 29 *Гамкрелидзе Т В., Иванов Вяч. Вл.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. II. Тбилиси, 1984, с. 823, 824
- 30 *Wa(chsmuth) D.* Elyson // Der Kleine Pauly. Bd. 5. München 1979, стр. 1596

© 1994 г. В.Б. КРЫСЬКО

ЗАМЕТКИ О ДРЕВНЕНОВГОРОДСКОМ ДИАЛЕКТЕ

(II. Varia)*

1. К числу особенностей древнепсковского говора исследователи, начиная с Л.Л. Васильева [1], справедливо относят переход **dl, *tl > [gl], [kl]* (см. [2, с. 184–187; 3]; впрочем, уже А.А. Шахматов показал, что данный феномен был не чужд и собственно новгородским памятникам, а тем самым – и новгородскому говору [4, с. 5–6]. Буквально сразу же после обнаружения этого явления оно было поставлено в связь с сохранением взрывных перед [l] в западнославянских языках и послужило важным аргументом в пользу западнославянского генезиса кривичей [5, с. 46–47] либо, по крайней мере, субстратного "ляшского" (на Днепре!) происхождения "ряда резких звуковых черт" древнекривичского диалекта [4, с. 9–10]. В русле этой традиции рассматривает указанное изменение и А.А. Зализняк [6, с. 199]¹. Однако, на наш взгляд, сохранение групп *tl, dl* у западных славян и их своеобразная эволюция на северо-западе восточнославянской территории с неменьшим основанием могут быть интерпретированы и как результаты независимых процессов – точнее, отсутствия каких бы то ни было процессов на западе и собственного, особого развития на востоке (ср. [8])². Общим для обоих ареалов является, безусловно, сам факт сохранения взрывного – однако такой же феномен наблюдается и в словенских говорах (*jedla, modliti, kridlo* [9]), что могло бы свидетельствовать о более широкой распространенности праславянского архаизма в исторически зафиксированных диалектах. В то же время на типологически не изолированный характер изменения **dl, *tl > [gl], [kl]*, инициированного, по мнению В.В. Колесова, лабиовелярной плавного [10], указывают факты польского языка (зафиксированные в письменности XV–XVI вв. и в говорах), которые в ряде случаев несомненно восходят к периоду после падения редуцированных и, следовательно, не могут ассоциироваться ни с лехитско-кривичскими контактами, ни с субстратным балтийским влиянием: *z mgly, zemglat, mgleć* (ср. *млеть*), *wąklicy* (< *watlicy* от *watly* < **w̃tyl̃* "утлый"), *moglitwa, wiklina* (= *witlina*) и др. [2, с. 186–187], а также кашубско-словинские формы типа *żaglo* < *žadło* [5, с. 47; 4, с. 9] и довольно многочисленные новообразования среднесловацких говоров, относящиеся ко времени не ранее середины XII в.: *meglit'* <

*Первую часть статьи — "Палатализация" — см. в № 5 за 1994 г.

¹Далее ссылки на страницы этого издания приводятся в тексте в круглых скобках. Сокращенные обозначения древнерусских источников соответствуют изданию [7]. Дополнительно вводятся следующие сокращения: АЕ-67 – *Корецкий В.И.* *Новые открытия новгородские и псковские грамоты XIV–XV вв.* // Археогр. ежегодник за 1967 год. М., 1969; ЛА – *Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки* // ПСРЛ. Т. 16. СПб., 1889; НЛ – *Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.* М.; Л., 1950; ННЛ – *Новгородские летописи* (так названные Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). СПб., 1879; НУЛ – *Новгородская пятая летопись* // ПСРЛ. Т. 4. Ч. 2. Пг., 1917; ПГ – *Марасинова Л.М.* *Новые псковские грамоты XIV–XV веков.* М., 1966; УСб – *Успенский сборник XII–XIII вв.* М., 1971. Кроме того, в статье используются сокращенные обозначения падежей: ИИ – именительный, РП – родительный, ДП – дательный, ВП – винительный, Зв. – звательная форма.

²Отметим, кстати, четыре дополнительных употребления формы *мочигло* в АЕ-67, № 9 (более полный список с той же грамоты, которая послужила оригиналом и для ПГ № 12, разбираемой А.А. Зализняком на с. 198–199).

**mbdyliti*, *kík* < *ík*, *gĭho* < *dĭgo*, *skĭp* < *stĭp*, *kĭmačit'* < *ĭmačit'* [11]. Все эти факты позволяют заключить, что изменение зубных перед [i] в заднеязычные представляет собой своего рода фреквенталию, проявляющуюся в разные периоды языковой истории в географически не связанных точках славянского мира.

2. Не вполне убедительна попытка А.А. Зализняка опровергнуть, по-видимому, разделявший ее им еще в 1986 г. [12, с. 125] тезис об общевосточнославянском характере первоначальной рефлексации **tort*. Вывод о том, что развитие подобных сочетаний "протекало в разных частях восточнославянской зоны по-разному" (с. 202), уже давно не подвергается сомнению: украинские формы типа *ворон* (а не *ворin*) определенно расцениваются как доказательства того положения, что вначале **tort* перешло не непосредственно в **torot*, а в **torāt* (ср. 13, с. 170). Но именно этот **torāt* и следует считать общим рефлексом **tort* не только для всех восточных славян, но и для лехитов и лужичан, а также, может быть, и для части южных славян (ср. *золѣта* в Синайской псалтыри [14, с. 60]) [15, с. 117–120; 13, с. 169–172], между тем как различные диалектные модификация исконной общей формы, сохраняющие древнее полногласие, отражают лишь разную судьбу вставного гласного. Впрочем, диалектный пример *балэньа*, *балыньа* < **bolъnje* (с. 201) кажется слишком непрочной опорой для обобщающего вывода об "относительно позднем" отождествлении [э] в древнем новгородском ареале с предшествующими [o] и [e]; более показательна в данном аспекте форма *скорынью* из "Жития Андрея Юродивого" по списку XIII в. vs. ст.-слав. *скрѣнѣца*, др.-руск. *скороньямъ*, *скоронь* [16, с. 102]. Уместно вспомнить здесь и форму *полымѣ* < **polĭmĕ* < **polmĕ*, которая в силу своего общерусского распространения должна, вероятно, расцениваться как лексикализованный реликт общевосточнославянской рефлексации **tort* в виде **torĕtĕ*: (см. [17]).

Еще одной специфической особенностью севернокривичской фонетики являлось, по мнению А.А. Зализняка, второе полногласие (т.е. наличие редуцированных "с обеих сторон" плавного – *търѣт* – в соответствии с праславянским **tĕrt*); "ильменско-словенским говорам (не смепанним), равно как и всей Юго-Западной Руси, данная инновация была практически чужда" (с. 201). С этим утверждением, которое имеет давнюю традицию в отечественной лингвистике [18, с. 90–103], не согласуются, однако, показания древнейших памятников не только северно-, но и южнорусского происхождения, демонстрирующих написания типа *пѣльны*, *мърѣтву*, *отверьгуса*, *растерьгнуть*, *умеретвѣя*, *молонья* [19, с. 26–27; 16, с. 31–35], а также факты современных русских, украинских и белорусских говоров, генетически не связанных с кривичскими [19, с. 28; 16, с. 19–27; 20; 21, с. 195–196³]. По-видимому, тенденция к раскрытию слога путем развития после него гласного призвука имела общевосточнославянско-лехитско-лужицкое распространение [15, с. 117–118]; во всяком случае, трудно не согласиться с А.А. Шахматовым, который заявлял: "... мы решительно не видим возможности признавать второе полногласие диалектическим явлением севернорусского наречия: немало примеров представляют среднерусские и малорусские говоры" [16, с. 30–31]. Преимущественно севернорусскую локализацию получили в основном лишь позднейшие морфонологические изменения, связанные с обобщением облика основы по вокализованным рефлексам первого (исконного) либо второго редуцированного, и прежде всего явление, которое обычно определяется как завершающая стадия второго полногласия (*верех*, *кором* и т.п.). Мы полагаем, однако, что подобные образования возникли не фонетическим, а морфологическим путем – в результате контаминации форм с закономерной, но различающейся в зависимости от позиции рефлексацией редуцированных: *верха* + *врех* > *верех* (ср. [22; 23, с. 129]), – и

³Ср., в частности, вывод Г.П. Пивторака о том, что "... в древности формы со вторым полногласием занимали сплошной диалектный арсал... в пределах современного юго-западного наречия украинского языка" [21, с. 195].

благодаря своему чисто внешнему сходству с рефлексам первого полногласия имеют больше оснований называться третьим полногласием, нежели экзотические сочетания (отчасти, вероятно, тюркизмы), рассмотренные под этой рубрикой А.А. Шахматовым [16, с. 87–116]. В этой связи заметим, что нельзя считать абсолютно бесспорным хрестоматийное положение, согласно которому в сочетаниях со вторым полногласием (*търъѣ*) редуцированный перед плавным "во всех случаях сохранял свойства сильного редуцированного" (с. 201, см. также [23, с. 115]). Представленные в памятниках формы с гласным полного образования на месте второго, неисконного редуцированного (*стълонника* Стихирарь XII в., БАН, 34.7.6, 67об [24, с. 33], *Търожкоу, Търожьку* ЛН XIII–XIV [6 примеров], *одьрень* 81 об, 114об, *цьренци* 118 [18, с. 98–99; 16, с. 34], *чьренцемъ* ПрЛ XIII, 14 [19, с. 27], а также, возможно, *дълж[ь]ницу* и *дължениць* ГрБ № 449; ср., кроме того, название новгородской речки *Вревка* < *Връвьѣка* [23, с. 129]⁴) показывают, что вначале распределение сильных и слабых позиций соответствовало общему правилу и не зависело от исконного либо "неорганического" происхождения редуцированного: второй (вставной) редуцированный, находясь перед слогом с утраченным слабым редуцированным, закономерно вокализировался, тогда как первый (исконный) столь же закономерно утрачивался или по крайней мере сохранял качество редуцированного. Вероятно, только позднее, на фонологическом этапе изменения, закономерная рефлексация под действием аналогии нарушилась, уступив место внутриморфемной или парадигматическому выравниванию (*стлонник* > *столник* под влиянием *столп, чренци* > *черници* под влиянием *чернец*, но *ослоп* < *остълъль* [24, с. 32–33] вследствие ослабления семантической связи со словом *столп*).

На фоне в целом неуклонного следования древненовгородских памятников общевосточнославянским закономерностям в реализации первого и второго полногласия некоторые факты действительно дают основание предположить, что в части новгородских говоров развитие сочетаний *torŭt* и *тъrt* отличалось от общерусского пути. Наиболее информативна в данном отношении берестяная грамота № 336 (первая треть XII в.), в которой зафиксированы следующие странные написания: *срочькъ*, *срочька* (дважды), *Вльчкови*, *дължьнь*. Чисто орфографическое толкование этих форм как продиктованных "ориентацией на книжные нормы" [12, с. 203], на "старославянский образец" (с. 266) для бытового письма представляется крайне сомнительным. Обращает на себя внимание тот факт, что явно не книжное слово *сорочькъ*, не имеющее никаких параллелей в церковнославянском, неоднократно пишется в ранних берестяных грамотах отлично от обычного полногласного облика: *сърочьке* ГрБ № 681, *сърочька* 649, *сърочьке*, *сърочькъ* 650. Думается, что эта регулярная "неправильность" не случайна и отражает определенное фонстическое изменение. Как известно, на западнославянской (польской и лужицкой) территории сочетания с первым полногласием в его первоначальном виде (*torət*) претерпели особую эволюцию, заключающуюся в том, что гласный призвук, развившийся после плавного, постепенно усилился за счет исконного гласного, сначала функционально отождествив его со слабым редуцированным (*tərot*, ср. ст.-польск. *ve vřota* < *v ř vřota*), а затем и полностью вытеснив [15, с. 117; 13, с. 171]. Можно полагать, что именно та стадия, на которой исконный гласный редуцировался при усилении вторичного гласного, и представлена в новгородских написаниях типа *сърочьке* (а также *вълости* в ГрБ № 503, четко различающей *ъ* и *о*, и *Вълось* во вкладной Варлаама 1192 г. [25]), между тем как формы *срочькъ*, *срочька* (а также, видимо, *погро[д]ъ*) в ГрБ № 718, 1229 г.) передают либо полное исчезновение первого гласного, либо, что вероятнее, ослабление его до степени фонологически нерелевантного, а потому и не обозначаемого на письме звука.

Четкую параллель написаниям типа *срочькъ*, отражающим дефонологизацию

⁴В СбПавс XIV–XV, 21а, вопреки данным В.В. Колесова [23, с. 129], представлено написание *чремное*, а не *ч'ремное*.

изначально предшествовавшего плавному гласного полного образования, составляют, по нашему мнению, формы типа *Вльчкови, длъжьнь* и обнаруженные во вновь найденных берестяных грамотах второй половины XII в. написания *во хлостѣхо* ГрБ № 722, *во брозѣ*, *мловила* 731 (где *o = ъ*). По всей вероятности, эти примеры демонстрируют весьма раннюю метатезу исконного [ъ] > [э] > [Ø] и вторичного [э] > [ъ] (**mъlvila* > **mъl̥vila* > **mъl̥v̥ila* > *m̥lvila*, ср. **vorta* > **vor̥ata* > **v̥arota* > *vrota*). Тем самым можно заключить, что этимологические сочетания типа *tъrt* совпадали в некоторых новгородских говорах с формами типа *tr̥t* (*др̥ва*)⁵ и претерпевали в дальнейшем такую же эволюцию: в сильной позиции редуцированный вокализовался, тогда как в слабой утрачивался, в результате чего плавный приобретал слоговость, а затем после него развивался неорганический гласный (*tr̥ta* > *tr̥ta* > *tr̥ta* > *trota*). Ранним отражением данных изменений являются зафиксированные нами в Захаринском паремейнике 1271 г. (РНБ, Q п I, 13) формы: *помьрекнетъ слнце* 88а < < *пом(э)ръкнетъ, средцемь* 103б < *срьдьцьмь, о(т)врезаются* 231 г < *отъвр̥зуться*; аналогичная рефлексация представлена, вероятно, в форме *попл̥нка* (фонетически *по[пло]нка*) в ГВНП № 186 (середина XV в.) и в цитируемых А.А. Зализняком [26] примерах из новгородского списка "Жития Андрея Юродивого" XVI в., исследованного М.Н. Швелевой: *на трогу, троговное, проты, млония, влочець, вресту, мрезькая, помрекнет* и др., а также в диалектных формах, собранных А.А. Зализняком: *осречать, мрода, клоч* и др.

Таким образом, рассмотренная нами диалектная модель изменения *tort* > *trot* и *tъrt* > *tr̥t*, при всем своем сходстве (в первой группе) с западнославянским развитием, предстает как более последовательный процесс, присущий только ограниченному ареалу даже в пределах древненовгородской территории, хотя, возможно, и получивший начальный импульс еще в ту эпоху, когда возникла общая для западных и восточных славян тенденция к полногласию в группах **tort* и **tъrt*. Во всяком случае, как *trot*, так и *tr̥t* вполне удовлетворительно выводятся из первого и второго полногласия, а следовательно, могут быть интерпретированы как диалектные изменения общевосточнославянских рефлексов.

3. Представляется необходимым возразить против несколько односторонней, на наш взгляд, оценки фонетического статуса (ѣ) в северо-западных говорах: по словам А.А. Зализняка, реализация данной фонемы в виде открытого гласного сближает древнекривичский диалект "прежде всего с польским" (с. 204). Неясно, однако, почему при этом не упоминается об аналогичном качестве (ѣ) в старославянском и болгарском [13, с. 129]. Не указано и то, на чем основывается постулирование подобной реализации (ѣ) для кривичского в отличие от ильменско-словенского; вероятно, преобладающую роль играли в данном случае прибалтийско-финские заимствования типа *määrä* < *mъpa* – но едва ли можно с уверенностью утверждать, что, во-первых, источником указанных заимствований служили только кривичские говоры и что, во-вторых, сохранение исконного качества (ѣ) в виде звука [ä] не было изначально свойственно в с е м восточнославянским диалектам. Новейшие сравнительно-типологические разыскания позволяют предполагать, что в тех "славянских языковых областях", где рефлексы *ѣ "восходят к гласному средневерхнего подъема, этот звук исконным не являлся" [27, с. 39]. Чрезвычайно знаменателен тот факт, что реликтовые "формы с корневым ударным [á], соответствующим этимологическому *ѣ", наблюдаются в современных говорах, по происхождению не соотносимых с кривичскими, ср.: *цялой, цяп, здялал* (арх.), *медвядь* (влад.), [л'бас] (влад.), *цап* (тульск., орл.) и др. [27, с. 39–40].

4. Переходя к морфологическим явлениям, мы должны в первую очередь констатировать, что основная морфологическая особенность древненовгородского диалекта – ИП ед.ч. мужского рода **o*-склонения с флексией *-e*, возводившийся, согласно неко-

⁵Ср. обратное изменение в этимологических формах типа *tr̥t*: *бързды* Изборник 1073 г., 98, *бърздами* СбГр XII/XIII, 200об, *бързды* ГБ XIV. 151г, *гъртънь, дърва, стърмление* [24, с. 30–31].

торым смелым гипотезам прошедшего десятилетия, едва ли не к праиндоевропейской эпохе, – в настоящее время, благодаря выявлению прямых рефлексов праславянского окончания Nom. sg. masc. **-o < *-os* (гипокористики на *-ъко, -хъно*, топонимы типа *Псково, Полоцко*) и обнаружению закономерных *-e*-форм мягкого варианта склонения, восходящих к **-jo < *-jos*, получает, по-видимому, достаточно удовлетворительное истолкование как результат присущего древненовгородскому диалекту влияния мягкой разновидности на твердую (*батьке < *batyko* под влиянием *коне*) [28; 29]. В дополнение к материалам, опубликованным в [28; 29], нами обнаружен еще ряд примеров, свидетельствующих в пользу наличия флексии *-e* в **jo*-основах. Так, в новгородском Стих 1156–1163 фигурирует форма *вѣньць* (вѣньць твои оуготовися 101), вероятно, отражающая обозначение конечного *-e* посредством ѣ. В ГрБ № 150 (XII/XIII вв.), которая демонстрирует этимологически правильную графическую передачу [e] и [ь] (*не останеть*), обращает на себя внимание ИП *моуже*: а не останеть ти ся ни *моуже*. Это написание, поддерживаемое аналогичными формами в "Русской Правде" (*кръвавъ моуже*) и в "Летописи Авраамки" (*Аще муже от жены блядеть*) [28, с. 139–140], получает подтверждение также в новгородском списке "Закона судного людем" второй половины XIV в.: *Аще двѣ женѣ бѣсится блуда ради... творяще муже едина а другои женою* ЗС XIV, 34 (ср. сходную синтаксическую конструкцию с предикативным номинативом в УСб, 56а: *пламень... акы комара сътворивъ ся*). Заслуживает упоминания следующий антропоним: иде(т) на мя... *Гюрге* съ Олговичи ЛЛ 1377, 327 (ср. [30]); эту форму, видимо, следует отграничивать как от общерусской формы на *-и* (*Гюрги*), так и от славянизированных образований на *-ие* типа *Юрие*. В Ипатьевском списке летописи, содержащем многочисленные новгородизмы⁶ и написанном, скорее всего, псковским книжником (см. [31, с. 114, 117–119]), в ряду *-e*-форм ИП твердого **o*-склонения [29, с. 85] отмечена и форма мягкого варианта: Туки *Чюдине* бра(т) ЛИ ок. 1425, 63об, – являющаяся притяжательным прилагательным с суф. **-j-*, ср.: Тюки. *Чюдинь* бра(т) 74об (в других списках – *Чюдиновъ*); существенно, что замена конечного ѣ на е встречается в этой рукописи только в книжных формах причастий от глаголов IV класса: *выступи 72об, оукръпле 158*; впрочем, дважды на конце словоформы наблюдается *o* вместо ѣ: *онѣмо 247об, согръшихо 264об*. Интерпретация написания *Василе* в ЛА, 142 как номинатива на *-e* [28, с. 139] подкрепляется теперь новым чтением берестяной грамоты № 496 (1-я пол. XV в.), в которой, как сообщил нам А.А. Залзняк, фигурирует *Ва[си]лѣ* Вѣцѣркѣ – форма, несомненно оканчивающаяся на *-e*, так как писец регулярно обозначал флексийную *-e* посредством *-ѣ* (Игнаткѣ Симувѣ и др.). Весьма надежным примером флексии *-e* в **jo*-склонении представляется отчество Коровъ *Яковицѣ* НВЛ, 177 (начало XVI в.), которому в Новгородской первой летописи по Академическому списку соответствует Коровъ *Яковличь*, а по Комиссионному списку – Коровъ *Якович* (НЛЛ, 235). Новые употребления окончания *-e* зафиксированы в твердом **o*-склонении: *лищене* буди ПрЮр XIV, 49г (ср. ПрЛ XIII, 40а [29, с. 83]); *презвитерѣ* ли дьяконѣ ПНЧ XIV, 188г (*преосвѣтерос*); яко же бо *лишенѣ* сы свѣта его неправо ходитъ Пр 1383, 120в; азъ есмь *хлѣбе* (Типографское евангелие № 18, вторая пол. XIV в. [2, с. 147]). Интересны два примера с личными именами из НЛЛ по списку рубежа XVI–XVII вв.: *преставися Домонтѣ* 24; князь Резангский *Олгѣ* Ивановичъ 35. Отметим также дополнительные факты, свидетельствующие об использовании флексии *-я* (< *-e*) безотносительно к

⁶Ср.: РП ед.ч. мало *дружинѣ* 22об, *рѣкъ* 81; И–ВП мн.ч. и перфекты *мудрѣ* 5, *приялѣ* 6, *дворѣ* 23об, *дикѣ* 118; 3-е л. наст. вр. *пиду* 12об, *впадае* 25об; формы типа *залознику* 193, *зазгоша* 84, *дожгыцо* 104, *Мьстислала* 107, *Волхово* 61 и др.; особо отметим форму *изъидете* 257об, которая дополняет краткий список примеров, отражающих [ej] на месте прежнего [ъj] в середине слова (с. 170, 205).

роду в сомринском (или сомерском) говоре в конце XIX в.: Ведро в каладце абаратіляся вверх нагѡм; Яна в том забарáляся, а пад кацальником загарéляся; Мальчишка заплѡкала; ён абаратіляся; Мнага, тетушка, сгарéля; навый луп сгарéля; барадѡ загарéляся; Берестянь навый сгорéля; ё взéля, да палáм-та и прикрýля; варатіляся дамáй (по-видимому, в речи женщины); який аблаэд навязѡляся на маю шаю; ён ушлé; Давно ли ты, Тимошка, с Питера нарадиляся? [32].

Мы уже имели случай [28, с. 150–151] высказать свою точку зрения на загадочное прозвище *Матвѣи Кенище* из ГрБ № 417: на наш взгляд, *Кенище* – это гипокористика с суф. *-шьк(е)* от не сохранившегося в других источниках имени **Кѣнимиръ* или под. (ср. болг. новообразование [?] *Ценимир* [33]). Такое сосуществование христианского имени и славянского прозвища на *-ко* (новгородское *-ке*) – явление в грамотах нередкое, ср.: *Семен Рубелке* ПГ № 25; *Данило* Онуфреевъ сынъ, прозвище *Томилко*, *Иванъ* Федоровъ с. Кривой, прозвище *Сусѣдко*, *Лукояно* Лукояновъ, прозвище *Поспѣлко* [34]. Симптоматично, что флексия *-е* сохранена в рассматриваемом документе, ориентированном на общерусские морфологические нормы, только в языческом прозвище, тогда как все прочие антропонимы **о*-склонения имеют окончание *-ъ* (*Фларевъ*, *Давыдъ Поповъ*, *Онишковъ*, *Софронъ М(?)ушкинъ*). Слабую сторону предложенной интерпретации составляет допущение замены *ѣ*, который исконно присутствовал в корне **кѣн-* (не подвергнемся, как и следовало ожидать, второй палатализации), буквой *е*. Именно "необъяснимость прозвища *Кенище...* в грамоте, где *ѣ* практически не смешивается с *е*" (с. 164), побудила А.А. Зализняка отказаться от принимавшегося до сих пор словораздела и согласиться с мнением польского автора [35], согласно которому имя Матвея фигурирует в ГрБ № 417 в гипокористической форме с новгородской флексией – *Матвѣике*, а отрезок *нище* является адъективным прозвищем (*Нищъ*). Это предположение можно было бы считать вполне приемлемым, ввиду того что параллельное использование строго индивидуализированных имен на *-е* (*Матвѣике*) и *-ѡ < -ъ* (*Давыдъ*, *Софронъ*) совершенно обычно для новгородских частных грамот, ср.: *Уласке Тупичинъ* ГВНП № 92; *Мартемьяне Родивоновъ* 90; *Лукиянъ Ермолинъ*, *Максимъ*, сынъ его *Кондратке* 207 и т.д. Сложность заключается в прозвище – *Нищъ*, так как адъективные прозвища – т.е. прилагательные семантически определенные – никогда, насколько нам известно, не употребляются в именной форме, ср.: *Федоре Кроткеи* ПГ № 29; *Савка Грѣшиной*, *Максимко Лысой*, *Ивашко Слѣпой* и др. [34, с. 71, 290, 418]. Для того чтобы ввести анализируемое прозвище в общий ряд, приходится допустить, что в нем не дописано конечное *и*, – однако такой выход из положения трудно признать особенно удачным.

Возвращаясь к высказанной выше трактовке, отметим, что тезис об отсутствии смешения *ѣ* и *е* в ГрБ № 417 не вполне основателен. Правда, все этимологические *ѣ* пишутся правильно (*приѣхавъ*, *носилъ bis*, *Петровъ ѣ*, *Матвѣи*), если только патроним *Слепеткову* не связан с корнем *слѣп-*. Верно написаны и этимологические *е*: *серебро*, *племеньмъ*, *Петровъ ѣ*, *серебромъ*, *Фларевъ*. Но в то же время грамота отражает явно избыточное использование *ѣ*, который появляется не только на месте сильных [ѣ] (*Климъ ѣць*) и [и] (*Григоръ ѣи*), где его возникновение можно было бы объяснить фонетическими причинами, но и на месте слабого [и] (*Заволоцъ ѣя*) и даже [й̆ је] (*на завѣтръ ѣ*, *братъ ѣю*), а также в функции *ь* как показателя мягкости предшествующего [в'], образовавшегося на месте исконного [у] > [w] > [в] в результате межслоговой ассимиляции [втр'] > [в'тр'] (*на завѣтръ ѣ*). Знаменательно, что все этимологически неверные написания представлены в формах, претерпевших фонетические изменения, между тем как "правильные" *е* и *ѣ* отмечены в словах, не испытавших никаких существенных перемен в своем звуковом облике и, следовательно, не составлявших трудности для писца, хорошо знакомого со "стандартными" орфографическими нормами (ср. замену оставшегося не зачеркнутым предлога *з* написанной над строкой

формой *сь*). Однако имя *Кѣнишке*, очевидно, находилось за пределами действия этих норм, поскольку его внутренняя форма вряд ли ясно соотносилась со словом *цѣна*. Таким образом, написание *Кенище* (*Кенишке*) вполне укладывается в орфографическую систему писца грамоты № 417.

5. В связи с затронутой проблематикой необходимо, на наш взгляд, более четко определить в отношении морфологической характеристики гипокористик на *-о*. Думается, что указание: "...оформлены как *neutга*" (с. 212) – не совсем точно отражает их статус. На самом деле эти существительные имеют в номинативе окончание, о м о - н и м и ч н о е флексии ср. рода, но исторически ей не тождественное: если в именах муж. рода *-о* возникло из **-os*, то в ср. роде – из **-ón* или **-od*. Кроме того, и в парадигме склонения упомянутые гипокористики отнюдь не полностью совпадают с *neutга*: они характеризуются особыми, присущими только муж. роду формами: В=Р типа (*вижу*) *батька*, *Вячька*, Зв. типа *батьке*, ИП мн.ч. типа *батьки/батьци* (но не **батька*).

6. В новом исследовании А.А. Зализняка намечено противопоставление древнекривичского диалекта ильменско-словенским (и другим северо-восточным, см. [12, с. 135]) говорам по признаку распространения флексии *-ови* в ДП ед.ч. муж. рода (с. 212). Однако, во-первых, едва ли можно говорить о преобладании *-ови* над *-у* в грамотах XI – начала XII в.: в текстах этого времени, опубликованных к 1993 г., зафиксировано десять примеров с *-ови*⁷ против восьми с *-у* (включая *Василеви* из старорусской грамоты № 15 и *Завиду* из ГрБ № 644), а последующие раскопки добавили еще четыре формы на *-у* (в ГрБ № 736 и 745) и лишь одну – на *-ови* (745). Во-вторых, если даже *-ови* и преобладало когда-нибудь в древненовгородском диалекте, к середине XII в. это господство явно сошло на нет (см. [12, с. 134]; в последнем выпуске берестяных грамот 13 форм на *-у* из текстов второй половины XII – рубежа XII/XIII вв. противостоит лишь одна на *-ови*). Но столь раннее отмирание инновационной флексии даже в том ареале, который признается основной, наряду с Юго-Западной Русью, областью ее распространения, заставляет весьма скептически отнестись к попыткам отрицать ее наличие в ростово-суздальских и ильменско-словенских говорах: отсутствие соответствующего материала в московских грамотах XIV в. [12, с. 135] так же мало говорит о состоянии XI–XII вв., как и данные новгородских пергаменных грамот. Наконец, длительное (вплоть до XV в.) сохранение *-ови* в деловой и бытовой письменности Пскова вряд ли может расцениваться как указание на источник инновации: не исключена и иная трактовка – пережиточное употребление исконно общевосточнославянского (и, видимо, праславянского, если учесть многочисленные примеры с *-ови* в старославянском и укорененность *-owil-ovi* у западных славян) варианта на периферии великорусской территории в условиях исчезновения ее во всех прочих русских диалектах.

7. Едва ли следует считать "труднейшей морфологической проблемой" наличие окончания *-у* в РП ед.ч. имени *Смолигъ* (ГрБ № 603, ПГ № 2) и решать эту проблему в том смысле, что "... *Смолигъ* – слово *и*-склонения" (с. 177): развивая подобные рассуждения, пришлось бы заключить, что имена *Пароухъ*, *Борисъ*, *Федосъ* тоже принадлежали к **и*-основам, коль скоро МП у них оканчивался на *-у* (*при* попѣ... *Пароуху* Ап 1309–1312, 128; *при* князи. Псковьскомь. *при* *Борису* Паракл 1369, 1366–137; *при* попе *Федосу* Пр 1383, 980б [36, с. 122, 124, 127]). Более правдоподобна иная интерпретация: длительное сохранение деклинационной автономности **и*-*masculina* в древненовгородском диалекте (см. [37; 38, с. 77–78]) обусловило дальнейшую, по сравнению с праславянским периодом, экспансию флексий данного склонения на **о*-основы, и если в старославянских и большинстве древнерусских памятников РП и МП

⁷В том числе два примера, обнаруженные в предположительно новгородских грамотах № 246 ("вероятно, смоленско-полоцкой" – с. 213) и № 109.

на -у получили распространение только среди неодушевленных имен с исконно односложной основой, то в новгородских (и особенно псковских) говорах этот процесс, имевший своим следствием формирование на месте прежнего *о-склонения смешанной *о/*и-основной парадигмы, затронул и многосложные имена собственные.

8. В предыдущей статье мы уже касались вопроса о происхождении инновационных форм И-ВП мн.ч. *ѣ-склонения типа *кунѣ* (вм. *куны*). Осторожность А.А. Зализняка в решении данной проблемы (с. 218) кажется излишней: на фоне таких новообразований в твердых вариантах склонения и спряжения, как *у вѣдкѣ* (РП ед.ч.), *городѣ* (ВП мн.ч.), *въ тихѣ* (МП мн.ч.), *идите* (2-е л. мн.ч. повел. накл.) и т.д. эти формы предстают как еще одна реализация тенденции к замене "твердых" окончаний "мягкими".

9. Три примера "весьма неожиданного окончания -аму" (с. 224), отмеченные А.А. Зализняком в ДП ед.ч. муж. рода адъективного склонения, могут быть дополнены еще одним употреблением из Ефремовской кормчей (переписанной, как известно, в Новгороде): *послѣднѣямоу* ономоу. и *дългомоу* о(т)шьствию о(т)поуценоу быти КЕ XII, 243а. Думается, что прежний вывод исследователя о возникновении этой флексии под влиянием генитивного окончания -аго [12, с. 142] вполне справедлив, но только с той оговоркой, что данная инновация действительно объясняется, как и указывает теперь А.А. Зализняк, не "орфографической гиперкоррекцией" (с. 224), а, скорее, живой тенденцией к фонетическому сближению флексией.

10. Обращаясь к формам РП ед.ч. муж. и ср. рода местоименного и адъективного склонений на -ога, объясняемым влиянием именного склонения⁸, мы не можем не заметить, что ограничение данного явления рамками ильменско-словенских говоров (с. 225) основывается только на весьма неопределенных современных диалектологических материалах (см. ниже), но не учитывает псковского происхождения по крайней мере двух текстов, демонстрирующих указанную флексию и тем самым свидетельствующих против ее локализации в ильменско-словенской зоне (если она действительно противопоставлялась в этом плане кривичской): Захариинского паремейника 1271 г. (пример *осмога* дни 231, впервые зафиксированный Н.М. Каринским [40]) и Ипатьевского списка летописи (*осмога* ЛИ ок. 1425, 73, *милога* 245об [31, с. 119]). Знаменательно, что формы *ягá*, *одногá* в начале XX в. употреблялись, по данным Н.М. Каринского, именно в псковских говорах "по берегу Чудского озера" [40]. Еще один пример с местоимением отмечен в Рязанской кормчей 1284 г.: о(т) *тога* часа и времени 290а, однако он не является вполне показательным, так как может восходить к сербскому оригиналу (см. [41]). Как бы то ни было, очевидно, что единичные случаи -ога, отмеченные в старославянских (см. [39, с. 140]), псковских, новгородских, суздальских (ЛЛ 1377) памятниках, в псковских, белорусских и восточноболгарских [39, с. 140] говорах, едва ли могли все en bloc развиваться "не независимо от западного южнославянского" (с. 225). По нашему мнению, корректнее было бы предположить, что рассматриваемое явление – сохраняет ли оно деклинационный архаизм или в самом деле отражает инновационное влияние именного склонения на местоименное – скорее всего, выходило за пределы ильменско-сербско-словенских изоглосс и характеризовало, в большей или меньшей степени, значительную часть диалектов праславянского, впоследствии определившихся как южно- и восточнославянские (ср. [39, с. 140]).

Следует также сказать, что оценка окончания -ова, представленного во многих северно- и средневеликорусских (окающих) говорах (см. [42, карта 45]), как "наследника" флексии -ога (с. 225) является, на наш взгляд, чрезмерно прямолиней-

⁸Иную точку зрения, возводящую *тога*, *кога* к аблативу гипотетических праславянских местоимений **тогъ*, **когъ*, отстаивал Г.А. Ильинский [39, с. 141, 161–163; 15, с. 448]. А.И. Соболевский также вычленил в *кога* основу *ког-* (ср. *ког-да*), сопоставляя окончание -о с греч. -ος в *τοῦτος*, *τινός* и лат. -us в *ejus*, *cujus* [24, с. 61].

ной. Если придерживаться традиционного объяснения, согласно которому [в] в этом окончании образовался для устранения зияния, появившегося после утраты [γ], обязанного своим возникновением ослаблению артикуляции [г] в положении между двумя лабиальными гласными (-[ого] > -[ою] > -[оо] > -[ово], см. [19, с. 126; 43; 44]), то придется констатировать, что во флексии *-oga* – т.е. в позиции перед [а] – фонетическое условие для перехода [г] > [γ] не соблюдалось. Нелишним было бы вспомнить здесь и о том, что окончание *-va* наряду с более многочисленными формами на *-vo* встречается в кашубско-словинских говорах [39, с. 144], для которых, насколько известно, флексия *-(o)ga* не реконструируется. Более вероятным, в свете примеров типа *железа волоченова тонкова иголнова* (с. 225), является, как мы полагаем, позднейшее, не связанное с *-oga*, преобразование местоименных и адъективных форм на *-ovo* под воздействием именного склонения (ср. [45, с. 240]). При такой интерпретации *-oga* может быть квалифицирована как "тупиковая" линия восточнославянской языковой эволюции, не получившая широкого развития в древнерусский период и заглохшая в среднерусский.

11. Вызывает возражения трактовка А.А. Зализняком глагольных форм 3-го л. настоящего времени (с. 228). Прежде всего представляется не совсем правильным говорить об "утрате *-ть*" в формах типа *живе*: по-видимому, нулевое окончание и флексия *-ть* являются параллельными, праславянскими по происхождению образованиями, восходящими соответственно к индоевропейским "вторичному" (**-t*) и "первичному" (**-ti*) окончаниям [46, с. 83]⁹. Это давнее, но не потерявшее привлекательности построение кажется нам гораздо менее "произвольным" ("arbitraire"), нежели гипотеза А. Вайана о "редукции" **-eti*, **-iti* в **-et*, **-it* и последующем устранении **-t* в одних говорах и наращении на него *-ъ* в других [48]. Трудно безоговорочно согласиться и с тем, что "отсутствие *-ть* в двух числах и в обоих спряжениях ставит древние севернокривичские говоры в уникальное положение внутри восточнославянской зоны" (с. 228); уже в древнерусский период нулевая флексия наблюдается не только в новгородских памятниках, но и в текстах других территорий: *трѣбоуе* Изб 1076, 174, *вѣдае* (Юрьевское евангелие), *к, приходи, су, иму* (Добрилово евангелие), *прося, въсхытя* (Жолмское евангелие) и мн. др. (см. [19, с. 249]). Конечно, большинство подобных примеров отмечено в церковно-книжных источниках и может передавать особенность протографа (ср. [19, с. 249; 49]). Однако не говоря уже о том, что само наличие южнославянского протографа в ряде случаев проблематично, следует иметь в виду, что для раннедревнерусского периода наука до самого последнего времени фактически не располагала светскими текстами неновгородского происхождения – да и применительно к Новгороду о широкой употребительности форм с *-Ø* позволили судить только берестяные грамоты (см. [12, с. 143]; ср. также замечание Н.М. Каринского о том, что 3-е л. без *-ть* "очень редко встречается" в псковских памятниках [2, с. 192–193]). Между тем уже первый не фрагментированный берестяной документ, найденный на Украине, – грамота № 2 из Звенигорода Галицкого – показал, что презенс типа *вониде* былтовал и на юго-западе древнерусской территории [50], и тем самым подтвердил автохтонность форм на *-Ø* в галицких церковнославянских текстах. Общевосточнославянская распространенность подобных форм, лишь с течением времени вытесненных образованиями с флексией *-ть* (ср. материал поздних берестяных грамот, где "доля примеров с *-ть* несколько возрастает" [12, с. 143]), явствует и из современных диалектных данных, свидетельствующих о наличии 3-го л. на *-Ø* не только в северно- и среднерусских, но и в южнорусских [42, карты 80, 81],

⁹Проникновение в презенс "вторичного" окончания, свойственного т.н. историческим временам (ср. др.-инд. *ádat* "дал", арх. лат. *fecid* "сделал"), вполне может быть сопоставлено с аналогичными процессами в 1-м л. ед.ч. (**-g < *-ǵ-m*) и, возможно, в 3-м л. на **-tъ*, которое издавна и упорно, хотя и небесспорно, возводится к и.е. "вторичному" медиальному окончанию **-to* (см. [46, с. 88; 47]).

украинских и юго-западных белорусских говорах (ср. [19, с. 249; 45, с. 186–187]). Картину, особенно близкую к древненовгородскому состоянию, демонстрируют южнорусские говоры, возводимые С.Л. Николаевым к племенному диалекту вятичей: здесь наблюдаются формы 3-го л. ед.ч. *стѣне, несѣ, ходи, сидѣ* и 3-го л. мн.ч. *стѣну, хѣдѣ, сидѣ* [51]. Кажется весьма вероятным предположение С.Л. Николаева о том, что такое распределение "...может отражать сильно модифицированную архаичную систему" [51]. Таким образом, противопоставленность древней и искривичского состояния современным восточнославянским данным естественна: берестяные грамоты, занимающие действительно уникальное место среди древнерусских памятников по степени лингвистической информативности, наиболее точно передают особенность того архаичного этапа в развитии восточнославянской (и общеславянской) глагольной системы, который, по всей очевидности, в большинстве говоров завершился раньше, чем на северо-западной периферии.

12. Фундаментальное значение для исторической морфологии и синтаксиса имеет проведенное А.А. Зализняком всестороннее исследование функционирования энклитик, заставляющее во многом по-новому смотреть на проблему порядка слов в древнерусском и праславянском. Применяя к древнерусскому языку – *mutatis mutandis* – правила постановки энклитик, сформулированные А. Вайаном [52] на материале старославянского языка, А.А. Зализняк представил поистине филигранный анализ сложных синтаксических структур.

Несогласие вызывает лишь параллельное рассмотрение энклитических и орфотонических форм дательного и винительного падежей ед.ч. личных местоимений (ДП *ми* — *мѣнѣ, ти* — *тобѣ, ны* — *намѣ, на* — *нама* и т.д., с одной стороны, и ВП *мя* — *мене, тя* — *тебе, ны* — *насъ, ва* — *ваю* и т.п. — с другой, см. с. 290). При таком изображении теряется представление о генетической и функциональной неравноценности указанных пар: если оппозиция энклитических и акцентно самостоятельных словоформ в дативе безусловно носит праславянский характер, то утверждение первоначально генитивных форм *мене, тебе* и т.д. в качестве аккузатива, несомненно, является позднейшей инновацией отдельных славянских языков, распространявшейся одновременно с процессом энклитизации исконно орфотонических форм *мя, тя* и т.п. В частности, для раннедревнерусского периода наличие ВП *мене, тебе* свидетельствуется крайне немногочисленными и не всегда надежными примерами. Естественно, что в древненовгородском диалекте, которому категория одушевленности в ед.ч. субстантивного склонения была чужда [38, с. 69]¹⁰, соотносящиеся с существительными формы В=Р местоимений чрезвычайно редки: в ранних берестяных грамотах, известных к настоящему времени (до № 753), аккузативы *мя, тя* (не говоря уже о возвратном элементе *ся*) встречаются 27 раз, тогда как *тебе* — ни разу, а *мене* — лишь трижды [53]. Впрочем, и в ранних памятниках новгородского происхождения (например, Успенском сборнике) формы ВП *мене* и *тебе* единичны, а большая часть словоупотреблений, фиксируемых словоуказателем как ВП, в действительности представляет собой обычный РП¹¹. Большинство бесспорных случаев В=Р наблюдается в текстах, восходящих к южнославянским протографам (см. УСб, 101г, 196а, 196в), причем во многих конструкциях появление ВП *мене* и *тебе* иницировано

¹⁰В этой связи заметим, что квалификация формы *Милослави* ГрБ № 196 как ВП (с. 333) кажется нам излишне категоричной: поскольку, как справедливо указал А.А. Зализняк, "угадать" значение стоявшего перед этим именем, но утраченного при обрезке бересты глагола «сдвѣ ли возможно (это может быть, например, "пожаловал", "простил", "освободил [от долга]" или, наоборот, "не простил", "не отпустил" и т.п.)» (с. 138), — данная субстантивная форма с таким же успехом могла бы быть и РП.

¹¹Так, например, в конструкциях: *послоушаи мене* УСб, 96г (аналогично — 97б, 97г, 121г, 122в, 220б, 231а, 253в, 254в), *стрѣѣте мене* 109а, *мене ослоуша сѣ* 222а (аналогично — 239а, bis), *ждеть мене* 138г, *мене въпрашаешѣ* 289в — представлен закономерный родительный при глаголах, регулярно управляющих генитивом, а в сочетании: *мене не послоушаешѣ* 137б — генитивное управление обусловлено не только самим глаголом, но и отрицанием (перечень мнимых примеров ВП *тебе* см. [54]).

либо влиянием согласующихся с ними субстантивных объектов, либо их начальным положением в синтагме, невозможным для полуэнклитик *мя*, *тя* (ср.: и *тебе* единого *бѣ* и *гѣ възлюбити* УСб, 27в). Абсолютное преобладание исконных форм ВП подтверждается и при обращении к "Повести временных лет" (по Лаврентьевскому списку), где, согласно данным Э. Кленни, на долю *мене* и *тебе* приходится resp. лишь 9 и 10% от общего числа аккузативных форм соответствующих местоимений [55, с. 72]. Относительно ограничено использование В=Р в дв. и мн.ч.: так, в ранних берестяных грамотах отмечены только формы старого ВП *ны* (№ 400) и *вы* (№ 503), между тем как *насъ*, *васъ* регистрируются лишь с середины XIV в. (по три примера каждая). Сходную картину демонстрируют письменные источники и для анафорического местоимения *и*: форма ВП *его* вначале фигурирует главным образом в текстах южнославянского происхождения, а В=Р женского рода, поставленный А.А. Зализняком в параллель к исконному *ю*, вообще наблюдается только с XIV в., причем – что симптоматично – в церковнославянской огласовке (*наказавъ ея*, *бывъ ея* [19, с. 201]).

Следовательно, применительно к аккузативу у нас нет оснований говорить о равноправной и древней оппозиции энклитических и орфотонических форм, подобной той, которая изначально наличествовала в дативе. Между *мя* и *мене*, *тя* и *тебе*, *и* и *его* существуют отношения преемственности, связанные с тем, что формы второго типа являются историческими наследниками форм первого типа, возникшими в результате развития категории одушевленности. По мере отмирания исконных форм ВП и закрепления В=Р в роли единственного представителя аккузативной граммы у одушевленных существительных использование старого винительного у личных, указательных и относительных местоимений вступало во все большее противоречие со структурой именных падежных противопоставлений, вследствие чего уже в XIII в. деловые тексты отражают, по словам Э. Кленни, "реальное изменение норм" [55, с. 59], предполагающее постепенный переход от преимущественного употребления исконных форм к преобладанию В=Р.

*

13. Итак, ряд уже достаточно прочно вошедших в научный обиход положений, касающихся характеристики фонетико-фонологической системы и грамматического строя древненовгородского диалекта, нуждается, на наш взгляд, в корректировке. В первую очередь это относится к противопоставлению севернокривичских (западных) и ильменско-словенских (восточных) элементов. Ввиду практически полного отсутствия в нашем распоряжении ранних однозначно "восточных" берестяных грамот [56] и в условиях значительного преобладания в древненовгородском койне черт предположительно западного происхождения выводы о наличии тех или иных особенностей в ильменско-словенских говорах вынужденно базируются на данных современной лингвогеографии. Однако хорошо известно, что именно территория Новгородской земли (в отличие от Псковской), т.е., собственно говоря, ареал древних ильменских словен и их позднейшей колонизации, в эпоху Московской Руси подвергалась "этническим чисткам", следствием чего явилось, во-первых, опустошение многих земель, во-вторых, смешение с инодиалектным населением, в-третьих, забвение исконных диалектных черт. Напротив, псковские говоры, составляющие, если воспользоваться словами О.Н. Трубачева, периферию "сугубой периферии" [57], развивались в относительно более благоприятных политических условиях и, естественно, лучше сохранили языковую архаику. Таким образом, значение современных новгородских, архангельских, вологодских и т.д. говоров, с одной стороны, и говоров псковских и гдовских — с другой, для исторической диалектологии абсолютно неравноценно.

Далее. Противопоставление древненовгородского диалекта всем прочим восточнославянским диалектам также основывается на их явно неравноправном положении с

точки зрения освещенности письменными памятниками. Ввиду отсутствия не только берестяных грамот, но и церковно-книжных текстов многие территории Древней Руси в языковом отношении остаются для нас *terra incognita*. Однако и при наличии книг и даже пергаменных грамот наши представления о ряде древневосточнославянских диалектов, несомненно, являются превратными; утверждать это столь определенно мы можем именно благодаря обнаружению и адекватной интерпретации в трудах В.Л. Янина и А.А. Зализняка новгородских берестяных грамот, которые, при сравнении их с прочими новгородскими текстами, недвусмысленно показали, "насколько успешно могут традиционные письменные источники маскировать реальную ситуацию в живой речи" [58]. Следовательно, на основе южнорусских или северо-восточных евангелий, летописей, княжеских грамот весьма трудно делать выводы, которые по своей надежности могли бы соперничать с материалом берестяных грамот. При отсутствии для большинства территорий за пределами Новгорода и Пскова письменных источников, в количественном и информативном отношении равноценных берестяным грамотам, всякие попытки экстраполяции современных диалектных явлений на древнейший уровень остаются крайне рискованными – а тем самым и объединение либо разграничение древнерусских диалектов по целому ряду признаков (см., например, с. 212, 216, 220, 228, 229, 232) оказывается весьма шатким и труднодоказуемым¹². Судя по всему, единственная реально доступная для реконструкции оппозиция – это соотношение древненовгородского диалекта и "стандартного древнерусского языка", безусловно испытывавшего сильнейшее влияние церковнославянского и в силу этого лишь очень приблизительно отражающего живую народно-разговорную речь Киева, Суздаля, Смоленска или Твери.

Наконец, сопоставления с другими славянскими языками, неизменно присутствующие при описании всех специфических древненовгородских особенностей, не дают оснований для однозначных выводов. Не говоря уже о таких чертах, которые вообще не находят параллелей нигде в Славии (отсутствие второй палатализации, *вѣх*, [мл'] > [н'], номинатив на *-e*), – т.е. об архаических и инновационных явлениях, в первую очередь определяющих свособразный облик древненовгородского диалекта, – приходится констатировать, что и другие особенности, как будто имеющие аналоги в инославянских языках, оказываются слишком "самостоятельными", чтобы мы могли согласиться с выведением их из "севернославянского" прототипа (см. в первой статье о рефлексах **ij*, **dj*). Знаменательно, что в некоторых случаях сам А.А. Зализняк, отмечая параллелизм тех или иных инноваций, например, в ильменско-словенской и сербско-словенской зонах, оставляет открытым вопрос о наличии между ними генетической связи (с. 218, 225).

14. Многочисленные особенности, которые в совокупности своей действительно отличают древненовгородский диалект и от стандартного древнерусского, и от церковнославянского, и от всех остальных славянских языков, с точки зрения их генезиса могут быть, как мы полагаем, разделены на четыре группы.

Первую группу составляют *п р а с л а в я н с к и е а р х а и з м ы*, т.е. явления, общие для всех славянских диалектов и отражающие либо исконное состояние, либо общеславянское изменение; к их числу относятся: неразвитость слогового сингармонизма и, как следствие, неосуществление второй и третьей (для **g* и **x*) палатализаций; [г] взрывное; реализация (ѣ) как [ä]; окончание ИП ед.ч. муж. рода **o*-склонения *-o* < **-os* (в топонимах); ИП **jo-masculina* на *-e*; формы адъективного склонения типа РП *малаго*, *третьѣѣ*, ДП *Волотъковѣѣ*; нулевая флексия в 3-м л. наст. вр. глаголов.

¹²Впрочем, и показания берестяных грамот отнюдь не во всех случаях достаточно информативны. Весьма красноречиво в данном аспекте признание А.А. Зализняка относительно реконструкции "восточной" и "западной" систем в распределении рефлексов **o*: "Памятники бытового письма не дают нам возможности об этом судить вообще..." (с. 204).

Во вторую группу входят праславянские диалектные инновации и, общие для ряда диалектов эпохи распада праязыка: первое полногласие на его раннем этапе – с неопределенным гласным после плавного (*torət); второе полногласие в виде *tǫrət; генитив типа *тога*; Д–МП местоимений *тобѣ, собѣ*¹³.

Третью группу образуют восточнославянские полидиалектные инновации: общекривичское цоканье (см. [19, с. 34]); возможно, общее для ряда диалектов влияние мягкой разновидности на твердую в местоименном склонении (*тихъ*) и в повелительном наклонении (*идите*).

Четвертая группа включает общие псковско-новгородские инновации (чаще всего генетически псковские), иногда и отчасти совпадающие с аналогичными изменениями в других языках и диалектах, но, по-видимому, независимые от них, сходные с ними лишь типологически: прекращение действия фонетического эффекта первой палатализации для всех вновь образующихся форм, содержащих заднеязычные перед известными гласными переднего ряда; изменение *dl, *tl > [гл], [кл]; упрощение *ž'd'ž' (из *zgj, *zgj', *zdj) в [ж'д'] и, может быть, также *s't's' (из *skj, *sk', *stj) в [ш'т']; переход [вл'] > [л'], [мл'] > [н']; изменение [ъ] > [ej]; номинатив *o-masculina на -e; РП ед.ч. и И–ВП мн.ч. *ā-склонения на -ѣ; ВП и, позднее, ИП мн.ч. *o-masculina на -ѣ; И–ВП дв.ч. ср. рода типа *дѣва лѣта*; 1-е л. мн.ч. наст. вр. на -ме; ИП причастий (деепричастия) от глаголов I–II классов на -я (*идя*); в отдельных говорах – изменение *torət в *trot* и *tǫrət – в *trѣt*.

Отдельную группу составляют чисто псковские диалектизмы, т.е. явления, не распространившиеся на древненовгородский диалект в целом: смешение шипящих и свистящих; упрощение *d'ž' (из *dj) и *t's' (из *tj) в [д'] и [т'] с последующим изменением в мягкие заднеязычные и позиционным отвердением; заударное яканье (*дворя, Гюргямъ*) и нек. др. (см. [36, с. 144–155; 2, с. 150–198]).

Этот обзор вынуждает поставить под сомнение тезис, согласно которому "... в определенный момент развития праславянского языка... выделяется северная (точнее, северо-западная) группа древних диалектов, включающая польский (диалект? язык? – К.В.), севернолехитские, лужицкие и севернокривичский" (с. 232). Как уже отмечалось, идея западнославянского-кривичского родства (и, следовательно, – по принципу *reductio ad...* – гетерогенности древнерусского языка) была выдвинута еще А.И. Соболевским, который в 1912 г. писал: "Если мы пойдем в область гипотез, то найдем в себе смелость предположить, что доисторический кривичский говор русского языка... получил свою главную особенность (цоканье. – К.В.) еще в то время, когда жил рядом с предком мазурского говора. Иными словами, мы можем допустить, что предки кривичей в глубине веков жили – вероятно, в бассейне Вислы – рядом с предками мазуров и что затем, волею или неволею отделившись от мазуров, пробившись через литовские поселения и сначала заняли местности между литовцами виленскими и литовцами смоленскими, а потом продвинулись далее на север, в области западнофинских племен..." [5, с. 46–47]. Следует, однако, заметить, что тут же Соболевский обратил внимание и на кривичско-сербские схождения [5, с. 48], которые, к сожалению (как мы имели возможность убедиться на примере рефлексов *tj и *vj типа *Радослаликъ*), нередко игнорируются в новгородоведческих изысканиях последних лет, абсолютизирующих лишь действительные и мнимые черты лехитско-кривичского сходства. Между тем особенности, объединяющие древние новгородско-псковские говоры как с западно-, так и с южнославянскими языками (мы не говорим о некоторых сходных тенденциях, имеющих разные результаты и, по-видимому, лишь типологически близких), определяются, вероятнее всего, не генетическим единством,

¹³Если "... ничто, кроме традиционного постулата о восточнославянском единстве, не мешает допустить гораздо более раннее возникновение словоформ Д.М. *тебѣ, себѣ* в ильменско-словенской зоне" (с. 228), то и в пользу этого допущения говорит только постулат о восточнославянской гетерогенности: "... реальных данных о состоянии ссеверо-восточных говоров в XI–XIII вв. просто нет" (с. 228).

а иными факторами: а) независимым сохранением праславянских архаизмов [59] (**kvě*, **gvě* у северных кривичей и у западных славян при наличии у последних второй палатализации в прочих позициях; реализация (ѣ) как [ä]; архаичное склонение местоименных прилагательных в древненовгородском и старославянском) и праславянских диалектизмов (*тога*; *тобѣ*) и б) независимым развитием достаточно "ожиданных", нередко системно обусловленных инноваций (ср. [kl], [gl] в словенском, польском, словацком; [ж'д'] и [ш'т'] из **z'd'z'* и **s't's'* в старославянском; переход мягких дентальных в заднеязычные в сербском и македонском; *trot* < **tort* в западнославянских языках; [вл'] > [л'] в сербском; И-ВП **ā*-склонения на -*z* в словенско-сербской зоне; императив на -*umel-ite* в ряде южно- и западнославянских языков; -*а* в ИП причастий типа ст.-слав. *неса* [14, с. 233]). Вполне естественно, что общеславянские архаизмы и древнейшие диалектные инновации особенно устойчиво сохранялись на крайней периферии славянского мира, на территории Псковской и Новгородской земель. В то же время и ряд собственно севернокривичских новообразований представляет собой лишь этап в эволюции праславянских же архаизмов (либо праславянских диалектизмов), которые, очевидно, первоначально были унаследованы всеми восточнославянскими диалектами, но затем подверглись различным изменениям (разные способы упрощения **z'd'z'* и **s't's'*; появление на месте **t's'* и **d'z'* (из **tj*, **dj*) либо мягких зубных, либо шипящих; переход **dl*, **tl* соответственно в [гл], [кл] и в [л]; различная эволюция полногласных сочетаний с призвуксом после плавного; замена номинативной флексии муж. рода *-*o* окончаниями -*e* либо -*ъ* [при сохранении в последнем случае гипокористик на -*o*]). Тем самым данные древних псковско-новгородских говоров не опровергают, а скорее подтверждают положение о генетическом единстве древнерусских диалектов, различающихся не гетерогенными особенностями, а сохранением либо утратой генетически праславянских архаизмов и инноваций и наличием либо отсутствием позднейших новообразований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев Л.Л. О случае сохранения общеславянской группы -*dl-* в одном из старых наречий русского языка // РФВ. 1907. № 4. С. 263–264.
2. Каринский Н.М. Язык Пскова и его области в XV веке. СПб., 1909.
3. Соболевский А.И. Важная особенность старого псковского говора // РФВ. 1909. № 3–4.
4. Шахматов А.А. К вопросу о польском влиянии на древнерусские говоры // РФВ. 1913. № 1.
5. Соболевский А.И. Лингвистические и археологические наблюдения. Вып. II. Варшава, 1912.
6. Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.
7. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I. М., 1988. С. 24–68.
8. Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка. М., 1969. С. 153.
9. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Phonétique. Lyon, 1950. P. 89.
10. Колесов В.В. К характеристике исходной палатальности согласных в древнепсковском говоре // Псковские говоры. III. Псков, 1973. С. 8.
11. Ondrus P. Zmena *tl, dl* na *kl, gl* v stredoslovenských nárečiach // Jazykovedný časopis. 1962. R. XIII, č. 1. S. 70–75.
12. Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.
13. Селищев А.М. Старославянский язык. Ч. I. Введение. Фонетика. М., 1951.
14. Diels P. Altkirchenslavische Grammatik. Heidelberg, 1932.
15. Ильинский Г.А. Праславянская грамматика. Нежин, 1916.
16. Шахматов А.А. К истории звуков русского языка. О полногласии и некоторых других явлениях. СПб., 1903.
17. Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. С. 158–159.
18. Потемня А.А. К истории звуков русского языка. Воронеж, 1876.
19. Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. М., 1907.
20. Диалектологический атлас русского языка: (Центр Европейской части СССР). Вып. I. Фонетика. М., 1986. Карта 92.
21. Пяторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови. Київ, 1988.
22. Еселевич И.Э., Марков В.М. История редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1976. С. 53.

23. Колесов В.В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980.
24. Соболевский А.И. Лингвистические и археологические наблюдения. Вып. I. Варшава, 1910.
25. Зализняк А.А., Янич В.Л. Вкладная грамота Варлаама Хутынского // R Ling. 1993. V. 16. С. 196.
26. Зализняк А.А. Об одном ранее неизвестном рефлексе сочетаний типа *Tьr в древненовгородском диалекте // Балто-славянские исследования. М., 1994.
27. Галинская Е.А. О хронологии некоторых изменений в системе вокализма праславянского языка // Исследования по славянскому историческому языкознанию: Памяти профессора Г.А. Хабургаева. М., 1993.
28. Крысько В.Б. Общеславянские и древненовгородские формы Nom. sg. masc. *-o-склонения // R Ling. 1993. № 2.
29. Крысько В.Б. Новые материалы к истории древненовгородского номинатива на -e // ВЯ. 1993. № 6.
30. Карский Е.Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М., 1962. С. 69.
31. Шахматов А.А. Несколько заметок об языке псковских памятников XIV–XV в. // ЖМНП. 1909. Июль.
32. Трусман Ю. Образцы сомерского говора (в Гдовском уезде С.-Петерб. губ.): Рукопись Архива Русского географического общества, разряд XXXV, оп. 1, № 15.
33. Топоров В.Н. Праславянская культура в зеркале собственных имен (элемент *mir-) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993. С. 27.
34. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен // Зап. Отд-ния рус. и слав. археологии Имп. Рус. археол. о-ва. Т. VI. СПб., 1903.
35. Wójtowicz M. Новгородская берестяная грамота о передаче кун // Lingua Posnaniensis. 1982. XXV. S. 44.
36. Соболевский А.И. Очерки из истории русского языка. Киев, 1884.
37. Николаев С.Л., Хелицкий Е.А. Славянские (новгородско-псковские) заимствования в прибалтийско-финских языках: -o и -и в рефлексах имен мужского рода // Uralŭ-Indogermanica. М., 1990. Ч. 1. С. 41–43.
38. Крысько В.Б. Категория одушевленности в древненовгородском диалекте [I] // Славяноведение. 1993. № 3.
39. Ильинский Г.А. Сложные местоимения: Окончания родительного пад. ед.ч. м. и ср.р. неличных местоимений в славянских языках. М., 1905.
40. Каринский Н.М. Паремейник 1271 года как источник для истории псковского письма и языка // Сб. ОРЯС. 1928. Т. 101, № 3. С. 236.
41. Блохина Э.Д. Палеографическое и фонетическое описание Рязанской кормчей 1284 г.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1970. С. 26.
42. Дialeктологический атлас русского языка: (Центр Европейской части СССР). Вып. II. Морфология. М., 1989.
43. Толкачев А.И. Об изменении -ого > -ово в родительном падеже единственного числа мужского и среднего рода членных прилагательных и местоимений русского языка // Материалы и исследования по истории русского языка. М., 1960.
44. Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка: Имена. М., 1990. С. 205–206.
45. Селищев А.М. Избранные труды. М., 1968.
46. Соболевский А.И. Исследования в области русской грамматики. Варшава, 1881.
47. Иванов Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол: Индоевропейские истоки. М., 1981. С. 57, 90–92.
48. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. T. III. Le verbe. P., 1966. P. 10.
49. Страхов А.Б. Филологические наблюдения над берестяными грамотами: I–IV // Palaeoslavica. 1993. V. 1. С. 201.
50. Нимчук В.В. Звенигородские (галицкие) берестяные грамоты // Исторические изменения в языковой системе как результат функционирования единиц языка. Калининград, 1992. С. 7.
51. Николаев С.Л. Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // ВЯ. 1994. № 3. С. 41.
52. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952. С. 410–412.
53. Крысько В.Б. Категория одушевленности в древненовгородском диалекте [II] // Славяноведение. 1994. № 1. С. 36.
54. Hock W. Das Nominalsystem im Uspenskij Sbornik. München, 1986. S. 160.
55. Klenin E. Animacy in Russian: A new interpretation. Columbus (Ohio), 1983.
56. Зализняк А.А. Древненовгородское койне // Балто-славянские исследования, 1986. М., 1988. С. 71–72.
57. Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. М., 1991. С. 251.
58. Зализняк А.А. Берестяные грамоты перед лицом традиционных постулатов славистики и vice versa // R Ling. 1991. № 3. С. 240.
59. Толстой Н.И., Толстая С.М., Д.К. Зеленин-диалектолог // Проблемы славянской этнографии. Л., 1979. С. 82.

© 1994 г. Г.А. КЛИМОВ

**ФРАГМЕНТ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНИХ КАРТВЕЛОВ
ПО ДАННЫМ ЯЗЫКА**

Чрезвычайно широкая разветвленность терминологии виноградарства и виноделия в картвельских языках широко известна (ср., например [1], где приводятся свыше 1200 соответствующих лексем, среди которых налицо множество специализированных, имеющих отношение исключительно к виноградарству). В специальной литературе справедливо признается, что за ней стоит и достаточно давняя традиция хозяйственной практики картвелов. Конечно, высказывавшаяся некоторыми кавказоведами в 50-х годах точка зрения относительно знакомства с виноградарством носителей языка еще в период иногда предполагаемого общекавказского сосуществования [ср. 2, с. 41–50], основана на довольно очевидном анахронизме, поскольку оно возможно лишь в условиях развитого оседлого земледельческого хозяйства. Тем не менее, глубокая древность этой культуры в Закавказье, в частности в Центральной и Южной Грузии, не вызывает сомнений, так как она однозначно подтверждается показаниями современной археологии. Например, для III тысячелетия до н.э. следы культурного винограда засвидетельствованы в таких археологических комплексах Центральной Грузии как Квацхелеби и Хизанаантгора, а для более ранней эпохи они отмечены несколько южнее Тбилиси в комплексе Шулавери [3, с. 83]. В период поздней бронзы виноградарство уже достигло здесь высокого уровня развития, о чем говорят археологические находки в Уллис-цихе, Триалети и в других местностях Закавказья. Целесообразно упомянуть, что раскопки ряда археологических объектов удостоверяют факт выведения в столь отдаленное время по крайней мере двух сортов виноградной лозы – мцване, с одной стороны, и ркацители, с другой. Эпоха культивации лозы в Грузии будет, вероятно, отодвинута еще несколько далее, если подтвердится мнение И.А. Джавахишвили о том, что в Закавказье существуют два-три еще более древних сорта винограда [4, с. 530]. Напомним в этой связи и сохранившиеся в Грузии до сравнительно недавнего времени пережитки древнейшего культа высокоствольной виноградной лозы как некоторого воплощения древа жизни [5, с. 56–58 и 73–74]. На наш взгляд, налицо и довольно убедительные языковые свидетельства обрисованного положения вещей. В условиях серьезных трудностей, с которыми неизменно сталкивается этническая атрибуция археологических находок, эти свидетельства представляются достаточно показательными и сами по себе.

Предметом рассмотрения в настоящей статье служат пятнадцать именных и глагольных основ соответствующего семантического поля в картвельских языках, обнаруживающие закономерные звукосоответствия и позволяющие воспользоваться известными преимуществами групповой реконструкции лексики. Продолжения почти всех реконструируемых здесь терминов (иногда даже с их синонимическим окружением) налицо и в древнегрузинских письменных памятниках. По крайней мере два строящихся в этой сфере архетипа – **γwino-* "вино" и **ter- : tr-* "напиваться, пьянеть" – претендуют на свою соотнесенность еще с общекартвельским состоянием.

Первая из названных основ является одним из звеньев широко распространенного в языках древней Передней Азии индоевропеизма. Высказывавшаяся в прошлом гипотеза об армянском источнике картвельских обозначений вина в картвелестике не нашла подтверждения. Ее опровергает не только весь известный современной науке культурноисторический контекст бытования самой реалии в Закавказье (естественно предположить к тому же, что знакомство картвелов с вином должно было состояться

еще в эпоху до возникновения у них культуры виноградарства, подобно тому как это имело место в истории большинства других регионов Евразии), но и формальный облик соответствующих лексем. Так, в специальной литературе неоднократно подчеркивалась их фонетическая невыводимость из известного армянского слова, поскольку при этом ожидалось бы формы типа **gini-* или **gvini-* (ср., например: [6, с. 42; 7, с. 139–140; 8, с. 334]). На очевидном недоразумении основана и встречающаяся ссылка на гипотетический протоармянский антецедент слова с начальным *γ*, поскольку последняя фонема появляется в армянском языке лишь к XI в. н.э. как результат преобразования исторического "твердого" *i*.

Необходимо вместе с тем учитывать, что картвельское обозначение вина оказывается в едином ряду с несколькими другими древнейшими общекартвельскими индоевропеизмами, отражающими инициальное индосвропейское **u* или **Hu* в виде последовательности *γw* (такие входящие в него основы, как картв. **γweb-* "плести", **γwed-* "привязь, ремень", **γwel-* "скручивать(ся)" при и.-е. **uebh-*, **uedh-* и **uel-*, могут объясняться не только как формы, возникшие на картвельской почве вследствие некоторого древнейшего "обострения" *u*, но и, по-видимому, как содержащие рефлекс позднего индоевропейского ларингала, что удостоверено бы давность их заимствования еще более убедительным образом, ср. [9]. Ранее автор статьи считал, что содержащие диминутивный аффикс сванские обозначения вина *γwinel-*, *γwinal-*, *γwinäl-* могли быть заимствованными из грузинского. Однако за исконность слова в сванском как будто говорит его принадлежность к числу нескольких других, как правило, общекартвельских лексем, выступающих ныне в этом языке лишь в окаменелой форме исторического диминутива.

В то же время достоверность реконструкции семантики глагольной основы **ter-* : *tr-*, продолжения которой засвидетельствованы в грузинском и сванском, поддерживается параллельным наличием в общекартвельском состоянии "нейтральной" глагольной основы **z₁w-*, прослеживаемой по всем картвельским языкам (ср. в этой связи существование во многих "экзотических" языках парных классифицирующих глаголов "пить", соотносимых с разными объектами – с водой в одном случае и с хмельным напитком или соком во втором).

Остальной рассматриваемый здесь материал позволяет восстанавливать архетипы обычно несколько более позднего – грузинско-занского – уровня, проецирующиеся в эпоху не позже II тысячелетия до н.э. Несмотря на то что в обоих языках занской ветви – мегрельском и лазском – лексемы этой семантической сферы в настоящее время иногда существенно варьируют по диалектам (так, например, в сенакском диалекте мегрельского обозначением глиняной амфоры для вина служит *lagvan-*, а обозначением черпака для вина – *xirke*), в них так или иначе прослеживаются закономерные корреспонденции соответствующим грузинским, что дает основание проецировать в грузинско-занское состояние следующие архетипы:

- * *wenaq-* "юза (виноградная)"
- * *kra-* "рог, верхушка, годовалая лоза винограда"
- * *sxał-* : *sxl-* "подрезать лозу"
- * *mkwaxe-* "незрелый (виноград)"
- * *kipx-* "обрывок грозди, кисточка (винограда)"
- * *c₁nex-* : *c₁nix-* "давить (виноград)"
- * *(s)ja-cnex-el-* "давальня, пресс (виноградный)"
- * *ckend-* : *cknd-* "осаждать(ся), сочить(ся)"
- * *cur-* "глиняная амфора (для вина)"
- * *txl-e-* "осадок (вина)"
- * *kope-* "черпак (винный)"
- * *guda-* "бурдюк, мех"
- * *z₁mal-* / / *z₁mar-* "уксус".

Приведенный материал может быть распределен по своему происхождению между двумя обособленными группами основ. Одну из них составляют формы, образованные

на базе исконно картвельского корнеслова. Остальная часть списка, подобно обозначению вина, обнаруживает индоевропейские параллели и, скорее всего, восходит к каким-то древним индоевропейским источникам. Бросается в глаза отсутствие в этом списке картвельского обозначения винограда (ср. груз. *qurzen* – и очень близкие формы родственных языков), не поддающееся намеченной бинарной классификации. Оно по сей день остается одной из нерешенных загадок картвельской этимологии (мнение о зависимости от него урартского *ulde(ni)* "виноград" [10, с. 86] в свете известной науке истории традиции виноградарства едва ли может считаться окончательным).

Груз. *mḱvaxe* "незрелый (о фруктах)" и мегр., лаз. *ḱoxa-* "незрелый виноград, сок незрелого винограда" позволяют реконструировать груз.-зан. **mḱvaxe-* "незрелый (преимущественно о винограде)". Архетип напоминает картвельские отглагольные образования с аффиксацией *m-* – *-e*, хотя соответствующая производящая основа, по видимому, не просматривается. Вместе с тем фонетически близкие сванские формы скорее всего неисконны.

Груз.-зан. *ḱurx-* "мелкий обрывок грозди, кисточка винограда" реконструируется на базе сравнения груз. *ḱurxal-* располагавшего уже в древнегрузинском ряду производных, с лаз. *ḱumx-*: в котором реализован закономерный звукопереход *px > mx* (ср. [11, с. 134]). Поскольку сюда же, по всей вероятности, относится и сван. *ḱwipx-* "капля", что поддерживается и груз. *ḱurxa-ḱurxa* "струей, потоком", лексема должна восходить еще к общекартвельскому состоянию и способна иллюстрировать становление специфического термина виноградарства из единицы терминологической нейтральной лексики (в картвельских языках нетрудно найти и другие примеры этого длившегося многие столетия процесса).

Груз.-зан. **ḱurx-:ḱurx-* "давить (преимущественно о винограде)" произведено от простой глагольной базы **ḱur-* "давить" посредством присоединения исторического аффикса категории способа действия (мнение Г.А. Капанцяна о зависимости картвельского слова, равно как и несомненно связанного с ним арм. *ḱəḱsel* "давить", от аккадского *sanāḱu* [12, с. 350] наталкивается на серьезные препятствия фонетического порядка).

Дальнейшее расширение предыдущей основы представлено в груз.-зан. **(s)a - ḱurx -el-* "давилня, пресс", где к ней присоединяется известная деривационная коаффиксация **(s)a- -- -el-*.

Груз. *ḱur-* "глиняная амфора для вина", характерное для западногрузинских диалектов, и закономерно отвечающее ему мегр. *ḱkuḱ-ḱkiḱ* позволяют реконструировать архетип *ḱur-*. Любопытно, что изолированно стоящее восточногрузинское *ḱvevr-* той же семантики в свою очередь напоминает и.-с. **k^wer-* "горшок, котел". Обозначаемая словом реалья встречается, во всяком случае, еще в археологических комплексах II тысячелетия до н.э.

Груз.-зан. **ixl-e-* "осадок вина (в сосуде)", по всей вероятности, образовано от грузинско-занского адъектива **itxel-* "тонкий, редкий" посредством суффиксации исторического номинализующего гласного элемента [13, с. 39].

Груз.-зан. **ḱore-* "черпак (винный)" восстанавливается на базе сопоставления груз. *ḱore-* и мегр., лаз. *ḱopa-* [14, с. 142]. При идентичности семантики грузинской и мегрельской форм в лазской налицо некоторый сдвиг значения (она обозначает либо черпак вообще, либо большую ложку-шумовку), понятный на фоне исповедуемого лазама ислама. Переход *e > a* в исходе основы обоих занских субстантивов объясняется явлением внешнего сандхи, обусловленным их обычной позицией в предложении (ср. груз. *erti ḱore ḱvino* "один черпак вина").

Наконец, груз.-зан. **z₁mar-III-* "уксус" связано своим корневым элементом с общекартвельским обозначением соли [11, с. 176–177]. Если в основе груз. *zmar-* лежит вариант архетипа с конечным *r*, то в основе лаз. *zimo(r)-* оказывается вариант с *l* (ср. мегр. *zimo^lua-* "солить"), закономерно результирующим в *r*.

Другая группа основ интересна тем, что она состоит, по всей вероятности, из древних индоевропейцев. Большая или меньшая достоверность предлагаемых ниже сближений основывается в определенной мере уже на самой возможности выполнения соответствующей групповой реконструкции в рассматриваемом фрагменте словаря картвельских языков.

Так, груз.-зан. **wenaq*- "лоза (виноградная)", восстанавливаемое на базе сопоставления др.-груз. *venaq*- с мегр. и лаз. *binex*-, принято сопоставлять с и.-е. ("диалектным") **weinag* той же семантики (ср. [15, с. 214–215; 16, с. 649, 861]). Сван. *wenāq*- или *wenāx*- "виноградник" должно, однако, трактоваться в качестве грузинизма, поскольку оно отражает, как это видел еще И.А. Джавахишвили, сдвиг семантики, наступивший в грузинском слове в более позднее время [17, с. 102].

Груз.-зан. **kra*- "рог, верхушка, годовая виноградная лоза (?)", по всей вероятности, восходит к и.-е. **krā* "голова, рог, верхушка" (в настоящее время известны и другие примеры соотношения картв. *k* – и.-е. *k̄*). В пользу гипотезы о давности заимствования основы говорит ее весьма архаический облик. Картвельская лексема, подобно индоевропейской, характеризуется широким полисемантизмом, четко отраженным, в частности, уже в первом Толковом словаре грузинского языка, принадлежащем С.С.Орбелиани [18, с. 17]. Значение "однолетняя лоза" присуще, во всяком случае, уже древнегрузинскому слову. Если учесть закономерность преобразования исторического комплекса *kr > rk* в мегрельском (ср. лаз. *kra*-, мегр. *ka*- < **rka*-, ср. [11, с. 93]), то др.-груз. *rka*- "рог, однолетняя лоза" может трактоваться как старый мегрелизм.

Груз.-зан. **sxal*- : *sx̄l* "подсекать лозу" увязывают с продолжениями и.-е. **skhel*- "оступаться" типа др.-инд. *skhalatī* "он спотыкается" (ср. [18, с. 333]). Семантическая сопоставимость этих форм более отчетливо выступает на фоне значения производного груз.-зан. **sxl-et*- : *sx̄l-t*- "оступиться, поскользнуться", характеризующегося распространением исходной простой базы посредством исторического аффикса способа действия (ср. [11, с. 386; 19, с. 43]). Аблаутное чередование в корне картвельского глагола, равно как и его семантика, не позволяет его выводить из фонетически близкого арм. *sxalim* "ошибаться", неисконность которого также иногда допускается в арменистике. Для соотношения картв. *x* ~ и.-е. *kh* ср. картв. **cxw(i)*- "стрела, шип растения" при и.-е. **sk(h)u(i)* - "шип растения".

Груз.-зан. **çk̄end*- : *çk̄nd*- "осаждать(ся), сочить(ся)" (ср. груз. *çkent*- : *çknt*- при мегр. и лаз. *çkond*- [11, с. 399]) естественно сопоставить с и.-е. **skendh*- той же семантики. Необычно сложная фонологическая структура формы нулевой ступени огласовки картвельской основы заставляет исследователей искать пути объяснения ее истории. Так, Ф.Г. Эртелишвили полагал, что она представляет собой усложнение (с последующим преобразованием) иной исходной основы [20, с. 289], а И.Г. Меликишвили, подчеркивая обилие ее диалектных вариаций в грузинском, признает вероятность ее заимствования во всяком случае из одного картвельского языка в другие [21, с. 52]. Если сван. (верхн.-бал.) *li-sk̄ind-e* "сочиться" относится сюда же, то придется признать общекартвельскую давность заимствования. О культурном характере слова, по-видимому, говорит его дополнительное значение "сучить веревку", засвидетельствованное в занской ветви картвельских языков.

Груз.-зан. **guda*- "бурдюк, мех (для вина, сыра)", построенное исходя из груз., мегр. и лаз. *guda*-, сопоставимо с продолжениями и.-е. **gudo-m* "кишки, потроха" > "кожаная сумка". Поскольку картвельская форма, обозначающая один из характерных атрибутов древней культуры картвелов, обнаруживает особенную близость к др.-инд. *guda-h*, соблазнительно считать ее вкладом переднеазиатского индоарийского источника (как известно, лексема проникла и в некоторые семитские языки). Сван. *gudra*- "бурдюк, мех", испытавшее воздействие аналогии со стороны ряда обозначений других хозяйственных реалий, характеризующихся в этом языке суффиксом *-la*, может быть более поздним заимствованием из грузинского.

В целом рассмотренный выше лексический материал, являющийся принадлеж-

ностью культурного словаря, служит лингвистическим свидетельством высокой развитости культуры виноградарства у картвелов еще в эпоху грузинско-занского языкового единства. Вместе с тем его неискожные элементы показательны как аргумент в пользу гипотезы о древнейших ареальных контактах картвельских и индоевропейских языков где-то к югу от картвельской языковой области. Интересно, что, подобно подавляющему большинству других древних индоевропеизмов, эти элементы не могут восходить ни к анатолийскому, ни к армянскому источнику. Во всяком случае их фонетический облик заставляет искать их антецеденты в других ветвях. Так, например, картвельские формы с семантикой "подскакать лозу" и "бурдюк" ввиду отражения в них специфического сдвига в вокализме, равно как и по некоторым другим признакам тяготеют к источнику текста древнеиндийского (наличие примерно полутора десятков других подобных параллелизмов делает изучение этого материала одним из конкретных направлений дальнейшего поиска в исследовании проблемы древнейшего взаимодействия обеих лингвистических семей [ср. 22]).

В заключение целесообразно затронуть вопрос о хронологии армянских заимствований в картвельских языках в общем плане. Факт наличия в них немалого числа арменизмов или лексем, усвоенных через посредство армянского, стал очевидным уже после известных работ Н.Я. Марра в области армяно-грузинского языкового взаимодействия. Достаточно ощутимы они и в затронутой здесь семантической сфере, что в свою очередь подтверждает факт многообразия источников, участвовавших в формировании терминологической системы виноградарства и виноделия в рассматриваемых языках. Вместе с тем о глубокой древности этих заимствований едва ли возможно говорить, поскольку их хронология ненамного опережает рамки древнегрузинского состояния. Арменизмы не засвидетельствованы сравнительной грамматикой картвельских языков не только для общекартвельского уровня, но и, по всей вероятности, для существенно более позднего грузино-занского, что согласуется с общепринятой в науке датировкой распространения армяноязычного ареала в Закавказье (с VI века до н.э.). В соответствии с такими представлениями оказывается и то обстоятельство, что армянские картвелизмы, как правило, несут на себе несомненную печать фонетической эволюции, переживавшейся уже исторически засвидетельствованными картвельскими языками. В последнем отношении особенно показательным представляется тот факт, что так называемые доисторические заимствования армянского (т.е. заимствования из занской ветви картвельских языков, в течение исторической эпохи уже нигде не соприкасавшейся с армяноязычным ареалом) обнаруживают завершенность целой совокупности фонетических процессов, определивших специфику материала мегрельского и лазского языков: ср. арм. *k̄č̄iç-/ / k̄č̄iç̄* "горшок" при мегр. *ç̄kuž-* (< груз.-зан. **çur-*), арм. *çanç / çanž* "муха" при мегр. *çanž* (< картв. **mçer-*), арм. *çənšel* "давить" при мегр. *çinax- / çənah-* (< груз.-зан. **ç₁nex-*) и т.п.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асатиани Л.Ш. Лексика виноградарства в грузинском языке: материалы. Тбилиси, 1978 (на груз. яз.).
2. Чикобава А.С. Об одной древней общей основе в термине виноградарства в иберийско-кавказских языках // Иберийско-кавказское языкознание. Тбилиси, 1954. Т. 4.
3. Лисицина Г.И., Прищепенко Л.В. Палеоэтноботанические находки Кавказа и Ближнего Востока. М., 1977.
4. Джавахишвили И.А. Экономическая история Грузии. Т. 1. Тбилиси, 1930 (на груз. яз.).
5. Бардивелидзе В.В. По этапам развития древнейших религиозных верований и обрядовое искусство грузинских племен. Тбилиси, 1957.
6. Lafon R. Mots "méditerranéens" en géorgien (et dans quelques autres langues caucasiennes) // Revue des Etudes Anciennes. 1934. Т. 36.
7. Deeters G. (Ред. на кн.). Die Indogermanen und Germanenfrage: Neue Wege zu ihrer Lösung. Leipzig. 1936 // Indogermanische Forschungen. 1938. Bd. 56, H. 2.
8. Vogt H. Arménien et caucasique du Sud // Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. 1938. Bd. 9.
9. Климов Г.А. Рефлекс индоевропейского ларингального в картвельских языках? // ВЯ, 1989, № 6.

10. *Tsereteli M.* Das Sumerische und das Georgische // *Bedi Kartlisa: Revue de Karthvéologie.* 1959. N 32–33 (N.S. VI–VII).
11. *Чикобава А.С.* Чанско-метрельско-грузинский сравнительный словарь. Тбилиси, 1938 (на груз.яз.).
12. *Капанцян Г.А.* Историко-лингвистические работы. Ереван, 1975. Т. 2.
13. *Чикобава А.С.* Древнейшая структура именных основ в картвельских языках. Тбилиси, 1942 (на груз. яз.).
14. *Сарджвеладзе Э.А.* Картвельские этимологии // *Историческая лингвистика и типология.* М., 1992.
15. *Георгиев В.* Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. М., 1938.
16. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984. Т. 2.
17. *Джавахишвили И.А.* Экономическая история Грузии. Тбилиси, 1935. Т. 3 (на груз. яз.).
18. *Орбелиани Сулхан Саба.* Сочинения. Тбилиси, 1966. Т. 4, ч. 2 (на груз. яз.).
19. *Vogi N.* Les suffixes verbaux du géorgien ancien // *Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskab.* 1947. Bd. 14.
20. *Эртелишвили Ф.Г.* Вопросы фонематической структуры и истории глагольных основ в грузинском языке. Тбилиси, 1970 (на груз. яз.).
21. *Меликишвили И.Г.* Общекартвельская сибилитная система с точки зрения функциональной типологии // Вопросы современного общего языкознания. V. Тбилиси, 1980 (на груз. яз.).
22. *Климов Г.А.* Еще одно свидетельство пребывания арийцев в Передней Азии // *ВЯ,* 1993. № 4.

© 1994 г. Т.Е. ЯНКО

КОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В РЕЧИ: КОММУНИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА РУССКИХ ИНТРОДУКТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ*

Одним из когнитивных методов анализа текста служит исследование коммуникативной структуры предложения и его функционирования в художественном или публицистическом тексте. Ниже будут рассмотрены коммуникативные структуры предложений, открывающих текст или новый фрагмент текста, где вводится в рассмотрение новый объект.

Поводом обратиться к коммуникативной структуре предложений, в которых вводится в рассмотрение новый объект, послужила необычная линейно-акцентная структура в таких примерах, как: *Вальдшнеп со стуком поднялся из-за куста* (Тургенев); *Томительная теплота потрясла основы моей души* (Бабель); *Новый тип офтальмоскопа разработали недавно югославские врачи* (Из газет). Эти предложения принадлежат письменной художественной или публицистической речи и при ее озвучивании читаются с ударением на препозитивном имени. От нейтральных эти предложения отличает инвертированный порядок слов и ударное начало: нейтральные предложения имеют фразовое ударение на конце. А нейтральным порядком слов здесь был бы следующий: *Из-за куста со стуком поднялся вальдшнеп; Основы моей души потрясла томительная теплота; Югославские врачи разработали недавно новый тип офтальмоскопа.*

Наша гипотеза состоит в том, что нестандартная линейно-акцентная структура служит выразителем особой коммуникативной стратегии, присущей стилю некоторых писателей, а также широко используемой в средствах массовой коммуникации. Выбор особой стратегии объясняется тем, что в рассматриваемых предложениях сообщается о некоем важном с точки зрения развития сюжета событии – появлении нового значительного объекта. Именная группа, обозначающая этот объект, вынесена в начало и ударна.

Были исследованы коммуникативные парадигмы (классы предложений с одинаковой лексико-синтаксической, но различной линейно-акцентной структурой), в которые входят рассматриваемые примеры. Попутно выяснилось, что соответствующие коммуникативные парадигмы содержат еще один тип предложений, реализующих другую стратегию введения в рассмотрение нового объекта. Этот тип характеризуется инверсией, но начало в этом случае не обязательно ударное: *... круглые башни выросли из рва... голубая ступень блестела в кустарнике* (Бабель). При анализе интродуктивных стратегий мы пользуемся теми терминами описания коммуникативного членения, которые предложил В. Матезиус. Это тема – то, о чем говорится в предложении, и рема – то, что сообщается о теме. Так, в предложении *В нашем городе много примечательного* именная группа *в нашем городе* – тема, а *много примечательного* – это рема. Исследование проводилось на материале русского языка и лишь в некоторых случаях мы приводим английские аналогии. Типологическая

* Настоящая работа выполнена в рамках исследовательского проекта "Язык и знания. Когнитивные исследования" (руководитель акад. Ю.С. Степанов), финансируемого Институтом языкознания РАН и Российским фондом фундаментальных исследований.

значимость результатов анализа состоит в том, что доказывается возможность сосуществования в одном простом предложении двух рем – начальной и конечной.

В работе И.И. Ковтуновой [1] предлагается трактовка коммуникативной структуры для одного типа предложений, при которой в предложении выделяются следующие компоненты: тема-новое и рема. Исследуемый И.И. Ковтуновой тип предложений принадлежит художественному тексту и отличается особым лаконизмом и динамичностью, возникающими, по мнению автора, в результате того, что в них спаяно воедино два сообщения. Так, пример из Л. Толстого *Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции* – "...заключает в себе по существу два сообщения: 1) Была страшная буря; и 2) Эта буря рвалась и свистела..." [1, с. 264].

Анализ, проведенный И.И. Ковтуновой, согласно которому "...темой служит состав подлежащего, а ремой – состав сказуемого..." [1, с. 263], представляется не во всех разобранных примерах оправданным, поскольку группа подлежащего, которая признается темой, несет на себе главное ("рематическое") фразовое ударение. Рематическое ударение на подлежащем *буря* характеризует предложение (1), а также ряд других предложений из [1]. Главное фразовое ударение (двойной выделительный акцент) мы обозначаем знаком ||. Кроме того, в предложениях рассматриваемого типа имеется вторичное (более слабое, чем главное) фразовое ударение на конечных группах сказуемого или обстоятельства; вторичное фразовое ударение представляет собой выделительный акцент и обозначается |. Примеры:

(2) *(Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева). Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу* (Пушкин); (3) *Вдруг странный, чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса* (Л. Толстой); (4) *Вдруг раздалась духовая музыка и шестивесельная лодка причалила к самой беседке* (Пушкин). Возможность реализации предложений (1)–(4) с восходящим, "тематическим", ударением (Г – интонацией незавершенности) на выделенных словах или отсутствием движения тона на них (что характерно для темы в быстрой речи) нельзя отрицать полностью; однако двойному выделительному акценту отдается явное предпочтение.

Неудивительно, что в работах [2–4] группа подлежащего в предложениях с аналогичной коммуникативной структурой считается не темой, а ремой. При изложении точки зрения И.И. Ковтуновой следует, однако, сделать следующую оговорку. Наряду с предложениями, в которых препозитивная группа подлежащего считается темой-новым, И.И. Ковтунова выделяет отдельную группу "... экспрессивных высказываний с сильным интонационным выделением подлежащего (с фразовым ударением на подлежащем или на последнем слове группы подлежащего)":

(5) *(Я поднял голову.) и горький ветер обдул воспаленное лицо* [1, с. 273–274]. При сравнении предложения (5), например, с предложением (4), оказывается, однако, что они имеют одну и ту же линейно-акцентную структуру, которая определяется главным ударением на препозитивном подлежащем и вторичным ударением на постпозитивной группе сказуемого, одинаковую синтаксическую структуру, а также одинаковую информационную структуру, а именно, подлежащее обозначает новое, а дополнение или обстоятельство старое. Следовательно, можно предположить, что у двух разделенных в [1] групп предложений один тип коммуникативной структуры.

Кроме того, по мнению П. Адамца [3, с. 73], в предложениях типа (5) "...степень экспрессивности может быть и не очень высокой...". П. Адамец приводит следующие примеры: (6) *Теплая радость захлестнула сердце Алексея;* (7) *Безразличие оковало Григория.*

Итак, наиболее существенными чертами в плане выражения коммуникативной структуры у рассматриваемых предложений мы считаем следующие: возможность произнесения с двойным выделительным акцентом на препозитивной именной группе и обратный порядок слов. О последнем поясним, что нейтральным порядком слов для

рассмотренных предложений (1)–(7) был бы следующий (распространяющие члены мы опускаем): *По столбам из-за угла станции свистела страшная буря; Ей навстречу побежала белая собачка; На опушке леса разнесся странный звук; К беседе причалила лодка; Воспаленное лицо обдул ветер; Сердце Алексея захлестнула радость; Григория оковало безразличие.* Кроме того, для предложений (1)–(7) характерна неопределенность препозитивной именной группы.

Таким образом, в плане полемики с [1] мы попытаемся показать, что предложения (1)–(4) и предложение (5) имеют одну и ту же коммуникативную структуру и что эта коммуникативная структура не принадлежит к типу "тема-новое – рема" и к экспрессивному типу. Кроме того, мы попытаемся ответить и на следующие вопросы. 1. Каково место исследуемой коммуникативной структуры в коммуникативной парадигме предложений с заданной лексико-синтаксической структурой (о коммуникативной парадигме см. [5, с. 596–610; 6–7]). 2. Какова семантика предложений, допускающих данную коммуникативную структуру? 3. Какие синтаксические структуры допускают данную коммуникативную структуру? 4. Какой вклад в семантику предложения вносит рассматриваемая коммуникативная структура по сравнению с нейтральной? В результате решения этих задач мы сможем ответить и на более частные вопросы. 5. Почему при некоторых условиях двойной выделительный акцент, который служит показателем ремы, и интонация незавершенности, маркирующая тему, эквивалентны с семантической точки зрения: *Радость наполнила его душу – Радость наполнила его душу?* 6. В каких случаях выделительный акцент, в предложениях с рассматриваемой линейно-синтаксической структурой невозможен, по крайней мере, при условии сохранения тех особых семантических свойств, которыми обладают предложения (1)–(5)? 7. Какова функция рассматриваемой коммуникативной структуры в художественном тексте?

1. КОММУНИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА С ВТОРИЧНОЙ РЕМОЙ

Мы рассмотрим коммуникативные структуры, которые обычно различаются для линейно-синтаксической структуры "группа подлежащего – группа сказуемого", и покажем, что ни одна из них для предложений (1)–(7) не подходит. Тем самым будет обоснована необходимость введения особого типа коммуникативной структуры. Рассмотрим предложение (8), которое в синтаксическом отношении устроено более просто, чем предложение (1), но реализует ту же коммуникативную структуру.

(8) *Ариша мелькнула в окне и исчезла* (Окуджава)

1. Как мы уже показали на примере (1), данному типу предложений нельзя приписать коммуникативную структуру

$$[]_T []_R,$$

где T – тема, а R – рема, т.к. компонент, претендующий на роль темы, несет на себе двойной выделительный акцент, т.е. ударение, характеризующее рему.

2. Предложения (1)–(8) нельзя отнести к коммуникативно нерасчлененному типу $[]_R$ хотя бы потому, что в них два выделительных акцента – один, двойной, на группе подлежащего, и другой – на группе сказуемого (в примере (8) – это слова *Ариша* и *исчезла*), тогда как в нерасчлененных предложениях должен быть один выделительный акцент. Кроме того, препозиция подлежащего должна придавать нерасчлененному предложению экспрессивное звучание – нейтральная коммуникативно нерасчлененная структура имеет один выделительный акцент на постпозитивной группе подлежащего:

(9) *В окне мелькнула и исчезла Ариша.* Между тем экспрессивность у таких предложений отсутствует.

3. Предложения (1)–(8) не принадлежат также и к типу $[]_{R1} []_{T} []_{R2}$ с дислокацией сложной ремы (см. [7, с. 122]), в котором R1 и R2 не независимые ремы, а представ-

ляют собой части атрибутивной группы, являющейся единой ремой. Предложения с дислокацией сложной ремы строятся по следующему образцу. «В предложениях, построенных по схеме "сказуемое – подлежащее"... или "детерминант – сказуемое – подлежащее" с группой подлежащего, представляющей собой атрибутивное словосочетание, прилагательное извлекается из состава группы подлежащего и ставится перед сказуемым, а имя существительное остается после сказуемого на последнем месте в предложении» [7, с. 122]. Примеры:

(10) *Ранний перепадал снежок* (Шолохов); *Сильная крутила метель* (Сейфулина).

Предложения с дислокацией сложной ремы являются стилистическими вариантами нерасчлененных предложений и имеют рамочную акцентную структуру с ударением на прилагательном и существительном. Признаком, позволяющим заключить, что коммуникативная структура предложений (1)–(8) не относится к типу с дислокацией сложной ремы, служит синтаксическая независимость ударных слов в предложениях (1)–(8).

4. Предложения (1)–(8) не относятся к типу $[]_T []_{R1} []_{R2}$ с двумя или более последовательно расположенными ремами, которые относятся к одной теме (о двух ремах см. [6, с. 27]); ср. предложение с такой структурой из [6]:

(11) *Дело происходило || не так давно || в Московском городском суде*

Ясно, что группы *Ариша* и *мелькнула в окне* и *исчезла* в примере (8) нельзя рассматривать как две соподчиненные ремы, хотя бы потому, что в предложении нет темы, к которой они могли бы относиться.

5. Не относятся рассматриваемые предложения и к коммуникативной структуре с контрастной ремой, хотя и совпадают с ней в части реализации. Отличие состоит в том, что в предложениях (1)–(8) у ударного слова нет противочлена, который имеется, например, в предложении (13), действительно содержащем контрастную рему *Ариша*:

(13) *Ариша мелькнула в окне, (а не Софья Александровна).*

6. Отсутствие соответствующего контекста не позволяет интерпретировать исследуемые предложения как имеющие неингерентную тему (о предложениях с неингерентной темой см. [8–9]). Предложения с неингерентной темой связаны с контекстом причинными, атрибутивными и другими отношениями:

(14) *(В дом он не пошел:) Ариша в окне мелькнула.* Между тем предложения (1)–(8) не имеют обязательной смысловой связи с предшествующим контекстом. Добавим также, что интонационные центры в предложениях с неингерентной темой и в исследуемых предложениях совпадают не всегда даже при условии совпадения лексико-синтаксических структур, ср., например, предложение (5) и предложение (15). Последнее характеризуется неингерентной темой, которая выражена ударностью дополнения *лицо*, в то время как в предложении (5) главное фразовое ударение – на подлежащем:

(15) *(Он поморщился и отвернулся.) Ветер лицо обдул.*

Итак, мы рассмотрели шесть типов коммуникативных структур, допустимых для предложений с линейно-синтаксической структурой "группа подлежащего – группа сказуемого", и показали, что для предложений (1)–(8) не подходит ни один из них. Это дает нам основание выделить особый тип коммуникативной структуры. Будем называть его суперпозицией ремы – $[[]_{R1}]_{R2}$. Назовем в предложении типа (1)–(8) компонент, выраженный группой подлежащего, главной ремой, потому что подлежащее несет на себе главное фразовое ударение, а компонент, выраженный группой сказуемого, – вторичной ремой. Семантическая интерпретация данной структуры основывается на соображении, высказанном И.И. Ковтуновой и состоящем в том, что предложение (1) включает в себе два сообщения: главная рема соотносится с сообщением 1) Была страшная буря, а вторичная рема – с сообщением 2) Эта буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции.

Результатом суперпозиции ремы является сжатое высказывание, "... заключающее в себе по меньшей мере два сообщения. Смысл первого сообщения – в утверждении существования или возникновения какого-нибудь явления, второе содержит дальней-

шую характеристику этого явления" [1, с. 265]. Данный отрывок содержит по существу семантическую интерпретацию предложений с суперпозицией ремы. Подобную семантическую структуру можно усматривать и в предложениях без суперпозиции ремы, где те же значения выражаются другими средствами. Суперпозиция ремы накладывает на предложения описываемой семантики и усиливает (дублирует) их значение подобно тому, как, скажем, союз *но*, имеющий значение противоречия, может связывать два предложения, противоречивые сами по себе.

Сказанное И.И. Ковтуновой о "сжатых" предложениях близко анализу бытийных предложений, который дает Н.Д. Арутюнова в книге [10, с. 53–55]. В [10] указывается, что «рема бытийных предложений "двойственна": она содержит в себе бытийное и таксономическое значение. Предложение сообщает одновременно и о существовании или отсутствии предметов в той или другой области, и об их вхождении в определенный разряд...»:

(16) В этом краю ¹ есть реки и ² озера.

В дальнейшем для обозначения двух выделенных в предложениях (1)–(8) семантических компонентов мы будем использовать следующие термины. Первый компонент значения (в предложении (1) это *Была страшная буря*) будем называть бытийным, а второй (в предложении (1) это *Эта буря рвалась и свистела...*) – характеризующим. Бытийные предложения, анализируемые Н.Д. Арутюновой, не характеризуются суперпозицией ремы в том смысле, в каком мы вводим это понятие, т.к. в нейтральных бытийных предложениях нет линейно-акцентных средств, выделяющих главную и вторичную рему и разделяющих бытийное и характеризующее значение на уровне коммуникативной структуры. В бытийном предложении *Была страшная буря*, которое соответствует первому компоненту значения предложения (1), интонационным и коммуникативным центром служит группа подлежащего. Она располагается при нейтральном типе коммуникативной структуры в конце предложения. Десемантизованное и безударное сказуемое играет по отношению к подлежащему подчиненную роль и коммуникативно незначимо. При суперпозиции ремы возникает семантически и коммуникативно полноценная рема. Она выражается группой сказуемого и соответствует сообщению 2) *Эта буря рвалась и свистела...*. Эта рема вытесняет главную рему (вернее, ее релевантную часть) с конечной позиции. Однако ударность подлежащего – конституирующее свойство ремы – при перемещении в начало предложения сохраняется. Элементы актуального членения – темы и ремы – это всегда линейные отрезки высказывания, куски текста. Рассмотрим предложение (17), более короткое, чем (1), и разделим его на фрагменты, соответствующие выделяемым элементам коммуникативной структуры, – главную и вторичную рему:

(17) Новый тип офтальмоскопа разработали недавно югославские врачи

главная рема

вторичная рема

Этим фрагментам соответствуют два сообщения – бытийное (*Разработан новый тип офтальмоскопа*) и характеризующее (*Его разработали югославские врачи*).

Наличие темы для предложений с суперпозицией ремы, вообще говоря, нехарактерно, но она тоже может быть:

(18) И тут огромная рыбина поднялась из моря белым брюхом вверх

тема

главная рема

вторичная рема

Таким образом, возникает новая коммуникативно и семантически "двойственная" структура с двумя фразовыми ударениями. Как уже говорилось, семантическая двой-

ственность может быть выражена не только суперпозицией ремы. Так, еще в 1939 г. В. Матезиус выявил глубинную структуру предложений с неопределенным препозитивным подлежащим при непереходном глаголе как результат компрессии. Предложение *Утка плавала по реке* выводится из *Была утка. Однажды она плавала по реке*. П. Рестан [11], рассматривая вопросы "сжатия" двух сообщений в одно, не обсуждает особенностей интонационного контура предложения *Утка плавала по реке*. Между тем в нем, как и в предложениях (1)–(8), возможно два типа ударения на слове *утка* – это двойной выделительный акцент и интонация незавершенности. В случае интонации незавершенности мы наблюдаем лишь семантическую компрессию, т.к. употребление имени неопределенного объекта в роли темы предполагает его существование. Это значение в рассматриваемом примере и соответствует первому из "сжатых" компонентов – *Была утка*. Итак, наличие двух утверждений в коммуникативной структуре не выражается. В случае же двойного выделительного акцента на подлежащем *утка* вычлениение двух семантических компонентов выражается не только семантическими средствами, но и поддержано коммуникативной структурой. В дальнейшем сходства и различия предложений с интонацией незавершенности и двойным выделительным акцентом на препозитивном имени будут рассмотрены более подробно.

В одной из московских телепередач ведущий обсуждал новый "Закон о банкротстве". Имея в виду, что в нашей стране опыт частного предпринимательства весьма невелик, он решил обратиться за помощью к американскому коллеге. Пока американца еще не было в кадре, ведущий сделал представляющий жест рукой в ту сторону, откуда должен был появиться американский юрист, и произнес буквально следующее: *Судья Сидни Брук много знает об этом*. В этом высказывании с двумя выделительными акцентами заключено два сообщения: интродуктивное – *Вот судья Сидни Брук*; и характеризующее – *Он много знает об этом*. Здесь можно говорить об интродуктивной стратегии в первом значении слова "интродукция", когда говорящий представляет аудитории незнакомца и при этом указывает на него рукой, делая дейктический жест.

2. МЕСТО КОММУНИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ С СУПЕРПОЗИЦИЕЙ РЕМЫ В КОММУНИКАТИВНОЙ ПАРАДИГМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ В ЗНАЧЕНИИ БЫТИЙНЫЙ И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТЫ

Анализ коммуникативной структуры с суперпозицией ремы требует решения следующих задач (по [6]): 1) определения нейтральных (исходных) членов коммуникативных парадигм, в которые входят предложения с суперпозицией ремы; 2) описания линейно-акцентных преобразований, которые имеют место при переходе от исходной структуры к исследуемому члену коммуникативной парадигмы; 3) установления того вклада, который вносит в семантическую структуру предложения изменение коммуникативной структуры.

Кроме структуры с вторичной ремой, мы рассмотрим другой член коммуникативной парадигмы, семантически родственной структуре с вторичной ремой. Это коммуникативная структура $\{ \]_T [\]_R$, которая получается из исходной путем смены местами и типами ударений именных групп, составляющих тему и ремы. При этом тема исходного становится ремой результирующего, а рема – темой последнего: *В соседнем лесу скопилось шестая дивизия – Шестая дивизия скопилось в соседнем лесу* (Бабель).

Как было показано в предыдущем разделе, предложения с суперпозицией ремы содержат в своем значении бытийный и характеризующий компоненты. Поэтому суперпозиция ремы в принципе возможна и в бытийных предложениях, и в предложениях характеристики. Однако необходимо, чтобы бытийное значение содержало в своем значении также и элемент характеристики, а предложение характеристики – бытийный компонент.

2.1. Коммуникативная парадигма бытийных предложений

При нейтральной коммуникативной структуре в бытийном предложении темаданное – это локализатор, а рема – бытийный глагол в совокупности с именем бытующего предмета:

(19) *В этом краю есть леса* [10, с. 53]; *В окне мелькнула Ариша*.

Когда к бытийному предложению применяется линейно-акцентное преобразование "суперпозиция ремы" происходит актуализация сразу двух компонентов – бытующего предмета и локализатора. Формальная сторона этого преобразования состоит в следующем. Имя бытующего предмета перемещается на начальное место в предложении и получает двойной выделительный акцент. Локализатор – приобретает выделительный акцент и помещается на последнее место. Рассмотрим примеры из рассказов И. Бабеля, изобилующих предложениями с суперпозицией ремы:

(20) *Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня.*

(21) *На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир*. Женщина сидит у его ног;

(22) *Мы пришли на кухню, и Рубцова поставила меня под кран*. Гусь жарился на кафельной плите...;

(23) *Пышная звезда блеснула у него на груди*.

Вклад данного преобразования в семантическую структуру предложения состоит 1) в расчленении бытийного и характеризующего значения и 2) в усилении значения существования/появления на сцене бытующего предмета. Какое именно значение усиливается – существования или появления на сцене – зависит от значения глагола. Для глаголов несовершенного вида – прыгали (пример (20)), сидит (пример (21)) и жарился (22) – это значение существования, а для глагола совершенного вида блеснула (23) – это значение появления в поле зрения рассказчика. Не следует, однако, думать, что значение существования/появления на сцене полностью определяется видом глагола. Так, глагол совершенного вида ушел не может иметь значения появления на сцене, а глагол несовершенного вида отсутствует – значение бытования.

Итак, в предложениях с суперпозицией ремы коммуникативная и семантическая структура тесно связаны, а именно: коммуникативная структура вносит, по сравнению с нейтральной, существенный вклад в семантическую структуру – это дополнительное значение появления на сцене нового значительного предмета или его существования.

Значение неожиданности появления выражается не коммуникативными, а лексическими средствами – словами *вдруг, внезапно, только что, как только*, глаголами мгновенного подвиды – суперпозиция ремы только подчеркивает это значение, ср. примеры из [6, с. 28]:

(24) *Только что я вошел в опушку, вальдинец со стуком поднялся из-за куста* (Тургенев);

(25) *Боб... выбежал из дома и в зубах за рубашку нес девочку* (Л. Толстой);

(26) *В нескольких шагах от меня раздался крик: испуганное лицо молодой девушки выглянуло из-за деревьев* (Тургенев).

В работе [2], посвященной коммуникативной структуре предложений существования/появления на сцене, Я. Фирбас указывает, что сцена (локализатор) может быть выражена не только обстоятельством, но и дополнением (27); англ. *A cold blue light filled the window panes* (Mansfield); англ. *A dumb and grumbling anger swelled his bosom* (Galsworthy).

Здесь следует уточнить употребление терминов, заимствованных нами из анализа бытийных предложений Н.Д. Арутюновой [10], и анализа предложений существования/появления на сцене, проведенного Я. Фирбасом [2]. Бытийные предложения (положительные, т.е. не содержащие отрицания) представляют собой частный случай предложений существования/появления на сцене. Однако, рассматривая на самом деле

предложения существования/появления на сцене, мы употребляем более узкую терминологию, разработанную для описания бытийных предложений. Так, бытийный компонент в значении предложения мы понимаем расширительно – как значение существования/появления на сцене. При этом отрицательные бытийные предложения, сообщающие об отсутствии предметов в некоторой области бытия, мы пока не рассматриваем, т.к. они лишены значения существования/появления на сцене и, как можно предположить, не реализуют коммуникативной структуры с вторичной ремой. Впоследствии, правда, будет показано, что в предложениях с бытованием события встречаются глаголы и небытийной семантики. Кроме того, значение существования может быть компонентом значения именной группы, называющей бытующий предмет. Приведем предложения с локализатором, который выражен дополнением. Эти предложения тоже попадают в круг рассмотрения, не являясь в строгом смысле бытийными:

(28) *Предвестие истины коснулось меня* (Бабель);

(29) *Предвестие тайны коснулось меня* (Бабель);

(30) *Детская боязливая радость овладела ими* (Бабель);

(31) *Томительная теплота потрясла основы моей души* (Бабель).

Другое линейно-акцентное преобразование, которое можно применить к бытийным предложениям, – это тематизация бытующего предмета. При тематизации имя бытующего предмета и локализатор меняются местами и типом ударения: подлежащее становится темой, а локализатор – ремой предложения:

(32) *Ариша мелькнула в окне; Утка плавала по реке.*

Шестая дивизия скопилась в соседнем лесу

Семантический эффект тематизации бытующего предмета в общем случае совпадает с семантическим эффектом суперпозиции ремы с той небольшой разницей, что суперпозиция ремы производит более сильное впечатление, останавливая внимание слушающего на факте существования или появления на сцене бытующего предмета, имя которого получает главное фразовое ударение и выносится в препозицию. Предложения с тематизацией бытующего предмета уподобляются нейтральному типу предложений характеристики, ср. предложения (32), которые являются результатом тематизации бытующего предмета и предложение (33), которое представляет собой предложение характеристик нейтрального типа:

(33) *Ариша связала рукавички.*

Тематизацию бытующего предмета можно рассматривать как перевод бытийного предложения в предложение характеристики, так как главное фразовое ударение получает компонент предложения, имеющий характеризующее значение.

Мы рассмотрели два линейно-акцентных преобразования, которым подвергаются бытийные предложения, и определили место коммуникативной структуры с суперпозицией ремы в коммуникативной парадигме бытийных предложений. О других преобразованиях коммуникативной структуры бытийных предложений см. [10, с. 53 и сл.]; о преобразованиях коммуникативных структур вообще, которые могут, в частности, подвергаться и бытийные предложения, см. [6, с. 27–30].

2.2. Коммуникативная парадигма предложений характеристики

Рассмотрим теперь место предложений с вторичной ремой в коммуникативной парадигме предложений характеристики. И.И. Ковтунова выделяет несколько нейтральных типов коммуникативной структуры предложений характеристики, рассматривая, однако, не собственно предложения характеристики, а предложения с синтаксической структурой, которая определяется тем, что их группа сказуемого выражена глагольным сочетанием с зависимой словоформой. Предложения такого синтаксического типа – не единственный, но наиболее распространенный тип предложений характеристики. Часть предложений такой синтаксической структуры

нами уже рассмотрена – это предложения существования/появления на сцене, где сцена (локализатор) выражена дополнением.

Для суперпозиции ремы в предложениях характеристики существенно, что применимость этого линейно-акцентного преобразования и его результаты зависят от того, какой член синтаксической структуры выражает бытующий предмет – подлежащее или дополнение. При суперпозиции ремы именно он получает главное фразовое ударение и продвигается в препозицию. Итак, поскольку применимость суперпозиции ремы определяется наличием в семантической структуре предложения бытийного компонента, мы отвлечемся от типов коммуникативных парадигм, выделяемых в [7], и рассмотрим способы выражения бытийного значения в предложениях характеристики, так как именно это в конечном счете определяет способность членов синтаксической структуры выражать коммуникативную структуру с суперпозицией ремы.

Значение бытующего или возникающего предмета может быть выражено двумя способами. Во-первых, это может быть неопределенность одного из участников обозначаемой предложением ситуации. Неопределенность может выражаться лексемами *какой-то, новый, внезапный* и др., указывающими на бытование или появление на сцене:

(34) *Какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом* (Вертинский).

Кроме того, значение существования может содержаться в семантической структуре глагола, подчиняющего соответствующую именную группу. Так, при глаголах *создавать, разрабатывать, приобретать, открывать* и др. значение бытующего предмета имеет дополнение и при суперпозиции ремы именно оно становится главной ремой:

(35) *Говорящего попугая приобрел на Птичьем рынке А.В. Порошков;*

(36) *Новый тип офтальмоскопа разработали недавно югославские врачи.*

При глаголах *создаваться, разрабатываться, вариться, приезжать, высказывать* и др. бытующий предмет выражается подлежащим: (37) *Метропоезд из облегченных поездов создан бельгийской фирмой "Скурвегматериел эн металконструктиес".*

Итак, при суперпозиции ремы в предложениях характеристики происходят следующие линейно-акцентные преобразования: имя бытующего и характеризуемого предмета, которое при нейтральной коммуникативной структуре может располагаться в конце предложения, приобретает двойной выделительный акцент и продвигается в препозицию, а именная группа, которая соответствует характеризующему компоненту значения предложения, помещается в конце и выделяется вторичным фразовым ударением. Значит предложение *Утка плавала по реке* – это результат суперпозиции ремы, примененной к нейтральному предложению *По реке плавали утка*, предложение (36) – результат суперпозиции ремы в применении к предложению *Югославские врачи разработали недавно новый тип офтальмоскопа*, а предложение *Томительная теплота потрясла основы моей души* – результат суперпозиции ремы в предложении *Основы моей души потрясла томительная теплота*.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВЫРОЖДЕННЫМ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ КОМПОНЕНТОМ

В предложениях с суперпозицией ремы характеризующий компонент может быть ослаблен и с семантической, и с интонационной точки зрения. Интонационное ослабление выражается в безударности конца предложения, а семантическое – в том, что характеризующий компонент как бы дублирует бытийный. Такое дублирование происходит в том случае, когда компонент характеристики выражен сказуемым, близким по значению бытийному глаголу и не имеет зависимых членов. Если в предложении (1) и, скажем, (8) характеризующий компонент выражен однородными сказуемыми и имеет, таким образом, полноценное семантическое и интонационное исполнение за счет второго сказуемого, утяжеляющего характеризующую часть, то в предложении

(38) *Грачи^{||} прилетели*

два соответствующих ему сообщения – бытийное 1) *Появились грачи* и – характеризующее – 2) *Они прилетели* – близки по значению, что нейтрализует вторичную ремю. От суперпозиции ремы остается лишь инверсия и дополнительное подчеркивание значения появления грачей. Дополнительное бытийное значение, достигаемое в предложениях с ударным препозитивным подлежащим и сказуемым со значением существования/появления на сцене, придает живость изображаемому, сообщает впечатление развертывания картины перед глазами.

Линейно-акцентная структура предложений с вырожденной ремой может давать совпадения с экспрессивными предложениями, такими как (39) (см. [7, с. 154]):

(39) *Вот и лето настало* (Пришвин).

Значит предложение (38) может быть интерпретировано двояко – как нерасчлененное экспрессивное предложение и как предложение с вторичной ремой. С формальной точки зрения оно могло бы интерпретироваться и как структура с контрастным выделением или с неинтересной темой, но эти два последних типа коммуникативных структур требуют специфического контекста. Итак, в предложениях типа (38), считавшихся ранее экспрессивными вариантами нерасчлененных предложений, препозиция ударного подлежащего служит зачастую не выражением эмфазы, а подчеркиванием значения существования/появления на сцене, что придает соответствующему событию особую значимость.

Семантическая весомость конечной группы предложения с вторичной ремой определяется степенью ее распространенности: чем более удален и семантически независим от начала конечный компонент предложения, тем сильнее падающее на него вторичное ударение. Таким образом, степень вырожденности вторичной ремы образует шкалу, значения которой убывают от предложений с распространенным характеризующим компонентом (в частности, от предложений с однородными сказуемыми) через предложения с зависимой от глагола словоформой-местоимением до предложений с бытийным глаголом, не имеющим зависимых членов.

4. ИНТРОДУКЦИЯ СОБЫТИЯ

В предыдущих разделах было показано, что суперпозиция ремы возникает в предложениях, содержащих в своем значении бытийный компонент. Это значение, которое мы определили как существование или появление на сцене некоего важного, существенного с точки зрения говорящего предмета, может проявляться в новизне, неизвестности, неопределенности или просто в отсутствии определенности этого предмета и/или входить в значение соответствующего сказуемого.

В обзоре Ю.С. Мартемьянова [12, с. 68–69] рассматриваются примеры (они, в свою очередь, взяты из работ Э.И. Королева), где в ряду предложений, целиком соответствующих уже описанной нами коммуникативной структуре с суперпозицией ремы (40) и (41) имеется предложение (42), не согласующееся с нашей интерпретацией. Оно не содержит бытующего предмета в том смысле, в котором мы ввели это понятие. Между тем нельзя не признать, что перед нами коммуникативная структура, обладающая некоторыми свойствами суперпозиции ремы. (Акцентная разметка в примерах (40)–(42) – наша. – Я Т)

(40) *Интересный метод обработки трансформаторов разработан в США.*

(41) *Новые волнения вспыхнули в этом году на улицах Бруклина*

(42) *Известный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк умер вчера в предместье Бонна*

Полемизируя с Э.И. Королевым, Ю.С. Мартемьянов усматривает здесь "... возможность совмещения в одном предложении нескольких высказываний с ремами разного порядка". Действительно в (40) и (41) имеется новый, неизвестный ранее объект и сказуемое со значением возникновения, т.е. перед нами чистый случай предложений появления на сцене, где бытующий предмет вынесен в препозицию и отмечен двойным выделительным акцентом. Характеризующий компонент в этих предложе-

ниях тоже достаточно весом – в нем событие появления на сцене характеризуется с точки зрения времени и места. Коммуникативная структура подчеркивает существенность происшедшего, ср. нейтральные предложения (40а) и (41): (40а) *В США разработан интересный метод обработки трансформаторов*; (41) *На улицах Бруклина в этом году вспыхнули новые волнения*.

Интуитивно очевидно, что коммуникативной структуре предложения (42), в котором нет ни нового и неопределенного бытующего предмета, а есть известный писатель Ремарк, ни глагола существования/появления на сцене, а есть глагол умер, может быть приписан тот же смысл, что и коммуникативной структуре с суперпозицией ремы, как и предложениям, рассмотренным ранее. Попытаемся эксплицировать этот смысл применительно к предложению (42):

Сообщение 1 – произошло значительное событие Е – умер Ремарк;

Сообщение 2 – это событие Е произошло вчера в предместье Бонна.

Итак, по аналогии с предложениями, в которых особыми коммуникативными средствами высвечивается бытующий предмет (т.е. ему придается особая значимость) и затем дается его характеристика, выделим класс предложений, где бытующим предметом служит событие. Функция коммуникативной структуры здесь заключается в том, чтобы указать на значительность происшедшего. Отсюда коммуникативная обособленность и акцентное выделение этого бытийного компонента особого рода. Здесь возникает вопрос о том, является ли двойной выделительный акцент в предложениях с суперпозицией ремы фразовым ударением, т.е. формирующим предложение, или он служит смысловому выделению одного слова, группа которого обозначает бытующий предмет, как это бывает при контрастном выделении или эмфазе (проблеме различения акцентных выделений и фразовых ударений посвящена книга Т.М. Николаевой [13]). Рассматриваемые типы ударений, безусловно, принадлежат к фразовым; другое дело, что линейно-акцентная структура, во всяком случае – в русском языке, в существенной степени иконична, поэтому довольно часто бывает так, что фразовые ударения действительно приходятся на важные для говорящего сегменты предложения. Сделаем небольшое отступление, чтобы пояснить последнее положение.

Напрашивается аналогия со словесным ударением, основная функция которого состоит в том, чтобы формировать отдельное фонетическое слово, но которое может в некоторых редких случаях служить выражению контраста, т.е. быть семантическим: *Он вышел, а не вошел*. При отсутствии же контраста ударный слог *вы-* в слове *вышел* ничем не значительнее безударного. Аналогично, фразовое ударение в предложении *Пришла весна* приходится на слово *весна*, что делает предложение фонетически завершенным и отдельным. Однако во фразе, в отличие от слова, то, что ударно, то и коммуникативно более весомо: ударная конечная группа играет роль развязки. И в этом смысле порядок слов иконичен – он отражает стратегию построения высказывания от исходной точки – темы – к финалу, максимуму коммуникативного динамизма, – реме.

Однако собственно стратегия построения высказывания в существенной степени канонизирована языком. Говорящий, безусловно, имеет выбор, когда строит различные высказывания с одинаковым денотативным содержанием в зависимости от своих коммуникативных намерений. Но существуют и такие показатели нейтральной стратегии построения предложения, как нейтральная коммуникативная структура, немаркированный залог и правила системного упорядочения, в соответствии с которыми в русском предложении на первом месте оказывается, скажем, подлежащее (если там есть также и дополнение), затем следует глагол, а за ним дополнение: *Мама мыла раму*. Это один из типов расстановки слов, существуют и другие. Так, бытийные предложения строятся по модели: "локализатор – глагол – имя бытующего предмета в роли подлежащего" или "глагол – имя бытующего предмета": *В этом краю есть леса; Пришла весна; Происходят перемены*. Максимальная коммуникативная нагрузка

ка здесь у слов *леса, весна и перемены* соответственно. Во фразе они коммуникативно более весомые, чем глагол с бытийным значением (начало, тему, мы сейчас не рассматриваем – ее место и акцентуация известны). Значит, и с формальной, и со смысловой точки зрения они должны попасть в выделенную – конечную и ударную – позицию.

Итак, словесное ударение несеманлично, играет формирующую роль, т.е. абсолютно формально, и практически не имеет альтернатив – его место в слове задано по определению – это часть плана выражения. Акцентное выделение при эмпазе и контрасте абсолютно семанлично: ударно то, что служит предметом противопоставления (*Ариша пришла, а не Софья Александровна*) или сильных чувств (*Двадцать крон я за нее отдала!; Даже Вася пришел; Какая гадость!*). Фразовое ударение имеет черты и того, и другого. С одной стороны, его выбор в предложении (т.е. выбор слова-носителя) формален, т.к. определяется структурной схемой предложения, а внутри нее актантной структурой предиката и градацией по известности/неизвестности (определенности/неопределенности). А с другой стороны, собственно выбор структурной схемы, предиката и диатезы определяется коммуникативными намерениями говорящего и свобода такого выбора достаточно велика. Поэтому в результате такого выбора носителем фразового ударения оказывается коммуникативно наиболее значимый компонент. Значит, фразовое ударение одновременно и формально, и семанлично.

В нейтральных предложениях носитель фразового ударения располагается в абсолютном конце, т.е. порядок слов и интонация в существенной степени дублируют друг друга. Если нейтральный порядок слов нарушен – например в разговорной речи – роль ударения повышается: оно отметит коммуникативный центр, даже и не в конечной позиции. В нейтральных распространенных предложениях с многоактантными предикатами роль порядка слов естественно повышается, так как актанты должны быть упорядочены в соответствии с нарастанием коммуникативного динамизма. В предложениях же с контрастом роль порядка слов для русского языка существенно снижается – слово с сильным акцентом (двойным выделительным против выделительного в нейтральном предложении) может находиться практически на любом месте: *Он звал Машу, а не Сашу; Машу он звал, а не Сашу; Он Машу звал, а не Сашу.*

Иначе говоря, может показаться, что в бытийных предложениях ударна та группа, которая обозначает бытующий предмет, т.е. что роль фразового ударения чисто семантическая. Это не совсем так. Можно также сказать, что в бытийных предложениях ударно подлежащее – это уже достаточно формальный критерий. Кроме того, известно, что фразовое ударение в нейтральной речи приходится на конец предложения. Это еще более формальный критерий. Однако совпадает в конечном счете ударная группа с группой, обозначающей бытующий предмет. Результат такой, как если бы критерии расстановки ударений были семантическими. Вернемся к предложениям с суперпозицией ремы. В предложениях (1)–(8), (40), (41) и других двойным выделительным акцентом отмечена группа бытующего предмета, так как именно она является наследницей фразового ударения реконструируемых нейтральных бытийных предложений, которые мы усматриваем в глубинной структуре предложений с суперпозицией ремы. *Была буря; Появилась собачка; Раздался странный звук; Налетел ветер; Возникли волнения.* Какое же слово станет носителем двойного выделительного акцента, а также конечного простого выделительного акцента в предложениях с бытованием события? Сравним акцентуированные пары предложений (43) и (44).

(43) *Была утка . Она плавала по реке.*

(44) *Умер Ремарк Это произошло вчера¹ в предместье Бонна¹*

(Здесь квадратными скобками помечены анафорически связанные элементы).

В результате суперпозиции ремы в обоих случаях получаются предложения с двойственной коммуникативной структурой, причем слова—носители фразовых ударений сохраняются: происходит как бы склейка по анафорически связанным, т.е. повторяющимся, элементам, которая сопровождается изменением порядка слов. В результате получаем предложения (45) и (42).

(45) *Утка плавала по реке.*

В предыдущем разделе рассматривались предложения с вырожденным характеризующим компонентом, которые хранят следы суперпозиции ремы, например, *Грачи прилетели*. Опустим в паре (44) характеризующий компонент – это подробности о том, где и когда умер Ремарк. Тогда от суперпозиции ремы, семантика которой состоит в том, чтобы придать значительность событию, указать на его новизну и масштабы, останется простая инверсия: *Ремарк умер; Король умер*. Нейтральным порядком слов здесь в соответствии с правилами расстановки слов в русском языке был бы следующий: *Умер Ремарк; Умер король*. Нельзя не признать, что проще описывать коммуникативную структуру предложений типа *Король умер* как эмфатическую инверсию, чем возводить ее к суперпозиции ремы. Однако, по-видимому, обе интерпретации, возможны и не противоречат друг другу. Просто суперпозиция ремы обладает большей степенью общности – в особенности это касается ее семантики: предложения с полноценным характеризующим компонентом и без него несомненно имеют вносимое коммуникативной структурой значение особой значительности бытующего предмета или происшедшего события.

Итак, при наличии двух компонентов – бытийного и характеризующего – в результате инверсии и особой (описанной ранее) акцентуации получаем *Ремарк умер вчера в предместье Бонна*, а когда характеризующий компонент отсутствует, – то получаем *Ремарк умер*.

Итак, в общем случае мы имеем дело с коммуникативной структурой, которую предлагается описывать как суперпозицию ремы. Она характеризуется особыми линейно-акцентными свойствами, о которых сказано выше. Суперпозиция ремы возможна в предложениях различной синтаксической и семантической природы, в которых она, соответственно, по-разному манифестируется. Коммуникативная структура с суперпозицией ремы не является нейтральной. Роль суперпозиции ремы в семантической структуре предложения состоит в смысловом обособлении некоего существенного с точки зрения говорящего предмета или события, которым в том же предложении может даваться (или не даваться) и некоторая дополнительная характеристика.

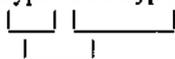
5. СЛОВА-НОСИТЕЛИ ФРАЗОВЫХ УДАРЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С СУПЕРПОЗИЦИЕЙ РЕМЫ

В предложениях с суперпозицией ремы мы реконструируем два основных типа пар сообщений:

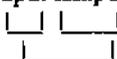
I. Появился/был/есть/вот важный предмет А. Это А – Р;

II. Произошло/происходит чрезвычайное событие Е: Это Е – Р. При этом Р может быть либо полнозначно, либо близко по значению к появился/был, либо вообще отсутствовать. Отсюда получаем следующие подтипы.

I.I. Была страшная буря. Эта буря рвалась и свистела.

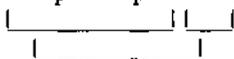


I.II. Была жара. Жара плыла.



I.II. Была жара.

II.I. Умер Ремарк. Это произошло вчера в предместье Бонна.



II.II. Умер король

При суперпозиции ремы слова—носителя фразовых ударений (мы считаем их известными) сохраняются. Линейно-акцентная структура подчиняется при этом следующей закономерности: слово—носитель фразового ударения в первом реконструируемом сообщении получает двойной выделительный акцент, а группа этого слова (слово с зависимыми) целиком выдвигается в препозицию результирующего предложения. Слово—носитель фразового ударения второго из реконструируемых сообщений, если последнее имеется, получает простой выделительный акцент, а его группа располагается в постпозиции. Если характеризующий компонент Р семантически близок к бытийному и не отягощен зависимыми членами, то соответствующее слово интонационно ослаблено или безударно. Если характеризующий компонент отсутствует, то настоящая суперпозиция ремы фактически невозможна, а присущая ее семантике чрезвычайность некоего выделенного предмета или события выражается простой инверсией с соответствующей заменой ударений: препозитивная группа подлежащего, если она есть, перемещается в постпозицию и получает выделительный акцент, препозитивный глагол тоже перемещается в постпозицию и обычно безударен, а постпозитивная группа подлежащего или дополнения продвигается в препозицию и получает двойной выделительный акцент, при безударном глаголе — выделительный акцент. Таким образом, один из видов инверсии в соответствии с его вкладом в семантическую структуру предложения мы сводим к более общему случаю с суперпозицией ремы.

6. СИНТАКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ С СУПЕРПОЗИЦИЕЙ РЕМЫ И ПРОБЛЕМА МНОЖЕСТВЕННОСТИ РЕМ

Здесь нам придется вернуться к вопросу об инвентаризации предложений с множественными ремами, который уже был затронут во вступлении при постановке задачи. Проблема коммуникативной структуры, которую мы назвали суперпозицией ремы, требует специального обсуждения по крайней мере двух вопросов: 1) вопроса о соответствии коммуникативной структуры и средств ее выражения синтаксической структуре; 2) вопроса о статусе двух рем в пределах одного предложения. Оба вопроса взаимосвязаны.

Первый вопрос четко поставлен и с наиболее исчерпывающей полнотой решается для русского языка в книге И.И. Ковтуновой [7, с. 12–17, 60–67]. Там описаны основные типы соответствий синтаксической и коммуникативной структур. Суперпозиция ремы, при которой одна рема приходится на препозитивную группу подлежащего, а вторая рема — на постпозитивную группу сказуемого или детерминанта, известные типы соответствий актуального членения синтаксическому со всей очевидностью нарушает.

Уже упомянутые ранее предложения с дислокацией ремы, которые описаны в [7, с. 122–125], имеют особую синтаксическую структуру — препозитивный и постпозитивный акцентно выделенные компоненты представляют собой либо атрибутивное словосочетание *Странное мной владело ощущение* (Нагибин); *Невероятный поднялся после этого шум* (Соколов-Микитов), либо однородные члены *Рослая она вышла к семнадцати годам и красивая* (Сергеев-Ценский); *Я надеждой живу и радостью своих находок* (Пришвин)¹. В этих предложениях нет главного, что характерно для суперпозиции ремы, а также ее редуцированных (вырожденных) вариантов — ни спаянности воедино двух сообщений — бытийного и характеризующего — ни особенной значительности бытийного компонента: сообщении о существовании/появлении на сцене нового лица или предмета или наступлении выдающегося события. Итак, дислокация ремы $\{ \}_{R_1} []_T []_{R_2}$, как справедливо показано в [7], — это не две ремы, а одна.

В [6] указывается, что в предложении могут быть две и более полноценные ремы.

¹ Примеры заимствованы из [7].

Автор называет их конечной, предконечной и т.д. Эти последовательно расположенные ремы сосуществуют в предложениях с более чем одноактантными глаголами и/или обстоятельствами и не выводят коммуникативную структуру за пределы нейтральной. Между этими подряд расположенными ремами []_T[]_{R1}[]_{R2} обычно имеется или возможна пауза и они описывают события с различных и равноправных сторон или одна n+1-я уточняет n-ю. Пример из работы Е.В. Падучевой [6]: *Этой проблемой* || *занимался Хартман* || *в течение многих лет*. Здесь *этой проблемой* – тема, *занимался Хартман* – предконечная рема (она может быть отмечена интонацией незавершенности на слове *Хартман*, характерной, кстати, не только для темы, но для незавершенности вообще), а *в течение многих лет* – конечная рема, которая отмечена выделительным акцентом.

Между множественными ремами могут существовать отношения включения, ср. примеры из работы [14, с. 205–206] (работа посвящена, впрочем, не проблемам коммуникативной структуры, а дублированию – синтаксическому соподчинению – актантов и сирконстантов с одинаковым синтаксическими ролями одному и тому же предикату): *Он придет в понедельник в 7 часов*; *Они сфотографировались на Арбате у ресторана "Прага"*; *Он жил в Москве на Арбате*. Подобные множественные ремы можно считать последовательными, их может быть более двух, и при подчеркнутой паузации, разделяющей соответствующие синтагмы, можно интерпретировать каждую не-первую рему как относящуюся к предыдущему сообщению в целом. Другой вариант интерпретации – считать эти ремы соподчиненными, т.е. относящимися к одной теме. Однако той характерной семантики, которая заключена в особой значительности бытийного компонента и присуща суперпозиции ремы, мы таким предложениям не приписываем.

Наиболее полное отражение идея "двухъярусности" коммуникативно охарактеризованных компонентов высказывания – темы и ремы – нашла в работах Ю.С. Мартемьянова [15–16] и его обзоре [12]. Ю.С. Мартемьянов указывает на ряд работ других авторов, где учитывается возможность сосуществования в одном простом предложении нескольких высказываний. В этой связи автор указывает на работы Е.В. Падучевой [17] и В.М. Труба [18]. Рассматриваются следующие примеры. В предложении *Он пошел не домой* (см. [17]) реконструируется «...сложный высказывательный состав: "Он пошел куда-то, но неверно, что он пошел домой"», в предложении *Автор благодарит НН, прочитавшего статью в рукописи* (см. [18]) высказывание *НН прочитал статью* квалифицируется Ю.С. Мартемьяновым вслед за В.М. Трубом как "...предварительная характеристика НН". Очевидно, что в предложении с отрицанием двойственность высказывания возникает за счет пресуппозиции и не выражается в двойственности рем, в случае с причастным оборотом второе высказывание в свернутом виде соответствует этому обороту, так что такому высказыванию здесь соответствует обособленное синтаксическое образование. В работе [15] Ю.С. Мартемьянов описывает различия в значениях, вводя понятие внутренней эмфазы и возможной "многоэтажной" эмфазы на теме или реме.

Итак, две ремы, если не считать того, что мы называем суперпозицией рем, могут возникать в следующих известных нам по литературе случаях: при соподчинении рем (*Этой проблемой занимался Хартман в течение нескольких лет*), в сложноподчиненных предложениях и в предложениях с обособлениями – причастными, деепричастными, уточняющими оборотами, где иерархия рем соответствует синтаксическому подчинению (*Автор благодарит НН, который прочитал статью в рукописи*; *Автор благодарит НН, прочитавшего статью в рукописи*; *Он протянул мне рукопись, объемистую и потрепанную*), предложениях с эмфазой, экспликация которой дает вставленную рему (*Прогулку друзьям пришлось отложить окончательно*) и, наконец, в некоторых предложениях с отрицанием, где реконструируется конъюнкция (дизъюнкция) двух высказываний, а, соответственно, и двух рем (*Резко*

он не затормозил = Либо он вообще не затормозил, а если и затормозил, то нерезко).

В результате суперпозиция ремы не совпадает ни с одним типом соответствия коммуникативных структур с двумя и более ремами синтаксическим структурам предложений, т.к. при ней наблюдается рематизация в одном простом предложении подлежащего (дополнения) и группы сказуемого (детерминанта) одновременно.

Вообще, нетрудно заметить, что в речи современных дикторов радио и телевидения при сообщении новостей и, в особенности – сенсаций, которые даются "одной строкой", прослеживается отчетливая тенденция отмечать двойным выделительным акцентом каждую группу предложения, имеющую выдающийся референт. Такое выделение мы не стали бы относить к эмфатическому словесному типу ударений, а к особому рематизирующему каждую выделенную синтагму нагнетанию коммуникативной напряженности: *Сессия верховного совета Таджикистана открывается сегодня по итогам событий прошедшей ночи; Проржавевшую авиационную бомбу подняли со дна моря тралом рыбаки Тихоокеанского флота.*

7. СОВПАДЕНИЕ ЛИНЕЙНО-АКЦЕНТНЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ СУПЕРПОЗИЦИИ РЕМЫ СО СРЕДСТВАМИ ВЫРАЖЕНИЯ ДРУГИХ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРУКТУР

Линейно-акцентные средства выражения коммуникативной структуры с суперпозицией ремы могут быть неотличимы от средств выражения других коммуникативных структур, а именно: от коммуникативной структуры с контрастным выделением и коммуникативной структуры с неингерентной темой. Кроме того, ранее был рассмотрен случай совпадения вырожденной вторичной ремы с экспрессивной нерасчлененной структурой.

Коммуникативная структура с суперпозицией ремы свойственна контекстно независимым предложениям (см. пример (8)), зачастую открывающим текст или новый фрагмент текста, а предложения с контрастной ремой (пример (13)) и предложения с неингерентной темой (пример (14)) существуют только в соответствующем языковом или внеязыковом контексте. Поэтому по контексту можно определить, к какому из этих типов относится коммуникативная структура предложения. Разумеется, при недостаточном контексте атрибуция таких предложений может вызывать сомнения. Существуют такие семантические типы предложений, к которым суперпозиция ремы просто неприменима. Такая ситуация облегчает атрибуцию, а выделение типов предложений, не совместимых с суперпозицией ремы, проливает свет на семантику этой коммуникативной структуры. Поэтому на этом вопросе остановимся особо. Как было показано выше, суперпозиция ремы возникает в предложениях с бытованием предмета, нового, необычного или важного для развития сюжета, а также в предложениях, которые сообщают о некоем чрезвычайном или неожиданном событии. Рассмотрим случай с бытованием предмета. В предложении (8) подлежащее *Ариша* определенное, но в значение глагола *мелькнула* входит бытийный компонент *появилась* (в поле зрения рассказчика), который допускает суперпозицию ремы. Предложение же (33) *Ариша связала рукавички* с двойным выделительным акцентом на подлежащем *Ариша* можно интерпретировать только как предложение с контрастной ремой или эмфазой – неингерентная тема в этом предложении была бы выражена ударением на слове *рукавички*). По масштабу же происшедшего до предложения с бытованием чрезвычайного события это сообщение безусловно не дотягивает.

Как уже говорилось, бытийное значение в предложениях с бытованием предмета может быть выражено двумя способами: значением глагола или неопределенностью бытующего и характеризуемого предмета. Второй способ выражения значения существования имеет имплицитные средства, поэтому на нем следует остановиться особо

Как показано в работах Е.В. Падучевой (см. например [19, с. 87–88]), неопределенность, выражаемая словами *некоторый, какой-то* и др., а также отсутствием определенности препозитивного имени, соотносится с квантором существования, который и представляет собой бытийность в чистом виде, только соотношенную с языком логики. В связи с этим предложения с неопределенным препозитивным подлежащим или дополнением могут иметь коммуникативную структуру с суперпозицией ремы даже в случае, когда сказуемое не содержит в своем значении бытийного компонента. Так, предложение (46) может иметь коммуникативную структуру с суперпозицией ремы, так как глагол *прийти* содержит значение появления на сцене, а предложение (47) в роли предложения с суперпозицией ремы не выступает, потому что включает глагол *уйти* и определенное подлежащее. Следовательно, значение существования/появления на сцене в предложении (51) отсутствует. (46) *Ариша пришла из лесу*; (47) *Ариша ушла в лес*. Ср. также предложение (48) с вторичной ремой, которая становится возможной в силу неопределенности подлежащего:

(43) *Какая-то Ариша ушла в лес*.

Роль фактора неопределенности демонстрирует пример (49), где предложения а) и б) имеют одинаковую линейно-синтаксическую структуру и содержат один и тот же глагол без бытийного компонента в значении, но в а) – определенное подлежащее, несущее интонацию незавершенности ("тематическую"), а в б) – неопределенное подлежащее с двойным выделительным акцентом ("рематическим"):

(49) а) *(Я происходил из нищей и бестолковой семьи.) Обстановка боргмановской дачи поразила меня* (Бабель): б) *(В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась.) Необыкновенное сходство поразило его* (Пушкин).

Далее. Сказанное ранее о бытовании предмета не всегда справедливо при описании события. В таком случае описание события как такового может не содержать бытийного компонента – сама коммуникативная структура внесет смысл *произошло чрезвычайное событие* Е. Пусть не Ариша в лес, а ушел Лев Толстой, и не просто погулять, а ушел навсегда, чтобы больше не вернуться. Сробщение о таком событии может быть выражено следующим образом: *Лев Толстой ушел из дому и умер в пути на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги*

8. КАК ОЗВУЧИВАЕТСЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

В предыдущем обсуждении все примеры рассматривались нами как звучащие, т.е. момент перехода от письменного текста к устному специально не учитывался. Между тем, в качестве бесспорной данности мог рассматриваться только письменный текст, такой, который оставлен нам Л. Толстым, Бабелем и Паустовским или возник на газетной полосе. Здесь мы сделали некоторое допущение, обойдя вниманием вопрос о том, что письменный текст может сохранять некоторую свободу при интерпретации коммуникативных намерений его автора. Итак, тот, кто читает вслух чужой текст, становится до некоторой степени соавтором писателя, который молчит и может порой лишь косвенно указывать на наиболее подходящую стратегию изложения. Подобно этому и предложение в устной речи, линейно-акцентная структура которого известна, не всегда однозначно членится на тему и ремю или понимается как коммуникативно нерасчлененное, т.е. состоящее из одной только ремы. Значит, слушающий тоже до известной степени соавтор говорящего, так как тематическое членение воспринимаемого предложения не всегда однозначно.

Действительно, перед нами письменный текст – лексико-синтаксическая и линейная структура его известны, а задать его акцентную структуру еще только предстоит. И здесь возможны варианты. Описав выше семантическую структуру предложений, которые попали в круг рассмотрения, мы накопили достаточно материала для того, чтобы эксплицировать различие между написанным текстом и звучащим и рассмотреть чтение как отдельную задачу.

Возникает вопрос: как чтецу или диктору исполнять русскую фразу типа SVO или

OVS? Существует ли здесь выбор в интонировании, если учесть, что линейная структура известна? Ответ на эти вопросы дает анализ семантики глагола и референциальной отнесенности именных групп.

Пусть трактористы пахут поле и выкапывают из земли сундук с драгоценностями. Или рыбаки ловят рыбу и вынимают из сети боевой снаряд. Это, безусловно, большая неожиданность. Средства массовой коммуникации сообщают о таких событиях в разделе "Сенсацши". В таком случае именная группа, называющая предмет изумления, новый и неожиданно возникший, не может служить в качестве отправной точки высказывания – темы. Тот, кто копал картошку никак не мог ожидать, что выкопает клад. Если разработан новый прибор, куплена птица, которая оказалась говорящей, открыто новое заведение, которого никогда раньше не было, о котором никто не думал и не мог думать, то соответствующая именная группа в предложении, которое сообщает о появлении этого неслыханного объекта, не должна интерпретироваться как тема.

Это ограничение, впрочем, – содержательное – никакого строгого запрета здесь быть не может, так как тема-рематическое членение и оппозиция известное/неизвестное (данное/новое) – это отдельные и не несовместимые в рамках одного речевого отрезка категории. Известность (данность), определенность часто скоррелированы с темой, но вообще – в воле говорящего преподнести и новое как тему. Однако принимать абсолютно неизвестный объект в качестве посылки высказывания оказывается неуместным.

Отсюда и соответствующее оформление в плане выражения: рематическая интонация – двойной выделительный акцент – на первой именной группе. Кажется, что следующие предложения (с препозитивной темой) в абсолютном начале текста невозможны: **Новый тип офтальмоскопа разработали недавно югославские врачи; *Проржавевшую авиационную бомбу подняли со дна моря тралом рыбаки; *Говорящего попузья приобрел на Птичьем рынке А.В. Порошков.* Такие предложения могут возникнуть только тогда, когда о новом офтальмоскопе, бомбе, поднятой тралом со дна моря, или говорящем попузге уже шла речь.

Если же препозитивное имя соотносится пусть с новым и не находящимся в поле зрения коммуникантов объектом, но, освоенным, то его интерпретация в качестве темы не запрещена: *Томительная теплотй потрясла основы моей души; Шестивесельная лодка причалила к самой беседке; Предвестие истины коснулось меня.*

Итак, полная неожиданность появившегося объекта – это абсолютный показатель рематической интерпретации препозитивного имени. Другие аспекты семантики и прагматики письменного текста (о них говорили выше), из которых вычитывается окончательная коммуникативная интерпретация рассматриваемых предложений, т.е. реконструируется коммуникативный замысел автора сообщения, сводятся к следующему: 1) присутствие компонента существования/появления на сцене в семантике сказуемого; 2) относительная новизна референта препозитивной именной группы; 3) определенность (известность) референта постпозитивной именной группы (*Предвестие истины коснулось меня; Свой юбилей отпраздновал Образцов; Годовщину путча отметили москвичи*).

Эти факторы стимулируют рематическую интерпретацию препозитивной именной группы, а всего предложения – как результата суперпозиции ремы.

Таким образом, необходимым условием суперпозиции ремы служит инверсия. Предположим, что это условие выполнено. Как действуют остальные факторы? Если референт препозитивного имени абсолютно неизвестен, то суперпозиция ремы оказывается единственной интерпретацией. Если референт препозитивного имени относительно неизвестен и/или в значение сказуемого входит компонент существования/появления на сцене, то интерпретация с суперпозицией ремы возможна и весьма вероятна.

Фактор новизны постпозитивного имени действует при определении порядка слов, т.е. служит косвенным свидетельством в пользу квалификации порядка слов как

прямого или обратного. Последнее положение нуждается в пояснении. Возьмем двухактантный глагол. В предложении с таким глаголом нейтральным порядком слов будет считаться и SVO и OVS (см. [7, с. 182]): *Лабораторию посетил профессор; Профессор посетил лабораторию*. Предложение *Лабораторию посетил профессор* следует понимать так, что лаборатория адресату и адресанту, скорее всего, была известна (например, это – "наша лаборатория"), а профессор – нет (возможно, это профессор вообще). Между тем, во втором предложении *Профессор посетил лабораторию* – наоборот, известен – профессор, а неизвестна – лаборатория. Поэтому будем считать, что, если именные группы в предложении типа SVO или OVS взяты с разными знаками относительно известности/неизвестности (данности/новизны), то порядок следования групп "известное-сказуемое-неизвестное" будет прямым, а "неизвестное-сказуемое-известное" – обратным. Такое предположение основано на том, что норма – в совпадении начала с известным, а конца – с новым. Отсюда следует, что в предложениях – *Томительная теплота потрясла основы моей души; Радость блистала на лице его; Маленькая собачка побежала ей навстречу* – обратный порядок слов, независимо от того, как будет интерпретироваться начальная именная группа – как тема или как рема. Значит данность/новизна именных групп в предложении могут участвовать в определении типа порядка слов, а соответственно, и возможной интерпретации его коммуникативной структуры как результата суперпозиции ремы.

Итак, если порядок слов в предложении обратный, по сравнению с нейтральным, препозитивная именная группа обозначает новое и/или в семантику сказуемого входит значение существования/появления на сцене, то перед нами предложение, которое может быть интерпретировано как результат суперпозиции ремы. Если чтец именно так поймет предложение, то и чтение будет соответствующим: на препозитивной именной группе – двойной выделительный акцент, на постпозитивной именной группе – простой выделительный акцент.

Далее, как результат суперпозиции ремы могут интерпретироваться некоторые предложения, которые отмечены единственным выделенным признаком, – обратным порядком слов. При этом препозитивное имя может соотноситься с известным и определенным объектом, а глагол – не содержать бытийного значения. Это предложение, в которых вводится в рассмотрение не объект, а целое событие. Прагматическим показанием к интерпретации такого предложения как результата суперпозиции ремы с соответствующей интонацией при чтении может служить особая значительность такого события: *Ремарк умер вчера в предместье Бонна*. Нельзя не признать, что, хотя суперпозиция ремы – весьма выразительное средство введения в рассмотрение нового объекта и события, интерпретация с интонацией незавершенности (тематической) здесь тоже возможна: *Ремарк умер вчера в предместье Бонна*.

Следующей комбинацией выделенных признаков, которых достаточно для того, чтобы понимание с суперпозицией ремы было возможно, является обратный порядок слов плюс бытийный компонент в значении сказуемого. Препозитивная именная группа может иметь определенный и известный референт: *Ариша мелькнула в окне и исчезла*. К словам с бытийным значением мы относим, как уже говорилось, – *есть, появился, вот*. Понимание препозитивной группы как темы здесь тоже возможно: *Ариша мелькнула в окне и исчезла*.

И, наконец, ради полноты отметим, что еще одним источником вариативности интерпретаций при чтении может служить неопределенность типа порядка слов. Пусть порядок слов в предложении SVO и именные группы взяты с одинаковыми знаками относительно известности/неизвестности (определенности/неопределенности). В предложении *Лев Толстой ушел из дому* обе именные группы определенные, поэтому порядок слов здесь может быть оценен и как прямой, и как обратный. Здесь тоже возможны два прочтения – нейтральное и с суперпозицией ремы: *Лев Толстой ушел из дому / Лев Толстой ушел из дому*.

В итоге получаем, что при абсолютной новизне и неизвестности референта препо-

зитивного имени интерпретация чтецом предложений рассматриваемого типа как результата суперпозиции ремы обязательна, в остальных случаях при соблюдении других рассмотренных условий – весьма вероятна. Кроме того, существенно, что суперпозиция ремы – это чисто литературный прием и в обыденной речи она невозможна: соответствующее содержание разбивается здесь на два высказывания.

В текстах массовой коммуникации, т.е. исконно письменных, но рассчитанных на скорое исполнение, суперпозиция ремы может расцениваться и как демагогический прием: она повышает коммуникативную напряженность текста и тем самым влияет на сознание аудитории.

По сравнению с суперпозицией ремы тематизация бытующего предмета – это более спокойное средство введения в рассмотрение нового объекта. Здесь бытующий предмет возникает как тема, рассказчик вводит его как уже освоенный и строит свое высказывание, отталкиваясь от него. Тематизация бытующего предмета – это во многих случаях альтернатива суперпозиции ремы. Эта альтернатива возникает у чтеца, когда перед ним предложение с обратным порядком слов, вводящее в рассмотрение новый объект. Но если интерпретатор художественного текста еще может предпочесть тематизацию суперпозиции, то у диктора, сообщающего новости, такой альтернативы фактически нет: традиция чтения текстов-сенсаций возможность чтения с тематизацией в существенной степени уничтожила. Большинство информационных сводок читаются с ударным началом предложения. На такую интерпретацию они ориентированы заранее, так как построены с порядком слов, обратным нейтральному.

И, наконец, рассмотрение минимальных пар, таких как *Томительная теплота потрясла основы моей души* – *Томительная теплотá потрясла основы моей души*, которые имеют одинаковую лексико-синтаксическую и линейную структуру и функционируют в одинаковых контекстах и различаются только тем, что то, что в одном – тема, в другом – собственно рема, и наоборот, лишний раз показывает необходимость обращения к понятиям темы и ремы, введенных Матезиусом (или эквивалентным им), и их несводимость к таким категориям, как осведомленность коммуникантов, эмпатия и надежная структура предложения, ср. нашу полемику об этом с О. Йокоямой [20, с. 31; 21, с. 97].

9. СУПЕРПОЗИЦИЯ РЕМЫ И ТЕМАТИЗАЦИЯ БЫТУЮЩЕГО ПРЕДМЕТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Роль предложений с суперпозицией ремы в тексте определяется их способностью вводить в рассмотрение новый объект. Суперпозиция ремы не единственное, но наиболее сильное средство введения нового объекта. Это специальный тип коммуникативной структуры, при котором вводимый в рассмотрение объект получает двойной выделительный акцент и выносится в препозицию. (Исследование различных способов введения нового объекта в художественном тексте содержится в работе Я. Фирбаса [2]).

Вводимым объектом может быть явившееся на сцену новое лицо, внезапно чувство, охватившее участников описываемой ситуации, элемент обстановки, пейзажа, явление природы, которое вмешивается в ход событий или сопровождает его как важная деталь сюжета или создаваемого впечатления.

Из способности вводить в рассмотрение новый объект выводится несколько типов функционирования предложений с суперпозицией ремы в тексте.

1. Суперпозиция ремы может быть средством, с помощью которого сообщается, что в гущу событий неожиданно вторгается новый участник:

(50) *И тут гладь океана вдруг раздалась,* и огромная рыбина взмыла вверх бесконечным движением неправдоподобно могучего и длинного тела, на миг словно повисла в воздухе, серебрясь и синяя на солнце, и снова бухнула в воду – только фонтан пены взметнулся ей вслед (Хемингуэй);

(51) *Он выстрелил, и стрекот послышался снова – дробный, тугой, и плавник*

завалился, вода вокруг него закипела и потом) *молот-рыба* – такая большая, какой он никогда не видел, – поднялась из моря белым брюхом вверх и начала бешено крутиться, взбаламучивая воду как *акваплан* (Хемингуэй);

Хотя примеры (50) и (51) и не принадлежат к числу образцов русской прозы, но особенно замечательны тем, что стали известны нам в исполнении Михаила Ульянова, выделявшего сильным акцентом слова *рыбина* и *рыба* соответственно.

Суперпозиция ремы может быть употреблена не только в случае возникновения, но и в случае существования среди участников событий неупомянутого ранее лица, предмета, чувства, которые неожиданно попадают в круг внимания наблюдателя:

(52) *(На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир.) Женщина сидит у его ног* (Бабель).

2. Суперпозицией ремы может быть отмечено первое предложение текста или нового фрагмента, когда вводится новый объект, служащий сквозной темой всего текста или фрагмента. В частности, такое употребление суперпозиции ремы характерно для первых фраз сенсационных сообщений. Эти сообщения обычно целиком посвящены какому-либо открытию, событию, изобретению, лицу, новизна которого усиливается коммуникативной структурой первой вводящей объект фразы:

(53) *Кофейную розу вывела известный селекционер Серена Чачапос из бразильского города Бока-ду-Акри.*

3. Еще одна функция предложений с суперпозицией ремы связана с их способностью открывать собой фрагмент, посвященный описанию некоей цельной картины, которая открывается перед глазами читателя. Первый вводимый в рассмотрение предмет не является ни единственным, ни главным действующим лицом, о котором пойдет речь в таком фрагменте, – он служит лишь точкой отсчета для описания всего нового кадра:

(54) *Вечер лег на медные горы, (и ветер стих, как бы приветствуя меловую звезду, равнодушно блиставшую над пустыней)* (Паустовский).

В связи со свойством суперпозиции ремы открывать описательный текст такие предложения могут употребляться не только в абсолютном начале, но и после слов, обещающих описание картины, которая открывается перед глазами читателя. Так, за словами *мы пришли на кухню...* может следовать описание того, что мы там увидели. Причем первый увиденный объект в таком описании станет главной ремой первого предложения:

(55) *(Мы пришли на кухню, и Рубцова поставила меня под кран.) Гусь жарился на кафельной плите, (пылающая посуда висела по стенам, и рядом с посудой, в кухаркином углу висел царь Николай, убранный бумажными цветами)* (Бабель).

При отсутствии слов, предвещающих переход к новому кадру, предложения с суперпозицией ремы могут самостоятельно сигнализировать о смене экспозиции:

(56) *(Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке.) Вечер шатался мимо лавочки, (сияющий глаз заката падал в море за Пересытью, и небо было красно, как красное число в календаре.)* (Бабель).

И наконец, суперпозиция ремы может сообщать о том, что произошло некое событие, ср. предложение (42). Коммуникативная структура с суперпозицией ремы возникает как особая структура именно литературного или газетного стиля: в разговорной речи она не употребляется. Она весьма характерна для рассказов И. Бабеля, а также прозы А.С. Пушкина и К.Г. Паустовского.

В устном исполнении специфический интонационный контур предложений с суперпозицией ремы, когда на первую именную группу предложения, обозначающую основной предмет сообщения, падает двойной выделительный акцент, можно часто наблюдать в речи дикторов радио и телевидения.

Предложения с тематизацией бытующего предмета употребляются в описательных художественных текстах, где для каждого предмета, который представляет собой элемент общей картины, принята следующая схема представления: предмет – его

локализация. Предложения, живописующие ситуацию с различных сторон, зачастую имеют одинаковую синтаксическую структуру. Все они составляют описание одной картины. Первое предложение, открывающее такое описание, может иметь коммуникативную структуру с суперпозицией ремы, где первый вводимый в рассмотрение предмет соответствует главной реме. Все последующие предметы, активированные первым, и в этом смысле не совсем новые, соответствуют темам неначальных предложений: они возникают в тексте, когда ситуация уже введена в рассмотрение. Предложения с тематизацией бытующего предмета могут перемежаться нейтральными предложениями характеристики с коммуникативной структурой тема-рема.

Предложения с тематизацией бытующего предмета возможны не только в контексте предложений с суперпозицией ремы. Описательный фрагмент текста (картинка) может открываться и другими средствами, в частности, и предложениями с тематизацией бытующего предмета:

(57) *По вечерам лукавый Суровец отвозил нас на реквизированном шарабане к холму, где светился в огне заката брошенный дом князей Гонсиоровских.* Худые, но длинные и породистые лошади дружно бежали на красных вожжах; беспечная серга колыхалась в ухе Суровцева, круглые башины выросли из рва, заросшего желтой скатертью цветов. Обломанные стены чертили в небе кривую, набухшую рубиновой кровью линию, куст шиповника прятал ягоды, и голубая ступень, остаток лестницы, по которой поднимались когда-то польские короли, блестела в кустарнике (Бабель).

Итак, тематизация бытующего предмета – другое, менее динамичное, чем суперпозиция ремы, средство введения в рассмотрение нового объекта. Предложения с тематизацией бытующего предмета обычно используются как неначальные компоненты нарративного текста. Их функционирование в художественном тексте определяется, с одной стороны, близостью к предложениям характеристики ввиду совпадения расположения компонентов коммуникативной структуры: и те, и другие предложения представляют собой последовательность тема-новое – рема. С другой стороны, предложения с тематизацией бытующего предмета близки к предложениям с суперпозицией ремы ввиду совпадения линейно-синтаксических структур.

Поэтому, если перед нами предложение письменного художественного текста со значением существования или появления на сцене и инвертированным порядком слов по сравнению с нейтральным, мы можем реализовать это предложение либо с интонационным контуром суперпозиции ремы, либо с интонационным контуром, характерным для тематизации бытующего предмета. При этом начальные предложения текста или фрагмента текста с неизвестным препозитивным подлежащим или дополнением производят на слушателя более глубокое впечатление, будучи произнесены как предложения с суперпозицией ремы. Неначальные предложения описанной линейно-синтаксической структуры, а также начальные предложения при нейтральном произнесении, исполняются как предложения с тематизацией бытующего предмета.

* * *

Выше было показано, что некоторые предложения в художественном или публицистическом тексте с инверсией могут быть произнесены с двойным выделительным акцентом на начальной именной группе и простым выделительным акцентом на конечной группе. Для того, чтобы такое произнесение было возможно, семантическая структура предложения должна включать бытийный компонент, который присутствует в значении сказуемого или выражается неопределенностью референта начальной именной группы предложения. Такое же исполнение могут иметь и предложения без выраженного бытийного компонента, но сообщающие о некоем чрезвычайном событии. Коммуникативная структура таких предложений характери-

зается наличием двух рем – начальной и конечной – каждая из которых соответствует двум спаянным в одном предложении сообщениям: в одном сообщается о возникновении или бытовании некоего важного предмета или события, а другое – содержит дальнейшую характеристику этого явления.

Исполнение таких предложений в устной речи с двумя выделительными акцентами – в начале и в конце – не обязательно. Обычно возможно и альтернативное произнесение, при котором начальная группа интерпретируется как тема. В таком случае эффект присутствия в одном предложении двух сообщений – бытийного, т.е. вводящего в рассмотрение новый объект, и характеризующего – пропадает и особая коммуникативная напряженность, присущая предложениям с двумя ремами, снимается. Использование предложений с двумя ремами широко распространено в речи дикторов радио и телевидения при сообщении новостей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ковтунова И.И. Структура художественного текста и новая информация // Синтаксис текста. М., 1979.
2. Firbas J. On "Existence/appearance on the scene" in functional sentence perspective // Prague Studies in English. Praha. V. XVI.
3. Адамец П. Порядок слов в современном русском языке. 1966.
4. Валлитте Д.-Э.И. Предложения с существительным-подлежащим в начальной рематической позиции (на материале современного немецкого языка) // Грамматические категории в разносистемных языках. М., 1985.
5. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
6. Падучева Е.В. Коммуникативная структура предложения и понятие коммуникативной парадигмы // Научная и техническая информация. Сер. 2. 1984. № 10.
7. Ковтунова И.И. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976.
8. Баранов А.Н., Кобозева И.М. Семантика общих вопросов в русском языке (категория установки) // ИАН СЛЯ. 1983. № 3.
9. Янко Т.Е. Коммуникативная структура с неингерентной темой // Научная и техническая информация. Сер. 2. 1991. № 7.
10. Арутюнова Н.Д., Ширяев Е.Н. Русское предложение. Бытийный тип, М., 1983.
11. Рестап П. Позиция личной формы глагола в некоторых элементарных повествовательных предложениях в современном русском языке // Новое в лингвистике. Вып. XV. М., 1985.
12. Мартельянов Ю.С. Проблемы актуального членения в исследованиях по автоматическому переводу и реферированию // Обзорная информация. Сер. 2. М., 1981.
13. Николаева Т.М. Семантика акцентного выделения. М., 1982.
14. Паунган В.А., Рахилина Е.В. Сирконстанты в толковании ? // Metody formalne w opisie językow slowianskich. Bialystok. 1990.
15. Мартельянов Ю.С. К описанию текста: язык валентно-эмфазно-юнктивных отношений // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1970. Вып. 13.
16. Мартельянов Ю.С. К описанию текста: язык валентно-эмфазно-юнктивных отношений (продолжение) // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1971. Вып. 14.
17. Падучева Е.В. Семантический анализ отрицательных предложений в русском языке // Машинный перевод и прикладная лингвистика. М., 1969. Вып. 12.
18. Труб В.М. К проблеме обнаружения нестандартно оформленных валентностей предиката на этапе семантико-синтаксического анализа при машинном переводе // Материалы международного семинара по машинному переводу. М., 1975.
19. Падучева Е.В. О семантике синтаксиса. М., 1974.
20. Янко Т.Е. Информационная модель диалога // Научная и техническая информация. Сер. 2. 1990. № 12.
21. Йокояма О. Теория коммуникативной компетенции и проблематика порядка слов в русском языке // ВЯ. 1992. № 6.

© 1994 г. Р.И. РОЗИНА

**КОГНИТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ТАКСОНОМИИ.
КАТЕГОРИЗАЦИЯ МИРА В ЯЗЫКЕ И В ТЕКСТЕ**

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Оглядываясь назад, сейчас уже можно утверждать, что конец 70-х-80-е гг. ознаменовались в отечественной лингвистике выраженным интересом к тому типу отношений между словами, который Дж. Лайонз назвал гипо-гиперонимическим. Целый ряд исследователей видел свою задачу в разграничении различных типов отношений в рамках гипо-гиперонимии (синонимом для которой были термины "отношения таксономического типа" или "иерархические отношения"); в частности выделялись такие отношения, как "вид-род", "элемент-класс", "подмножество-множество" и под. (обзор и критический анализ основных направлений исследования представлен в работе [1]). Однако практически ни в одном исследовании не задается вопрос о том, насколько отношения иерархического типа действительно распространены в языке и вообще имеют ли они языковой характер. Авторы различных исследований делают по поводу этих отношений прямо противоположные утверждения: либо так же, как Лайонз, считают их одним из самых распространенных в языке типов семантических отношений; рассматривают их как единственный тип отношений, возможных между единицами одного класса, как это делает Э. Рош; либо, наоборот, считают, что эти отношения не так уж широко распространены ([2; 3], где отмечается, что во многих случаях отношения, представленные в тезаурусах как иерархические, т.е. гипо-гиперонимические "не являются ни привычной для нас гипо-гиперонимией, ни синонимией, ни антонимией"). В работе Н.А. Рюминой [4] вообще высказывается сомнение в распространенности иерархических отношений между именами в языке. На основании эксперимента по свободной классификации конкретной лексики делается заключение о том, что вопреки ожиданиям, взрослые испытуемые редко прибегают к категориальной классификации, в которой используются имена классов. По данным Н.А. Рюминой чаще встречаются классификации слов на основании общности функции их референтов или сосуществования их референтов в пространстве или в ситуации [4, с. 9, 12, 14]. Высказываются также предположения, что употребление имен классов зависит от стилей и жанров речи: так, Н.А. Рюмина считает, что имена классов малоупотребительны в разговорной речи, для которой свойственно заменять обозначения классов-универбы различными конструкциями [4, с. 12]. Кроме того, высказывается предположение, что в русском языке вообще немного универбов для выражения идеи класса [4, с. 13]. С.Е. Никитина указывает, что имена классов отсутствуют в фольклорных текстах [5].

В то же время в практике современной лексикографии принято отражать таксономические отношения – так в "Толково-комбинаторном словаре" последовательно указываются аргументы функции "Gener"; в базе данных "Предметные имена" семантического словаря "Лексикограф" при каждом имени приводится имя класса (см. об этом [6]).

Таким образом, целый ряд вопросов остается открытым: во-первых, вопрос о языковом характере иерархических отношений между именами; во-вторых, вопрос о реальной распространенности этих отношений в языке; в-третьих, вопрос о распро-

странности этих отношений в различных функциональных стилях и жанрах речи.

Что касается вопроса о языковом характере отношений типа “выше–ниже”, то ответить на него можно пока предварительно, рассматривая классы слов различных языков. Если бы эти отношения имели логический, а не языковой характер, членение слов на классы было бы универсальным по крайней мере для европейских языков, за которыми стоит общая культурная традиция, и наборы имен классов совпадали бы. В то же время известно, например, что во французском языке имеется общее имя, обозначающее мебель, предназначенную для сидения (*siège*); имя такого класса отсутствует в русском и английском языках. В пользу предположения о языковом характере иерархических отношений между словами говорят и факты существования лакун в иерархиях [7]

Второй вопрос, на который мы попытаемся ответить, – это вопрос о распространенности гипо-гиперонимических отношений в русском языке.

Известно, что прочие типы семантических отношений между словами (например, синонимия или антонимия) “работают” лишь на части словарного состава языка, причем способность лексем вступать в эти отношения, как правило, связана с особенностями семантики этих лексем. Например, отношения антонимии характерны для предикатных слов, называющих один признак объекта (ср. *нежность–грубость*) и не свойственны называющим полипризнаковым объектам идентифицирующим (конкретным) словам [8]. Поэтому, если отношения общего–частного имеют языковой характер, можно и для них сделать следующие предположения:

1. Область действия этих отношений в языке ограничена.

2. Способность слов вступать в отношения общего–частного определяется семантическими (а может быть, и какими-либо другими) характеристиками этих слов.

Эти предположения позволяют подойти к решению задачи данной работы – задачи определения того, какова реальная область распространения отношений общего–частного в языке.

2.0. ТЕХНИКА ДИАГНОСТИКИ ОТНОШЕНИЙ ОБЩЕГО–ЧАСТНОГО

Убеждение в распространенности отношений общего–частного в языке находит отражение в разбиении единиц на классы “сверху донизу”. Такие исследователи, как Калцолари и Эмслер, считают, что формой представления таксономической классификации слов являются словари: словарь позволяет построить сложную иерархию в виде ряда деревьев, где одно слово может принадлежать нескольким деревьям и возводиться к одной или нескольким вершинам разными путями и где, соответственно, существуют связи между отдельными частями разных деревьев.

При этом предполагается, что иерархические отношения между словами присущи языку изнутри, естественны для него, поскольку и традиционные словари, при создании которых не ставилось целью построение таксономии, на деле отражают ее: “структура словарной дефиниции является основой для построения таксономий как глаголов, так и существительных” [9, с. 92].

Убеждение в возможности разбиения слов на классы, возводящиеся даже не к нескольким, а к одной вершине, находит отражение в классификациях, построенных по типу “дерева Порфирия” [10], в частности, во многих тезаурусных классификациях лексики. При этом, однако, неизбежно смешиваются языковые и неязыковые принципы классификации слов и реалий.

Общепризнано, что если какие-либо парадигматические отношения имеют языковой характер, они обязательно получают отражение в синтагматике. Например, отношения антонимии реализуются в конструкциях противопоставления (*не..., а...*): *Он был не красив, а уродлив. Мне нужна не научная, а популярная книга о комнатных цветах.* В то же время подстановка слов в конструкцию противопоставления позволяет проверить, свойственно ли им вступать в отношение антонимии [8]. Для

того, чтобы избежать привлечения неязыковых значений о членении мира и проследить отношения общего–частного не на неязыковых объектах, но на единицах языка – словах, можно также использовать какие-либо конструкции, в которых реализуются эти отношения. В качестве такой конструкции может выступать конструкция ‘х, у и другие z’ (*Дрозды, зяблики и другие птицы*), предложенная Дж. Лайонзом и использованная для нахождения аргументов лексической функции Genet [11]. Ряд конструкций и других средств выражения отношения включения в языке перечислен в работе [12]. Это конструкции с выражением *один из*, сопровождающимся частями *лишь, еще, только, тоже* (*Лишь ель, одна из всех деревьев, оставалась зеленой*); конструкция со словом *представитель* (*Лягушка – представитель класса земноводных*); предлог *среди* (*Среди животных зоопарка был и степной волк*); конструкции со словами *быть в числе, относительно к числу, быть в ряду, причислять к классу, включать в число* (*Волка следует включить в число животных, подлежащих охране от истребления*). Средством выражения отношений включения может быть также деепричастие *включая* (*Все звери, включая тигра, молчали*); знаки препинания – двоеточие, скобки или тире, выделяющие однородные члены, стоящие после обобщающего слова; вводные слова *например, в частности, в первую очередь, прежде всего, особенно, преимущественно*; слово как (*Такие деревья, как дуб, клен и т.д.*) [вернее, конструкция такой, как: “*Уж не инопланетяне ли подкинули нам такую экстравагантную игру, как шахматы*” (Арефьев А., Фомин Л. Баллада о космических пришельцах)]; слово *другой* (*Другой, не менее эффективный способ получения древесного угля...*).

В работах [13–15] для описания отношений общего–частного (в частности одного из видов этого отношения – родо-видового) предлагается использовать конструкцию с операторами *вид, сорт, тип*: ‘х, у и другие виды’ (*Ямб, хорей и другие виды стихотворных размеров*).

Отношения общего–частного реализуются и при замещении слова более узкого значения словом более широкого значения в связном тексте (“*Я остановился под самой толстой лиственницей, задрал голову. Мне показалось, что дерево, на котором где густо, где реденько бусила зеленоватая хвоя, плыло по небу, и сокол, приладившийся к вершине дерева, меж черных, словно обгорелых шишек, дремал, убаюканный этим медленным и спокойным плаванием. На дереве было ястребиное гнездо, свитое в развилке между толстым суком и стволом*” (В. Астафьев. Земной поклон); “*Ошейник тигра замигал. Вульгарной походкой зверь направился в прихожую открыть двери и встретить посетителя*” (Г. Саркисян. Лошадь смеется).

Нам представляется целесообразным использовать именно способность слова более широкого значения замещать слово более узкого значения в связном тексте для определения области распространения отношения общего–частного в языке. Если для какого-либо слова х можно найти два предложения, в первом из которых употребляется данное слово, а во втором может употребляться либо данное слово, либо – вместо него – слово более широкого значения у, будем считать, что слова у и х находятся в отношении общего–частного. Например, *Вдалеке мы увидели волокна. Зверь стоял совершенно неподвижно, прислушиваясь к чему-то*”.

Уверенность в правомерности такого экспериментирования основана на существовании фактов достаточно широкого употребления предложений, где кореферентные слова связаны отношениями общего–частного в текстах различных жанров и стилей. В прессе – [*“Так повелось издавна: за участие в выращивании и уборке свеклы человек вознаграждается... с ахаром, с ахаром в чистом виде. Сдаешь государству центнер свеклы, – получи 250 граммов с ахара-песка. И получают солидно. К примеру за год только в Курской области на руки в виде*

натуроплаты его было выдано 10300 тонн. На какие цели в основном был направлен продукт – объяснять не надо” (Крокодил, 1988, № 8, с. 3)]; в письмах [«Прочел в № 31 в рубрике “Вечер на журнальной площади” письмо Я. Энтина о кооперативном картофеле. Абсолютно аналогичная картина у нас в Воронеже с мясом. Оно все кооперативное, да и то далеко не качественное: я, например, не верю в его “кооперативность”... ..Считаю, что затронутый мной вопрос о кооперативных продуктах требует немедленного решения» (Крокодил, 1988, № 9, с. 2)]; в художественной литературе, в особенности в “средней” прозе, но могут встречаться и в поэзии – “Дом высился, как каланча. / По тесной лестнице угольной / Несли роляль два силача, / Как колокол на колокольню. Они тащили вверх роляль / Над ширью городского моря, / Как с заповедями скрижалей / На каменное плоскогорье. // И вот в гостиной иструменил, / И город в свисте, шуме, гаме, / Как под водой на две легенды, / Внизу остался под ногами” (Б. Пастернак. Музыка). Судя по материалам сборника “Разговорная речь” [16], хотя и реже (поскольку в повседневном общении вместо имен классов часто употребляются выражения типа *что на голову надеть, чем есть*: – *Дай, что на голову надеть, Где у тебя чем есть*”), замещение существительных более узкого значения существительными более широкого значения встречается и в разговорной речи (А. *Вот эти волнушки были собраны. К. Это волнушки / да? А. Ну буквально за пятнадцать минут // М. Пятнадцать минут // А. (отвечает на вопрос К.) Да // Это только волнушки // Грудь в более крупной таре. М. Кирилл / знаешь / как вот нарочно посажены // К. Да? М. И ни ... никакого там нету // и одни эти грибы // и под елкой / и под соснами... М. / взяв маленький грибок / Нет / я такие грибушки и люблю // К. А у нас... ..считается, что нынче мало было грибов* [16, с. 160–161]).

В чем преимущество использования способности слова к замещению словом более широкого значения в связном тексте для диагностики отношений общего–частного в языке перед использованием в этих же целях других известных (в частности перечисленных выше) конструкций или средств реализации этих отношений?

1. Использование теста на способность к замещению позволяет отказаться от традиционного представления о том, что отношение общего–частного возникает только при условии существования нескольких слов частного значения, с одной стороны, и слова более широкого значения – с другой. Ср., например, использование для описания отношений общего–частного конструкции ‘*x, y и другие z*’, которая предполагает обязательное перечисление хотя бы двух слов (*Зайцы, кролики и другие пушные звери*). Эта конструкция, так же, как и ряд конструкций, предложенных в [12], не учитывает тех случаев, когда в языке имя общего значения (или имя класса) соотносится только с одним именем частного значения (или с именем члена класса). Например, слово *дрезина* в русском языке соотносится со словом *автодрезина* – названий других видов *дрезин* в русском языке нет (см. об этом [17]), слово *почта* – только со словом *авиапочта* и т.п.

2. Использование теста на замещение позволяет избежать возникновения отношений предикации между словом более частного и словом более общего значений. Дело в том, что если слово более общего и более частного значения встречаются в рамках одного предложения, они, как правило, занимают позиции подлежащего и именной части составного именного сказуемого, ср. пример приводившийся выше: *Лягушка – представитель класса земноводных* или *Лягушка – земноводное*. При этом в позиции именной части сказуемого могут встречаться как слова более общей семантики, чем слова в позиции подлежащего, так и наоборот, слова, обозначающие какие-либо признаки подлежащего, т.е. слова более частного значения, не являющиеся именами классов. Ср., например, *Прямоугольник – это такая геометрическая фигура*, у которой противоположные стороны равны и все углы составляют

90 градусов и Эта фигура – прямоугольник. Ср. также предложения типа *Мой сосед – турист и Турист – мой сосед* (см. [18]). При замещении же первым вводится существительное частного значения (как правило, в позиции ремы): *Если вы и увидите готовый полуфабрикат с фабричной упаковкой, то в ф о л ь г е*. Затем вводится замещающее слово более общего значения: *То есть именно в том м а т е р и а л е, который не пропускает высокочастотную энергию* (Моск. правда. 1986, 11 окт.).

2.1. ОККАЗИОНАЛЬНОЕ И УЗУАЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ

Проводя тест на способность слов к замещению в связном тексте, необходимо учитывать, что замещение может отражать действительно существующую в языке связь между словами, но может быть и контекстуально обусловленным, т.е. окказиональным (точно так же сочинительный союз может объединять имена членов, принадлежащих одному классу, например, *серебро и золото*, а может создавать окказиональные классы [19, 20]). Можно привести много примеров окказионального замещения: *На пути нам встретился густой лес. Препятствие казалось непреодолимым. перед нами было болото. Препятствие нужно было преодолеть во что бы то ни стало*. В словарных толкованиях слова *лес* (множество деревьев, растущих на большом пространстве) и слова *болото* (топкое место со стоячей водой) не используется слово *препятствие*. Можно трактовать замещение в данном и подобных случаях не как окказиональное, а как ситуативное: появление слова *препятствие* в тексте связано скорее не с замещением слов *лес* и *болото*, но с ситуацией, которая описывается наличием в этих предложениях слов *на пути встретился, перед нами было, непреодолимый, преодолеть*; слово *препятствие* связано поэтому со словами *лес* и *болото* не непосредственно, но через глагол *преодолеть*.

Сравни ситуативную обусловленность и связь с глаголом *изготавливать* слова *изделие*, замещающего слово *полотенце* в следующем примере: «Жительница г. Волгодонска Ростовской области О. Каширина, ни о чем таком не подозревая, приобрела как-то в магазине махровое п о л о т е н ц е, изготовленное ереванским ПО “Шушан”, заплатив за него всего 1 руб. 20 коп. Что же, цена умеренная. А покупательница считает даже, что непомерно мизерная. “Предлагаю этому ПО “Шушан” брать двойную плату за свое из д е л и е. Во-первых, как за полотенце, а во-вторых, как за сухие румяна» (Крокодил, 1988, № 9, с. 8–9).

Окказиональность появления слова *препятствие* в качестве замещающего для слов *лес* и *болото* доказывается и другим фактом. Как правило, замещающее слово может употребляться в связном тексте по нескольку раз: “Иногда в конопле появлялась п т и ч к а - м у х о л о в к а. ... Мухоловка тихо дремала над лопухом. С листа катились и катились капли. Глаза п т и ч к и затягивало пленкой. Глядя на п т и ч к у я начинал зевать, меня пробирало ознобом, губы мои тряслись” (В. Астафьев. Последний поклон). Окказиональные слова-заместители не способны к такому употреблению, ср.: *Перед нами было болото. Препятствие казалось непреодолимым. *Препятствие было огромным и топким. *На поверхности препятствия время от времени всплывали пузырьки газа и тут же лопались. Но вполне приемлемо: Перед нами было болото. Препятствие казалось непреодолимым. Болото было огромным и топким. На поверхности болота кое-где всплывали пузырьки газа и тут же лопались. По-видимому, проверка на способность к повтору в связном тексте может использоваться для разграничения связей между словами, имеющими языковой характер, и связей окказиональных, возникающих в речи и обусловленных ситуацией и контекстом.*

В роли слов-заместителей во многих случаях выступают такие слова, как *вещь, событие, явление, процесс*, ср.: *Я купила новое платье. Вещь очень понравилась всем моим приятельницам; Он сыграл неизвестную прежде пьесу Шопена. Вещь произвела глубочайшее впечатление на всех присутствующих. Начался массовый перелет птиц. Это событие всегда волновало меня; Недавно состоялось утверждение Иванова на пост директора института. Это событие вызвало живой отклик у всех сотрудников; Впервые в жизни я наблюдал деление клеток. Этот процесс был захватывающе интересным; Во многих странах мира перешли на плавление стали с помощью электричества. Это позволило значительно ускорить и удешевить процесс.*

Суть отличия замещения словами типа *вещь, событие, явление, процесс* от замещения словами типа *дерево, зверь, растение* и др. – прежде всего в том, что слова *вещь, событие, явление, процесс* стоят на гораздо более высоком уровне абстракции, чем слова типа *дерево* и способны поэтому замещать значительно большее число слов самой различной семантики. Собственно говоря, слова *вещь, предмет, явление* не являются именами классов или подклассов реалий, они являются именами подклассов категорий существительных и выражают субкатегориальные значения последних (ср. с выделяемой Ю.С. Степановым группой имен высокой степени общности, стоящих выше заглавных слов группировок лексики в идеографических словарях, т.е. выше таких слов, как *одежда, мебель, животные* и под. Ю.С. Степанов называет имена, стоящие на самой высокой ступени иерархии, словарными метазнаками, или метаименами [21]. Сравни также класс слов, получивший название “металексика” в [22], члены которого задают “максимально обобщенные представления о типах реалий” и выделяются на основе специфики их функционирования в генитивной конструкции – *процесс перестройки, состояние покоя, статус независимости* и под.).

Различие слов-заместителей, принадлежащих разным уровням абстракции, отражается в их функционировании в тексте. Так же, как окказиональные слова-заместители, слова, выражающие субкатегориальные значения существительных, не способны к повторам в тексте, ср.: *Начался массовый перелет птиц. Это событие всегда волновало меня. *Во время подготовки к событию все птицы собираются небольшими стаями, кружат в небе, а затем сливаются во все большие и большие стаи, – при правильном: Во время подготовки к перелету...*

Кроме того, отличие слов, выражающих субкатегориальные значения существительных, от других слов-заместителей выражается в различной способности к контактному/дистантному употреблению по отношению к замещаемым словам. “Настоящие” слова-заместители способны к дистантному по отношению к замещаемым словам употреблению в связном тексте, например: *Первыми прилетели грачи. Весна была холодной. Часто лили дожди. По утрам на траве лежал иней. И все же птицы поступали в соответствии со своим внутренним календарем: вили гнезда. Лучшее всего было наблюдать за ними в старом приусадебном парке. Птицы облюбовали здесь несколько деревьев, которые заселили в незапамятные времена.*

Слова широкой семантики, выражающие субкатегориальные значения существительных, не способны к дистантному употреблению по отношению к замещаемым словам, ср.: *Впервые в жизни я увидел северное сияние, когда мне исполнилось восемь лет. Праздновали мой день рождения и поздно вечером вышли на улицу проводить гостей. *Это явление потрясло меня. Все небо полыхало разноцветными отблесками. (При правильном: Впервые в жизни я увидел северное сияние, когда мне исполнилось восемь лет. Это явление*

п о т р я с л о м е н я). Слова широкой семантики замещают ближайшие к ним имена; ряд слов широкой семантики (*событие, факт, случай, происшествие, действие, процесс, состояние*) замещает не слова, а предложение, ср.: *По Ярославской области прошёл страшный ураган. Последствия этого события были катастрофическими; Весной принесли от нее письмо, и тихая радость охватила меня. Составляя это не покидало меня с этих пор ни на миг* По-видимому, слова *событие, действие* и др. из этого ряда являются классификаторами не имен, а глаголов – одни прямо соотносятся с классами глаголов З. Вендлера (действие – процесс–состояние); слова же *событие, случай, происшествие* коррелируют с различными подклассами такой категории глаголов, как “происшествие” в классификации Е.В. Падучевой.

2.3. ЗАМЕЩЕНИЕ И ДРУГИЕ (НЕ ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ) ТИПЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СЛОВАМИ

Замещение возможно не только при наличии гипо-гиперонимических связей между словами, но и при наличии некоторых других типов семантических отношений, в частности при синонимии (ср.: *Став машинисткой, я приобрела на вык печатания вслепую. Это у м е н и е я не потеряла и в старости*) и метонимии (*Мне нужно было полоскать горло р о м а ш к о й. Я чуть-чуть подогрел на с т о й к у*). Кроме того, замещение возможно и при наличии отношения “часть–целое” (*Я дотронулся до ее р у к и. П а л ь ц ы были совершенно холодными*).

Очевидно, что одного теста на замещение недостаточно для отбора слов, связанных отношением общего–частного. Необходима дополнительная система тестов, позволяющих отделить от общего числа слов, способных к замещению, слова, связанные отношениями синонимии, метонимии и части–целого.

По-видимому, тестом, позволяющим отделить отношение общего–частного от отношения синонимии может быть тест на возможность пермутации. Для слов, связанных отношением синонимии, порядок следования в связанном тексте безразличен, ср. допустимость изменения порядка следования синонимов в примере, приведенном выше: *Став машинисткой, я приобрела на вык печатания вслепую. У м е н и е это я сохранила на всю жизнь. – Став машинисткой, я приобрела у м е н е н и е печатать вслепую. Н а в ы к этот я сохранила на всю жизнь*.

Для слов, связанных отношением общего–частного, как уже указывалось выше, порядок следования жестко задан: вначале вводится слово частного значения, затем слово-заместитель более общего значения, например: *На ветке сидела с и н и ч к а. Время от времени п т и ч к а начинала громко щебетать*. При изменении порядка следования требуется ввести еще одно предложение, указывающее на принадлежность объекта классу, например. «*На ветке сидела небольшая п т и ч к а. Судя по желтой грудке и черненькой “шапочке” на головке, это была с и н и ц а. Время от времени п т и ч к а / с и н и ч к а начинала громко щебетать*»; *Невдалеке мы увидели з в е р ь. Когда мы подъехали ближе, оказалось, что это в о л к. З в е р ь / в о л к стоял совершенно неподвижно, как будто бы его нисколько не беспокоило наше приближение*.

Кроме того, для разграничения отношения общего–частного и отношения синонимии может быть использован тест на сочетаемость с местоимением *это*. При замене слова частного значения словом более общего значения допустимо, а иногда и обязательно местоимение *это* “см. подробнее об этом ниже), например: *Он всегда ходил в свободной, подпоясанной веревкой р у б а х е. Э т а о д е ж д а шла ему; Много лет назад на этой поляне были целые заросли р о м а ш е к. (Эти) ц в е т ы до сих пор росли здесь, но их стало значительно меньше*.

При синонимии употребление местоимения *это* недопустимо, ср.: *Нарушителя*

законов жизни города подвергли о с т р а к и з м у. *Этo из г н а н и е продолжалось три года.

В дополнение к сказанному можно отметить, что само по себе употребление синонимов в контактных предложениях связного текста воспринимается как стилистически неудачное, ср.: *Его повели в т ю р ь м у. О с т р о г был построен очень давно, стены его потемнели от дождей и ветров.* В то же время употребление в контактных предложениях слова частного, а затем слова общего значения вполне нормативно: *"И все же с а м о л е т Скелтона ветераны-балтийцы помнят. Испытал м а ш и н у в бою и при этом уничтожил фашистский транспорт, груженный военной техникой, Эрик Гентнер"* (Правда, 1985, 4 окт.); *"В Англии, правда, есть и свои любители у л и т о к, но их немного – в год здесь потребляют всего пять тонн этих м о л л ю с к о в"* (Наука и жизнь, 1987, № 8, с. 73); *"На карнизы садятся с и н и ц ы и заглядывают в окна, постукивают клювами по стеклу, смотря на меня черными бусинами. Пытаюсь глазами этих п т а ш е к сам посмотреть на себя и никак не могу увидеть"* (Г. Семенов. Ум лисицы).

Для разграничения замещения слов, связанных отношением метонимии, и замещения слов, связанных отношением общего-частного, можно использовать тест на сочетаемость слова-заместителя с замещаемым словом: *Мне нужно было полоскать горло р о м а ш к о й. Я приготовил н а с т о й к у р о м а ш к и сразу на несколько дней; Он откупорил б у т ы л к у. В и н о оказалось превосходным. – Он откупорил б у т ы л к у в и н а. В и н о оказалось превосходным.* Для слов, связанных отношением общего-частного, на сочетаемость слова частного и слова общего значения налагается запрет, ср.: *В соседнем саду росла развесистая л и п а. *Дерево липа! *Дерево липы летом заполняло сад совершенно необыкновенным ароматом цветения.*

Примечание. При первичном употреблении в тексте возможны словосочетания типа *птичка мухоловка, трава чебрец*. Отличие их от словосочетаний типа *настойка ромашки*, прежде всего в том, что видовое имя в них стоит в именительном падеже; кроме того, такие словосочетания возможны, как правило, только если реалия, обозначаемая видовым именем (*чебрец*), малоизвестна; в противном случае словосочетание воспринимается как отмеченное, сравни пример из известного стихотворения Н. Заболоцкого: *"Меркнут знаки Зодиака / Над просторами полей / Спит жи в о т н о е С о б а к а, / Дремлет п т и ц а В о р о б е й. ... Меркнут знаки Зодиака / Над постройками села, / Спит ж и в о т н о е С о б а к а, / Дремлет р ы б а К а м б а л а"*. (Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы)¹. Сравни также употребление словосочетания *болезнь мигрень* в явно яроническом контексте. *"Начальник районного отделения милиции Книшев, человек пожилой, многосемейный, страдавший дамской болезнью мигренью, любил приbedняться: "Мы люди маленькие, высокий замах не для нас. Пьяницу скрутить или жулика сцапать – вот наш скромный вклад в дело социализма"* (В. Тендряков. Параня).

Кроме того, при первичном употреблении в тексте возможны также сочетания имени более общего значения с именем более частного значения в родительном падеже, например, *куст черемухи/жасмина/сирени* и т.п. Однако, по-видимому, такие словосочетания ограничиваются списком слов, сочетающихся со словом *куст*.

Итак, для выявления пар слов, связанных отношением общего-частного в языке, помимо основного теста на способность слова к замещению словом более общего значения, должны использоваться дополнительные тесты на способность замещающего и замещаемого слова к пермутации, на сочетаемость замещающего слова с местоимением *это* и на сочетаемость замещающего и замещаемого слов в связном тексте. Эти дополнительные тесты позволяют отделить отношение общего-частного от других типов отношений, при которых также возможно замещение в связном тексте.

¹ Этот пример был подсказан автору С.И. Гиндиным.

3.0. ХАРАКТЕРИСТИКА СПИСКА СЛОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ СПОСОБНОСТИ ВСТУПАТЬ В ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕГО–ЧАСТНОГО

Для выявления пар или численно больших множеств слов, связанных отношением общего–частного, нами был проведен тест на способность к замещению в связном тексте случайной выборки слов из Словаря русского языка С.И. Ожегова (изд. 13-е). Анализировались слова с каждой десятой страницы словаря. Для каждого слова подбирались два таких предложения, которые допускали бы употребление слова более частного значения в первом предложении и более общего – во втором. При этом в качестве замещающего слова использовалось (если это было возможно) родовое имя из словарного толкования слова; в ряде случаев приходилось подбирать другое слово; наконец, встречались случаи, когда замещение не было возможно вообще. Для слов, допускающих замещение, были проведены дополнительные тесты, позволивших отделить группы слов, связанных отношениями нетаксономического типа (метонимическими, и отношениями “часть–целое”). В результате были получены два больших массива слов: слова, неспособные к замещению, т.е. не имеющие коррелятов более широкого значения, и слова, способные к замещению, т.е. вступающие с другими словами в отношения общего–частного.

3.1. СЛОВА, НЕСПОСОБНЫЕ К ЗАМЕЩЕНИЮ

Необходимо отметить, что способность/неспособность слова быть в отношении гипо-гиперонимии с другим словом может быть определена только при анализе употребления слова в связном тексте (даже если это, как в нашем случае, микротекст, состоящий из двух предложений). Словарная статья редко дает возможность определить реальность семантической связи гипонима и гиперонима в языке, так как в соответствии с лексикографической традицией почти во всех случаях в словарной дефиниции используется слово более широкой семантики (родовое имя, *genus*), чем толкуемое. Тестирование же часто показывает, что слово вообще не соотносится с другим словом более общего значения. Например, слово *улыбка* в словаре определяется через родовой термин “мимика”: *улыбка* – мимика лица, губ, глаз, показывающая расположение к смеху, выражающая привет, удовольствие, насмешку. Тем не менее, построить микротекст, в котором слово *улыбка* замещалось бы словом *мимика* невозможно: *На его лице появилась улыбка а.* **Мимика у заметили все, стоявшие рядом. От мимика всем стало сразу легче.*

Слово *чай* толкуется через родовое имя “напиток”: *чай* – напиток, настоенный на таких [высушенных и обработанных] листьях.

И в этом случае замещение в связном тексте невозможно: *Она налила мне чай* **Напиток был удивительно душистым.*

При тестировании иногда оказывается, что слово соотносится с иным, чем в словарной дефиниции, родовым именем. Например, слово *крем* толкуется в словаре через “кушанье”: *крем* – сладкое густое кушанье из взбитых сливок, масла с шоколадом, фруктовым соком и т.п.

Через “кушанье” определяется и слово *пельмени*: *пельмени* – кушанье – род маленьких пирожков из пресного теста с мясом, употребляются в вареном виде.

Тем не менее, в связном тексте ни слово *крем*, ни слово *пельмени* не могут быть заменены словом *кушанье*: *На третье подали крем с орехами.* **Кушанье вызвало всеобщий восторг.* Но: *Десерт вызвал всеобщий восторг; Наконец на стол поставили дымящуюся миску с пельменями.* **Это кушанье всегда удавалось Марине.* Но: *Это блюдо всегда удавалось Марине.*

Множество слов, неспособных к замещению в связном тексте – т.е. с нашей точки зрения, не вступающих в гипо-гиперонимические отношения, чрезвычайно разнообразно и плохо поддается обобщению. Попытаемся, хотя бы на разных основаниях, выделить отдельные группы этих слов.

3.1.1. ФОРМАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСПОСОБНОСТИ СЛОВ К ЗАМЕЩЕНИЮ

Замещение в связном тексте невозможно, если замещаемое и замещающее слово является однокоренными, например: *На заводе было по нескольку разнорабочих в каждом цеху. *Рабочие получали мало.* При таком употреблении в тексте однокоренных слов, даже если считать его допустимым с точки зрения нормы, второе предложение становится двусмысленным: неясно, кореферентны ли слова *разнорабочие* и *рабочие*, или же слово *рабочие* имеет собственный референт и обозначает всех рабочих завода (что представляется более вероятным).

Ниже следующие примеры иллюстрируют случаи абсолютной недопустимости употребления однокоренных замещающих и замечаемых слов в связном тексте: *В этом году участились случаи саможжения узбекских женщин. *Сожжения были формой протеста против тяжелейшего быта, непосильной физической и психической нагрузки.*

Примечание. Безусловно, в данном случае слово *саможжение* могло быть замещено словом *акт*: «Эти акты были формой протеста против тяжелейшего быта, непосильной физической и психической нагрузки». Однако слово *акт* относится к числу слов широкой семантики и поэтому не может считаться «настоящим» заместителем слова *саможжение*.

3.1.2. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОЧЕТАЕМОСТЬ

Можно выделить несколько семантических групп слов, не допускающих замещения в связном тексте. Прежде всего, это большая группа предикатных имен, в которую, в частности, входят предикатные имена людей. Неспособность предикатных имен к замещению – и, соответственно, их неспособность вступать в отношения общего–частного с другими словами – следствие их неспособности иметь конкретную референцию, сравни: **Я увидел дрянь.* Найти какое-либо предложение, в котором слово *дрянь* замещалось бы каким-нибудь другим словом, невозможно; скорее, возможны случаи, в которых слово *дрянь* само выступает как заместитель целого ряда других слов (является обобщающим словом, причем ведет себя как слово широкой семантики, замещая практически любой список слов). *В комнате на полу валялась всякая дрянь: окурки, наполовину исписанные листы, невымытые стаканы, бутылки с засохшей на их дне жидкостью.* Ср. также: **У нас работает дурак. Этот человек все понимает буквально.* Здесь недопустимо даже не само замещение, а прежде всего ненормативное употребление слова *дурак* (при нормальном *Он – к р у г л ы й д у р а к*) или *У нас на работе есть один человек, который все понимает буквально. Э тот дурак не воспринимает ни одной шутки).*

Примечание. Будучи помещенными в определенные условия, в которых эти слова теряют свой предикатный характер, они приобретают способность к замещению. В число таких условий входит введение слова в текст с помощью конструкции *Есть у нас.../Есть один... и т.п.*, например: *Есть у нас в институте один лицемер. Человек этот неспособен сказать правду в глаза даже тогда, когда это не грозит ему никакими неприятными последствиями; Есть у нас в городе одна красавица. Женщина эта даже не знает, что в нее влюблены все наши мужчины, начиная с безусых юнцов и кончая глубокими стариками.* Такой же эффект дает употребление слова и тексте в сочетании со словом *местный*: *За столиком в углу сидел местный завсегдай* (ср.: **За столиком в углу сидел завсегдай). Меня познакомили с местным шутником и т.п.*

В целом, имена людей настолько плохо приспособлены к замещению, что его результатом может быть разрыв анафорических связей в тексте, например: *На кафедре стоял проповедник. Мужчина был одет в серый костюм.* Существительные *мужчина* и *проповедник* воспринимаются как некорреферентные, а сами предложения – как принадлежащие, возможно, разным текстам.

К замещению неспособны многие названия артефактов, получающие в словаре энциклопедические определения. Особенностью энциклопедического определения, с нашей точки зрения, является его неструктурированность, отражающая, очевидно, характер самого артефакта или представления о нем. В энциклопедическом определении трудно выделить главную часть и дополняющие ее видовые признаки: фактически, энциклопедическое определение является перечислением признаков и часто требует при себе "картинки" – изображения референта, например: *оглобля* – одна из двух крупных жердей, укрепленных концами на передней оси экипажа и служащих для упряжки лошадей.

Для существительного, гребующего – в силу особенностей его референта – энциклопедического определения, невозможно найти такое родовое имя, которое служило бы его заместителем в связном тексте ср.: *Кучер нажал на оглоблю. *Жердь не выдержала тяжести и сломалась.* В этом случае второе предложение явно недопустимо. Возможен и другой случай, когда замена слова, имеющего в словаре энциклопедическое определение, дает отношение "часть–целое": *шпора* – изогнутая по форме каблука стальная дужка с колесиками на конце, прикрепляемая к сапогу всадника и служащая для понукания лошади

Он ударил лошадь шпорами. Стальные колесики буквально вонзились в ее бока; На бойцовых петухов набегают шпору. Стальные колесики грозят одному из противников смерти)

Замещения не допускают кванторные слова, например, *опивки* (раз.) – недоитые остатки чего-н. *Опивки сливали в лувши. *Остатки забирала тетя Валя.* Второе предложение допустимо лишь в том случае, если слова *опивки* и *остатки* воспринимаются как некорреферентные, т.е. если отвергается возможность восприятия слова *остатки* как замещающего слово *опивки*.

Еще один пример: *слиток* – застывший кусок расплавленного металла. *В тайнике у него было найдено несколько слитков серебра. *Куски оценили в пятнадцать тысяч рублей.*

В отношении частного–общего неспособны вступать слова, не являющиеся "чистыми" кванторами, но содержащие кванторы 'малый'/'большой' в своей семантике: *лавочка, лавка* – маленький магазин. *Мы зашли в лавку. *В магазине было совсем темно; монумент* – большой памятник. *На площади около нашего дома высится монумент. *Памятник поражает всех видящих его*

К этим существительным примыкают существительные, содержащие в своих значениях указание на "ранг" референта. Замещающие их слова воспринимаются как некорреферентные им: *метрантаж* – главный наборщик. *Подошел метранж. На борщик был чем-то озабочен.* Слова *метбантаж* и *натящик* воспринимаются как обозначения разных референтов и легко допускают смену позиций: *На борщик был чем-то озабочен. (К нему) Подошел метранж.* Подобный же пример представляет слово *метрдотель*: *метрдотель* – главный официант. *Метрдотель вышел в зал. В руках официанта было ведро.* В данном случае замещение настолько недопустимо, что нарушается не только корреферентность слов *метрдотель* и *официант*, но и сам текст воспринимается как несвязный.

Примечание. Замещение возможно для названий животных, в семантике которых есть квантор 'небольшой'. При этом в качестве замещающего используется слово в уменьшительной форме: *шниц* – небольшая комнатная собачка. *Молодая женщина вела шниц на поводке. Собачка то и дело забегала вперед, чтобы заглянуть хозяйке в глаза.*

Замещение не допускается релятивными именами, например: *Ко мне часто приходил дед (дядя) (брат).* *Этого родственника я очень любил

П р и м е ч а н и е. Если релятивное имя допускает переосмысление как обозначение возраста (или же связывается с определенными возрастными категориями), оно допускает замещение: *Ко мне приходил дед. Старика я очень любил.* Обозначения людей по их возрасту могут выступать в качестве замещающих слов и в других случаях, когда существительные, не являющиеся релятивными, ассоциируются с какой-либо возрастной категорией, например: *По улице шли находимовцы (суворовцы) пионеры. Подростки громко пели.* Однако можно сомневаться в том, что данное замещение является гипо-гиперонимическим. *Старики* не включают *дедов* как подкласс; *подростки* не делятся на *нахимовцев, суворовцев и пионеров*. Можно предположить, что наблюдаемое нами явление правильнее считать не замещением, но повтором на основе общих коннотативных компонентов.

3.1.3. ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ

Под прагматическими ограничениями на замещение мы понимаем ограничения, связанные с коннотативными или ассоциативными компонентами значения слова (ср. употребление термина “прагматический” в [23]). Этот тип ограничений представляется нам одним из самых интересных: прагматические ограничения на замещение позволяют в целом ряде случаев увидеть в семантике слова иногда неизвестные прежде компоненты.

Прежде всего, неспособность слова к замещению может быть связана с расхождением оценочных компонентов замещаемого и замещающего слова. Например *крем* (косметическая мазь) связано с положительным представлением о креме как о чем-то придающем коже свежесть, эластичность, упругость. В то же время слово *мазь* связано с представлением об аптечной мази, то есть о чем-то неприятном, имеющем отношение к болезни. Расхождение оценочных компонентов значения слов *крем* и *мазь* не позволяют сказать поэту *Я купила польский крем.* **У мази оказался очень приятный лимонный запах.*

Слово *бабочка* определяется в словаре через слово *насекомое*, однако расхождение коннотаций слов *бабочка* и *насекомое* делает текст, в котором *бабочка* замещалась бы *насекомым*, невозможным: *Над цветами порхала бабочка.* **Я давно пытался поймать на секомое, но мне это никак не удавалось.* Для носителей русского языка слово *бабочка* ассоциируется с представлением о чем-то красивом, изящном; *насекомое* – с представлением о чем-то неприятном, некрасивом и, возможно, опасном. Поэтому ни слово *бабочка*, ни вызывающее ряд положительных ассоциаций слово *стрекоза* не могут быть заменены словом *насекомое*, и, очевидно, не включаются носителями русского языка в класс насекомых.

При тексте на способность к замещению часто обнаруживаются скрытые компоненты значений слов, также служащие препятствием к включению слов в один класс.

Хотя слово *утка* так же, как слово *синица*, определяется в словаре через родовое имя *птица*, только *синица* может быть замещено словом *птица* (*птичка*) в связанном тексте. По-видимому, для носителя русского языка слово *птица* связано с представлением о способности летать (ср. поговорку *Курица не птица...*). Поэтому нельзя сказать *По двору ходили индюки.* **Время от времени птицы начинали издавать какие-то гортанные звуки; В неглубокой луже плавали утки.* **Птицы пытались нырять, но из этого ничего не выходило; Курица наша себе укромное местечко в кустарнике.* **Там птица клала яйца тайком от хозяйки.*

Слово *птенец* применяется только по отношению к потомству диких (не одомашненных) птиц: *Скоро кукушата подросли. Птенцы выбросили из гнезд детей своих приемных родителей.* Но: *Из яиц вылупились цыплята.* **Птенцы скоро научились собираться по зову хозяйки.*

Слово *инструмент* выступает в качестве заместителя только для слов, обозначающих такие предметы, с помощью которых можно производить какие-либо

активные действия, вызывающие изменения в объекте, к которому они прилагаются. Поэтому, хотя в словаре слово *тиски* определяется как инструмент для зажимания обрабатываемого предмета, неверно *Сын хочет получить в подарок т и с к и*. *Он уже придумал, где будет держать и н с т р у м е н т.

Понятие *прибор* включает представление о сложности устройства (наличии какого-либо механизма или шкалы). Поэтому *лот, драга, лаг*, которые определяются в словаре как приборы, не воспринимаются носителями языка как таковые, и не могут замещаться словом *прибор* в тексте, ср. *Он опустил лот в воду*. *П р и б о р показал глубину большую чем 20 метров.

Слово *изделие* способно замещать названия предметов сложной формы. Поэтому нельзя сказать *Завод выпускает проволоку*. *Его изделие пользуется большим спросом при правильном Недавно открылась фабрика, выпускающая ш л я п ы по французской лицензии. Ее из д е л и я пользуются большим спросом. По-видимому, это же правило действует и для различных видов выпечки: *ватрушки, пирожки, торты* и т.п. могут быть названы *изделиями*, а *блины, и оладьи* – нет.

3.2. СЛОВА, СПОСОБНЫЕ К ЗАМЕЩЕНИЮ

При использовании избранного нами метода диагностики отношений общезначительного существительные, способные к замещению, образуют небольшие классы (“микрочлаcсы”), например, *болезнь: золотуха, дифтерит, глаукома, ревматизм, ревмокардит, эпилепсия; врач: педиатр, хирург; войска: жандармерия; дорожка: трек; материал: кожа, огнеупоры, пенка, утеплитель; место: за́тишек, иконостас, лагерь, огнище, рубеж* и т.п. (первым в перечисленных группах стоит имя класса; после двосточия перечисляются члены класса, которые допускают замещение этим именем в тексте). Как видно уже из небольшого числа приведенных примеров, классы различаются количеством членов – от самых больших, таких, как *дерево* или *болезнь*, до минимальных, содержащих только один член, как *дорожка*. Наибольшее число членов включает такие классы, как *болезнь, вещество, дерево, животное, жидкость, звание, инструмент* (приспособление), *машина, место, народ, народность, наука, овощ, одежда, оружие, помещение, растение, специалист, ткань, устройство, ученый, учреждение, человек*. В предыдущей части работы отмечались сложности, связанные с замещением имен лиц словом *человек/люди*. Существуют, однако, группы имен лиц, легко допускающие замещение. Это, во-первых, названия лиц по роду занятий, замещающиеся словами *специалист, рабочий, ученый, врач, спортсмен*; во-вторых, это названия лиц по их болезням, замещающиеся словами *больной и пациент*, например: *В комнату вошел с и н о п т и к. С п е ц и а л и с т появился у нас недавно, до этого он работал в Ташкенте; В цеху остался только сл е с а р ь. Ра б о ч и й стоял в своей замасленной спецовке; А р а б и с т ы собирались по пятницам. У ч е н ы е подолгу рассуждали о высоких материях и пили чай; У нас в поликлинике прекрасный п е д и а т р. В р а ч умеет безошибочно поставить диагноз в самых сложных случаях; По телевизору показывали выступление известного прыгуна. Спортсмен не так давно перенес сложную операцию, но это не помешало его успеху; У меня на участке есть один тяжелый р е в м а т и к. Больного необходимо отправить в санаторий*. Можно предположить, правда, что легкость замещения этих имен лиц связана с тем, что классификация лиц по роду занятий, так же, как классификация по болезням, является вторичной, отражающей классификацию родов деятельности, научных дисциплин, профессий, видов спорта, болезней. Именно поэтому становится возможным замещение не словом *человек*, а словами *специалист, рабочий* и т.д.

Иными словами, в данном случае мы имеем дело не с классификацией имен лиц, но с классификацией иных категорий, спроецированной (наведенной) на лица.

Среди существительных, которые способны в связном тексте к замещению, т.е. способны вступать в отношения общего-частного, можно выделить различные группы во-первых, с точки зрения того, в конструкциях какого типа возможно замещение, а во-вторых, с точки зрения силы связи между замещаемым и замещающим словами. Эти две классификации лежат в различных плоскостях, и их результаты, по-видимому, не соотносятся друг с другом.

В то время как часть рассматриваемых существительных допускает замещение словами более общего значения в конструкциях любого типа, ряд существительных может замещаться только в предложениях, описывающих узуальные ситуации или в предложениях генерического, или гномического, типа, сообщающих какие-либо непреложные истины. И в том, и в другом случае и замещаемое, и замещающее имена не имеют конкретно-референтного статуса. Например, неверно: *Продавщица положила колбасу на весы. Перед этим прибор проверили в весовой.* Однако правильно: *Весы изобрели очень давно. Прибор был известен еще в древности.* Нельзя сказать: *Мне дали опять какую-то ужасную вилку. Этот столовый прибор совсем погнут.* Но можно: *Не так давно люди еще не знали, что такое вилка. Этот столовый прибор вошел в обиход только в прошлом веке.*

Замещение только в гномических предложениях допускают слова, входящие в классы (литературный) жанр, математическое понятие/величина, орган, покрытие, сплав, приспособление, свойство, состояние, спортивный снаряд, способ, устройство.

По типу связи с замещающими словами среди существительных, способных вступать в отношения общего-частного, выделяется группа имен, связанных более сильно и допускающих непосредственное замещение, как *абрикос*: *Я посадил в саду абрикос. Дерево росло быстро,* и группа имен, связанных более слабой связью, требующей при замещении дополнительного показателя кореферентности — местоимения *это*: *Он всегда ходил в блузе. Эта одежда не стесняла его; Абстракционизм подвергался нападкам с разных сторон. У этого направления искусства появились противники с первых же дней существования.* Сопоставление списков имен классов, полученных при тестировании, показывает, что более сильный тип связи характерен в большей степени для конкретных существительных, в частности для имен естественных родов; более слабый — для абстрактных существительных, однако жесткого соответствия между типом связи видového и родового имени и принадлежностью существительного к классу конкретных или абстрактных имен нет².

Кроме имен лиц, требующих замещения словами *человек/люди* в сочетании с указательным местоимением, употребления этого местоимения требуют существительные, замещающиеся именами и словосочетаниями *акт, вид восприятия, вид живописи, вид искусства, вид описания/изучения, время, время года, глагольная форма, головной убор, голос, грамматическая категория, деятельность, единица длины, занятие, звук, знак, знак препинания, знак отличия, количество жидкости и т.п.), манера поведения, мера, мера веса, местность, метод, момент, мировоззрение, навык, наглядное пособие, направление, направление искусства, направление исследований, наука, обозначение, оборот речи, образ жизни, одежда, орган, особенность, раздел/отрасль/направление физики/языкознания и т.п., отношение, отрасль промышленности, период, политика, покррой, положение, помещение, рассуждение/способ рассуждения, род литературных произведений,*

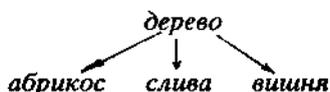
² Некоторые группы существительных, требующих обязательного употребления указательного местоимения в анафорических структурах, указаны в [24].

рыба, свойство, событие, состояние, способ, способность, средство, сторона, телодвижение, территория, уважение, умонастроение, форма правления, цена, часть чего-либо, черта характера, чувство.

Приведем для сравнения часть списка имен, которые связаны с замещаемыми словами более сильной связью, т.е. не требуют обязательного использования при замещении указательного местоимения: *артист, бабочка, блуза, блюдо, болезнь, больной, брус, буква, величина, ветер, вещество, вещьца, водка, водоем, водоросли, военный, воздержание, войска, волна, врач, время, газ, гнет, гриб, гудок, дар, движение, действие, дело (искусство), дело (занятие), дерево, десерт, деталь, дети, дисциплина (наука), договор, документ, должность, дорожка, доска, драгоценный металл, древние люди, еда, жанр, женщина, жетон, животное, жидкость, жилец, жилище* и т.п.

Помимо преобладания, как уже отмечалось, в списке слов, выполняющих функцию замещения только в сочетании с указательным местоимением, абстрактных существительных, обращает внимание большое количество в этом списке имен классов, не являющихся универбами. Во многих случаях такие сложные имена классов представляют сочетание обозначения какого-либо понятия с единицами деления этих понятий (*вид, манера, направление, раздел, отрасль* и т.п.).

Все классы, полученные нами в результате тестирования, обладают двуступенчатой структурой:



Можно попытаться построить еще одну ступень иерархии, подвергнув теперь полученные имена классов тесту на замещение. При этом оказывается, что нужно строить новые микротексты, в которых имя класса выступало бы только как имя частного значения. Лишь в редчайших случаях связный текст допускает употребление трех имен, последовательно замещающих друг друга: *Л а в р о в и ш н ю посадили в большой цветочный горшок. Д е р е в ц е прижилось хорошо. За ним ухаживали по всем правилам науки, и на третий год оно стало плодоносить. И листья, и ягоды р а с т е н и я были удивительно красивы.* Однако и в этом случае не вполне ясно, имеем мы дело с трехступенчатой иерархией:



или же с двумя двуступенчатыми при одновременном включении слова лавровишня в два класса:



Во-видимому, проблема глубины или сложности иерархий имен в языке требует дальнейшего изучения.

4. ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ ОБЩЕГО-ЧАСТНОГО

Полученный список групп имен, в каждой из которых существительные более частного значения подчинены существительным более высоких рангов абстракции, заставляет снова задаться вопросом, волнующим почти всех исследователей иерархических отношений в лексике, о котором мы писали в начале данной работы: тождественны ли отношения, существующие в каждой отдельно взятой группе между видовыми именами и родовым именем, стоящим в вершине? Иными словами, так ли соотносятся, скажем, *береза* и *дерево*, как *антоновка* и *яблоко*, *диван* и *стол*, или *отвертка* и *инструмент*?

В серии работ Гинзбурга-Крейдлина [12–15] с целью разграничения различных типов отношений между выше- и нижестоящими именами предлагалось использовать таксономические операторы — строевые элементы языка (каковыми считали их авторы); слова метаязыка, как представляется нам), указывающие в таксономическом предложении тип связи между именем объекта и именем класса, которому принадлежит объект: “вид”, “тип”, “род”, “элемент” и др. С этой точки зрения имена *береза* и *дерево* связаны одним типом отношений, так как могут быть употреблены в таксономическом предложении с оператором “порода”; *диван* и *мебель* и *отвертка* и *инструмент* представляют другой тип отношений, так как могут употребляться с оператором “вид”; а *антоновка* – *яблоко* – третий тип, так как допускают лишь оператор “сорт”, ср.:

Береза – п о р о д а (лиственных) деревьев

Диван – в и д мебели

Антоновка – с о р т яблок

При этом, по мысли Гинзбурга-Крейдлина, чтобы не просто разграничить различные типы иерархических отношений, но раскрыть суть различий между ними, одновременно раскрывая суть отношений между связанными подчинением именами, следует описать значение каждого из операторов. Процедура, предложенная авторами данной серии работ, позволяет построить сеть разнообразных таксономических отношений для многих, но не для всех единиц языка; неясно кроме того, являются ли в действительности установленные отношения естественно-языковыми (подробнее анализ данной точки зрения см. [17, с. 34], [1, с. 31–36]).

Специфицировать отношения между видовым именем и именем класса позволяет косвенным образом и База данных (БД) “Предметные имена” экспертной системы “Лексикограф” (см. [6]). Каждому имени в БД “Предметные имена” приписан, помимо имени класса, так называемый типичный предикат, при котором указывается, помимо данного имени, и другие его актанты. Так, и *нора* и *берлога* соотносятся в БД с именем класса “углубление” “Типичный предикат”, *берлоги* – *спать* [с 1-м (субъектным) актантом *медведь*] позволяет противопоставить ее *норе*, для которой “типичный предикат” – *жить*, а субъектные его актанты – *лиса*, *барсук* и др.; тем самым отношение “*нора* – *углубление*” может быть противопоставлено отношению “*берлога* – *углубление*” Неясно однако, является ли имя класса естественно-языковым или словом метаязыка, как устанавливается типичный предикат – характеризует он сочетаемость имени или же является метаязыковым, т.е. возникают выражения во многом, подобные тем, которые вызывали работы [13–15].

Представляется, что характер отношений между выше- и нижестоящим именем можно раскрыть через признаки, отличающие подчиненный терм от подчиняющего, используя при этом диагностические естественно-языковые контексты. Их роль могут сыграть контексты, в которых имя объекта является антецедентом имени класса с рестриктивным определением. Определение компенсирует разницу в семантическом объеме имени объекта и имени класса и выражает один из признаков, по которому данный и подобные ему объекты составляют подкласс данного класса:

Над поляной порхали о г н е в к и. Пестрые бабочки то на мгновение замирали на цветах, то вновь начинали свой танец.

В логических классификациях для объединения объектов в подкласс может использоваться более, чем один признак; однако в языке отнюдь не все признаки получают выражение. Более того, в классификации, осуществляемой естественным языком, могут использоваться вообще другие, “нелогические” признаки. Хотя *береза* отличается от других деревьев такими признаками, как наличие листьев (лиственное дерево, а не хвойное), их формой (сердцевидные) и цветом коры (белая), рестриктивные определения при слове *дерево*, antecedентом которого является слово *береза*, могут характеризовать только цвет ее ствола и общие очертания: *На краю леса стояла береза. Белоствольное стройное дерево казалось светящимся.*

Для некоторых имен объектов признаки, по которым осуществляется классификация, вообще не имеют выражения. Так, в языке не выражается различие между разными инструментами – *ланцетом, отверткой, ножом* и т.д. Выражается лишь противопоставление группы режущих инструментов в целом – группе нережущих (*дрель, сверло* и т.п.), так как имена режущих инструментов могут быть antecedентами слова *инструмент* с определениями *острый/тупой*, производными от функции “резать” (или от типичного “предиката использования” по Е.В. Рахилиной). Кроме того, все множество хирургических (или вообще медицинских) инструментов противопоставляется прочим инструментам по типу материала, из которого они изготовлены, ср.: *Врач разложил на полотенце блестящие инструменты.*

При этом для указания на особый тип металла, из которого делаются медицинские инструменты, используется его вторичный признак – внешний вид (цвет).

Логическая классификация предполагает разбиение множеств на подмножества, классов на подклассы по одному основанию. Исследуемые контексты свидетельствуют о существовании иных принципов классификации, при которой для разбиения множеств на подмножества используются разные признаки, причем они отбираются произвольно и напоминают метки или приметы, удобные для носителей языка: например, если *береза* выделяется по цвету ствола, то *дуб* – по форме кроны (*раскидистое дерево*); *мотоцикл* – по числу колес (*двухколесная машина*), а *жатка* и *комбайн* – по функции (*уборочные машины*). Таким образом, основанием для объединения в группу в естественном языке, отражающем наивное сознание, служит не логика рациональной (восходящей к Аристотелю) классификации, но “семейное сходство” (Витгенштейн). Возможно, что признаки, по которым выделяются “семьи” – это наиболее заметные для носителей языка признаки, которые в когнитивной психологии называются саллиентными, от англ. *salient* (как выдающаяся нижняя губа у представителей династии Габсбургов). Не случайно все или почти все эти признаки – внешние, воспринимаемые органами чувств человека.

В когнитивной психологии высказывается гипотеза о том, что для категоризации различных по своей природе объектов используются разные признаки: основанием для категоризации артефактов является функция, а для классификации представителей естественных родов – признаки, связанные с особенностями хромосомно-молекулярной структуры (размер, цвет, форма и т.д.). Предполагается, что это противопоставление универсально.

Диагностические контексты не подтверждают существования в языке полностью противопоставленных принципов категоризации артефактов и представителей естественных родов. При именах классов артефактов могут указываться такие признаки, как размер, цвет и форма: *Он был в с м о к и н г е. Черный облегающий с ю р т у к оттенял бледность его лица.*

В то же время при именах классов естественных родов может указываться такой признак, как вкусовые ощущения, что косвенно связано со съедобностью – функциональным признаком и с предикатом использования *есть*: *Анна клала в рот з е м л я н и к у. Сладкие я г о д ы окрасили ей губы.*

5. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Картина, полученная нами в результате диагностического определения способности слов вступать в отношения общего–частного, достаточно сложна. Как оказалось, часть слов вообще не входит ни в какие классы, часть включается в микроклассы, представляющие двуступенчатые иерархии. Включение слова в класс определяется тем, соответствует ли функционирование слова в тексте ряду правил: слова, способные к замещению именами классов, должны одновременно обладать способностью выступать в функции ремы в тексте, а замещающие их слова – в функции темы. Помимо этого, ряд слов способен выполнять функцию замещения только в сочетании с указательным местоимением. Таким образом, отношения общего–частного представляются прежде всего отношениями текстовыми и, соответственно языковыми, а не логическими. Насколько полученная нами картина универсальна, может показать сопоставление с классными системами других языков. Однако с уверенностью можно говорить об универсальности языковой природы этих отношений: "...пусть даже в основе классификации лежит понятийная группировка или метафизическое ранжирование окружающего мира, как иногда полагают, за каждой лексемой закреплен определенный показатель класса, превращающий ее в грамматический факт, локализованный в грамматическом пространстве, семантические признаки которого играют роль Декартовых координат. Классная принадлежность имени всегда является его постоянной характеристикой, которая по возможности должна иметь эксплицитное выражение в структуре предложения" [26].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фрумкина Р.М. Семантика и категоризация. М., 1991. Гл. 3.
2. Михеев А.В. Структура концептуальных классов и работы Э. Рош // Экспериментальные методы в психолингвистике. М., 1987. С. 45–46.
3. Фрумкина Р.М., Мостовая А.Д. Семантические отношения на именах конкретной лексики: опыт описания // Экспериментальные методы в психолингвистике. М., 1987. С. 89.
4. Рюмина Н.А. Изучение семантики "конкретной" лексики психолингвистическими методами. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1975.
5. Никитина С.Е. Устная и народная культура и языковое сознание. М., 1993. С. 82.
6. Красильщик С.И., Рахилина Е.И. Предметные имена в системе "Лексикограф" // НТИ. Сер. 2. М., 1992. № 9.
7. Фрумкина Р.М. Концептуальный анализ с точки зрения лингвиста и психолога (концепт, категория, прототип) // НТИ. Сер. 2. М., 1992. № 3. С. 5.
8. Лебедева Л.Б. Типы семантических связей слов в современном английском языке (антонимия, синонимия, гипонимия). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1977.
9. Raparaj V.C. Word expert semantics. An interlingual knowledge-based approach. Dordrecht: Reverton, 1986.
10. Степанов Ю.С. Иерархия имен и ранги субъектов // ИАН СЛЯ. 1979. № 4.
11. Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей "Смысл – текст". Семантика, синтаксис. М., 1974.
12. Кириченко Н.Л. Включение – один из видов связи объектов в тексте // Семиотика и информатика. Вып. 2. М., 1971.
13. Гинзбург Е.Л., Крейдлин Г.Е. Родо-видовые отношения в языке (таксономические операторы) // НТИ. Сер. 2. М., 1982. № 8.
14. Гинзбург Е.Л., Крейдлин Г.Е. Родо-видовые отношения в языке (лексические и семантические варианты видовых операторов) // НТИ. Сер. 2. 1982. М., № 10.
15. Гинзбург Е.Л., Крейдлин Г.Е. Родо-видовые отношения в языке (словообразование, таксономия и оценка) // НТИ. Сер. 2. М., 1993. № 11.
16. Русская разговорная речь. Тексты / Под ред. Земской Е.А., Капанадзе Л.А. М., 1978.
17. Розина Р.И. Таксономические отношения в лексике (таксономическое предложение как диагностическая конструкция) // НТИ. Сер. 2. М., 1984. № 10.
18. Падучева Е.В., Успенский В.А. Подлежащее или сказуемое? (Семантический критерий различения подлежащего и сказуемого в биноминативных предложениях) // ИАН СЛЯ. 1979. № 4.

19. *Саввина Е.Н., Кодзасов С.В.* Общие свойства сочинительных конструкций // Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах. М., 1987.
20. *Розина Р.И.* Союз как идентификатор семантического класса // Семантика служебных слов. Пермь, 1983.
21. *Степанов Ю.С.* Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981. С. 67-71.
22. *Борщев В.Б., Кнорина Л.В.* Типы реалий и их языковое восприятие // Вопросы кибернетики: язык логики и логика языка. М., 1990.
23. *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика. М., 1974. С. 68.
24. *Головачева А.В.* Идентификация и индивидуализация в анафорических структурах // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
25. Морфонология и морфология классов в языках Африки. М., 1979. С. 107.

© 1994 г. И.Г. РУЗИН

КОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ИМЕНОВАНИЯ: МОДУСЫ ПЕРЦЕПЦИИ (ЗРЕНИЕ, СЛУХ, ОСЯЗАНИЕ, ОБОНЯНИЕ, ВКУС) И ИХ ВЫРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ*

Окружающий человека мир может быть описан на нескольких уровнях:

1) на физико-математическом уровне: абстрактно-объективная реальность, описываемая в терминах физики и математики (точка, прямая, плоскость, движение, тело, скорость и т.д.) при игнорировании взаимоотношений воспринимающего и воспринимаемого – мир неодушевленных вещей;

2) на экологическом уровне: мир, опосредованный жизнедеятельностью, мир иерархизированный и аксеологизированный, в котором вещи и явления представляют определенную иерархию значений и ценностей – мир живых существ. При описании мира на экологическом уровне прежде всего необходимо определить, что может, а что не может восприниматься. "Органы чувств животных, то есть воспринимающие системы не способны обнаружить атомы и галактики, но в пределах доступного им эти воспринимающие системы способны обнаружить определенный круг предметов и событий" [1, С. 35]. Таким образом, экологический мир является лишь частью физического мира, так как живым существом воспринимается лишь то, что для него так или иначе значимо;

3) на языковом уровне: мир, опосредованный еще и языковым сознанием, в котором к ограничениям, налагаемым восприятием, добавляются ограничения, обусловленные закономерностями языка. Для описания мира на этом уровне прежде всего необходимо определить, что из воспринимаемого мира может выражаться в языке, и каким закономерностям это выражение подчиняется.

Итак, тема данной работы: определить, что из воспринимаемого мира может выражаться в языке, и каким закономерностям это выражение подчиняется. Для исследования выбираются аспекты, относящиеся к восприятию окружающего мира с помощью пяти внешних органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Мы определяем это как *п е р ц е п т и в н ы е* модусы, или *м о д у с ы* *п е р ц е п ц и и*. Кроме этого мы выделяем в зрении несколько субмодусов: восприятие света, цвета, формы и размера, исключая из рассмотрения "внеобъектные" визуальные характеристики – положение в пространстве и пространственное перемещение (следует отметить, что перечисленными субмодусами визуальное восприятие отнюдь не исчерпывается). Вслед за большинством современных психологов мы сужаем и понятие тактильности, ограничивая его восприятием качества поверхности и консистенции и исключая из него характеристики температуры и массы [2-4].

Исследование проводится на материале русского языка. В настоящей статье мы попытаемся описать, что и как лексикализует язык, т.е. для обозначения каких понятий и по каким принципам создаются специальные лексические единицы. Мы попробуем построить, с одной стороны, картину того, как отображается воспринимаемый мир русским языковым сознанием, а с другой – модель исследовательского

* Настоящая работа выполнена в рамках исследовательского проекта "Язык и знания. Когнитивные исследования" (руководитель акад. Ю.С. Степанов), финансируемого Институтом языкознания РАН и Российским фондом фундаментальных исследований.

процесса. Это даст в дальнейшем возможность установить, какие из закономерностей, выявленных в результате исследования, универсальны, а какие характерны лишь для русского языка.

В данной работе описывается лишь один из аспектов этой огромной темы, а именно: специфика выражения в языке статического, или характеризующего признака (терминология наша. — И.Р.). В русском языке этот признак выражается прилагательным: *красное яблоко, громкий крик, сладкий пряник* и т.д.

Перед тем, как перейти к анализу материала, обозначим некоторые принимаемые в работе допущения. Во-первых, мы употребляем термин "именовать" в достаточно широком смысле, относя его не только к существительным, но и прилагательным и глаголам. Как указывал акад. Виноградов, "всем этим словам присуща номинативная функция. Они отражают и воплощают в своей структуре предметы, процессы, качества..." [5, С. 34].

Во-вторых, анализируя особенности атрибутов, мы исключаем из рассмотрения все их неперцептивные значения и употребления. Таким образом, мы не рассматриваем сочетания типа *черная работа, сладкий сон, ясный ум* и другие, не имеющие непосредственного отношения к перцепции.

Существует ряд параметров, общих для перцептивных модусов и специфически преломляющихся в каждом из них. К их описанию мы и переходим.

Рассмотрим несколько словосочетаний:

- | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| а) <i>черный уголь</i> | б) <i>большое яблоко</i> | в) <i>монотонный плач</i> |
| <i>черный хлеб</i> | <i>большой дом</i> | <i>монотонное бормотание.</i> |

На основе этих примеров можно выделить три типа атрибутов, отличающихся друг от друга положением когнитивной точки референции. Для цвета точкой отсчета служит некий "максимум цвета", некий "эталон черноты" (допустим, цвет сажи или угля). Для второй пары признаков подобной точкой отсчета выступает не максимум, а медиум, т.е. некая норма, от которой отсчет идет в обе стороны: яблоко или дом средних размеров. В третьем же случае значение слова определяется иначе: мы не можем задать эталон монотонности (максимально монотонный звук) и в то же время, вряд ли можно признать когнитивной точкой референции некий "медиум" монотонности (среднюю монотонность).

На основе данного критерия мы противопоставляем три типа перцептивных атрибутов, условно называя первые (а) эталонными, вторые (б) — градуальными и оставляя третьи (в) без специального названия. Естественно, что поскольку язык представляет собой принципиально нежесткую, динамическую систему, имеется достаточное количество переходных единиц.

1. ЭТАЛОННЫЕ АТРИБУТЫ

Итак, для нашего противопоставления эталонных атрибутов градуальным важна именно когнитивная точка отсчета — максимум у эталонных и медиум у градуальных. Все остальные особенности пока выступают менее значимыми. Мы рассматриваем, например, *черный* и *белый* не как градуальные, а как эталонные атрибуты, и этому никак не мешает наличие слова *серый* (хотя следует все же отметить, что эталонность этих двух цветов менее очевидна, чем всех остальных). Главное то, что можно задать эталон цвета: идеально черный или белый цвет, позволяющий при описании значения слов *черный* или *белый* не обращаться к их взаимному противопоставлению.

Эталонные атрибуты, в свою очередь, подразделяются на два типа в зависимости от способа выражения эталона: а) эталон может быть задан самой внутренней формой слова: *лимонный цвет, атласная бумага, хвойный запах* и т.д.; б) эталон может быть задан вне слова. В этом случае внутренняя форма не указывает на объект, модусный признак которого выступает эталоном, но тем не менее языковое

сознание соотносит атрибут с определенным объектом: *черный* – "цвет угля", *кислый* – "вкус лимона" и т.д.

Обозначим условно первые атрибуты как денотатные, а вторые, соответственно, как неденотатные.

Начнем с анализа того, насколько характерны эталонные атрибуты для перцептивных модусов, каковы их специфические особенности в отдельных модусах, а также какого рода объекты могут выступать в качестве эталонов в различных перцептивных модусах.

1. Цвет.

Цвет – возможно, самое ясное визуальное качество, воспринимаемое человеком и имеющее для него первостепенное значение. Мы принимаем решение относительно цвета, когда выбираем, какую одежду носить, когда украшаем комнату, красим дом или избираем цвет новой машины [6, с. 112].

Вероятно, поэтому цвет привлекал столь пристальное внимание исследователей во всех областях науки. Существуют разработанные классификации цветов, построенные на самых различных принципах [7; 8] детально исследованы параметры цвета с физической и психологической точек зрения [9; 6]. Столь же широкий интерес к этому вопросу проявляет и лингвистика: написано много работ, посвященных самым различным аспектам данной темы [10–12]. Таким образом, материал исследован достаточно полно. Мы не претендуем на какие-либо открытия в этой области и лишь рассматриваем весь материал в несколько ином ракурсе, а именно, сопоставляя его с атрибутами других перцептивных модусов.

Цвет, вероятно, один из наиболее "эталонных" модусов: трудно определить цвет, не используя образцов, поскольку восприятие цвета есть "индивидуальный опыт" [6, с. 134]. Р.М. Фрумкина отмечает, что существует два способа толкования "имен цвета": указание типичного объекта, имеющего данный цвет, и толкование одних имен цвета через другие [10, с. 17]. Тем не менее, все цвета, в принципе, имеют прототипические эталоны: как денотатные, так и неденотатные (*вишневый цвет* – "цвет вишни", *красный* – "цвет крови", *белый* – "цвет снега или мела"). Даже когда значение цвета определяется словарной традицией, а, возможно, и языковым сознанием через другие цвета, в любом случае остается возможность задания эталона: *вишневый* – "темно-красный густого тона" и в то же время – "цвет спелой вишни".

Ряд прилагательных несет значение цвета непосредственно (*красный, синий, желтый* и др.), однако большинство атрибутов выражают этот признак как относительный [5, 158]. Абсолютное большинство цветов денотатно. Основные эталонные объекты распределяются по следующим типам: а) камни: *изумрудный, рубиновый*, б) растения: *лимонный, сиреневый*; в) металлы: *медный, серебряный*; г) животные: *мышинный, тигровый*; д) прочие: *дымчатый, пепельный*. Интересно отметить такой момент: круг именных основ (т.е. эталонов) менялся в истории языка. Как указывает В.В. Виноградов, для древнерусского языка были характерны такие прилагательные цвета, как *жаркий, крапивный, маковый, осиновый, сливовый, смородиновый* и др. [5, с. 159].

Денотатные атрибуты цвета чрезвычайно легко экстраполируются на всевозможные объекты. Основное поле приложения цветовых атрибутов – обозначение цвета различных артефактов: машин, одежды, ковров, книжных переплетов и т.д. Здесь сфера применения атрибута ограничивается лишь реальной близостью цветов.

2. Форма.

В отличие от психологически элементарного цвета, форма представляет собой комплексное образование. По общепринятому мнению психологов, "восприятие формы включает оперирование более элементарными единицами" [13, с. 219]. Лингвистически категория формы намного более расплывчата и менее определена, чем категория цвета. В большинстве случаев почти не возникает вопрос (при знании значения слова и контекста) о том, является то или иное прилагательное

обозначением именно цвета или нет. Тогда как в случае с формой существует достаточная неопределенность в отнесении того или иного слова к параметру формы. Скажем, *скрюченный, витой, вьющийся, квадратный, воронкообразный* и т.д. все же представляют собой менее однородное целое, чем обозначения цветов, и в ряде случаев лишь с оговорками могут быть отнесены к категории именно формы.

Большинство атрибутов, традиционно причисляемых к категории формы, эталонны, и эталон задан первичным денотатом. Достаточно четко противопоставляются два типа денотанов: а) геометрические фигуры и тела: *квадрат – квадратный, конус – конический*; б) негеометрические объекты: *серп – серповидный, яйцо – яйцеобразный*.

В отличие от денотатов цвета, денотаты формы не поддаются столь четкой классификации. Разнообразие эталонных объектов огромно: рог, серп, пирамида, яйцо, волна, игла и т.д.

Тем не менее, какие-то закономерности могут быть выделены и здесь. Так же, как и в предыдущем разделе, мы рассмотрим вопрос с двух точек зрения: чему уподобляется форма объектов, с одной стороны, а с другой – какого рода объекты могут быть уподоблены эталонным формам.

Чему могут быть уподоблены объекты? Во-первых, геометрическим телам и фигурам: *конусообразный купол, шаровидная крона дерева* и т.д. В данном случае сравнение, очевидно, необратимо, а сравниваемые члены – неравноправны. Геометрические тела и фигуры заданы абсолютно, на основе четких правил и определений. Это абстракции. Следовательно, они являются предельным (идеальным) приближением к эталону. Естественно, что в таком случае они сами ничему уподобляться не могут: ср. *' куполообразный конус, ' пальчатый цилиндр* и т.д.

Во-вторых, одни объекты могут быть уподоблены другим реальным объектам. Этот континуум сравниваемых форм и форм для сравнения достаточно нечеток и вариативен. Возможно, что формы предметов, выступающих эталонами, в этом отношении более маркированы и специфичны, чем уподобляемые: с одной стороны, яйцо, груша, рог, шатер, нить, лист, червь и т.д., обладающие достаточно характерной формой, с другой – кактус, бактерия, голова, облако, купол, сопка, кровля, след, мост, брови и т.д., большинство из которых не имеют специфической, а иногда и определенной формы (ср. возможность абсолютно разной формы облаков, следа, снега, моста, крыши и т.д.). Некоторые объекты могут выступать в одних случаях как объект для сравнения (*лист в о е железо*), а в других – как сравниваемый объект (перыстые *л и с т ь я*). Одной из причин этого выступает уже отмеченный выше неэлементарный характер форм.

Различие геометрических и негеометрических атрибутов не ограничивается лишь рассмотренным выше. Характер уподобления геометрическим и негеометрическим формам различен. Первые могут обозначать как полное подобие эталону (*квадратный стол, пирамидальное строение*), так и различные приближения к нему (*квадратные плечи, пирамидальный тополь*). В этом они сходны с неденотатными цветами, большинство из которых также обозначают и полное тождество эталону (*белый снег, красная кровь*), и лишь подобие ему (*белое вино, красное лицо*). Таким образом, само слово не указывает нам на степень аппроксимации, это значение извлекается лишь из словосочетания.

Атрибуты, ориентированные на реальные объекты, в этом плане несколько отличаются: уже в самом атрибуте содержится указание лишь на подобие, а не на тождественность. Если слово *квадратный* означает в идеале "имеющий форму квадрата", то слово *иглообразный* указывает лишь на подобие формы, а не на тождество; уже само слово означает "подобный, приближающийся к форме предмета, обозначенного корнем слова". Таким образом, первые атрибуты могут употребляться как в абсолютном, так и в аппроксимальном значении, тогда как вторые – только в аппроксимальном.

Интересно, что пространственные, а не плоскостные, геометрические формы в этом отношении амбивалентны: *конический* и *шарообразный (сферический)* так же, как и *квадратный*, могут означать идеальное приближение; но уже *конусообразный, шаровидный (сфероидальный)* указывает лишь на подобие.

Геометрические плоскостные признаки имеют одну особенность: они очень часто соотносятся с пространственными объектами (*квадратные плечи, круглая голова*). Как кажется, в данном случае аппроксимация относится не собственно к форме объекта, а к форме проекции этого объекта на плоскость (яначе в строгом смысле употребление этих атрибутов незаконно).

Неденотатные цвета и геометрические формы обнаруживают скорее сходство между собой, чем различие. В то же время формы второго типа и денотатные цвета во многом отличаются. Производные цвета, в отличие от формы, допускают значительно меньшее отступление от эталона: если *древовидный* может лишь весьма отдаленно напоминать дерево, то *изумрудный* не должен выходить за весьма узкие рамки.

О чем это говорят? Вероятно, о том, что цветовой континуум поделен гораздо детальней и избыточней, чем континуум формы. В принципе, любой цвет можно описать как оттенок основного или комбинацию основных [8], тогда как остальные цвета во многом факультативны. В противоположность этому геометрическая форма отнюдь не исчерпывает возможный континуум и все многообразие форм к ней отнюдь не сводится. Следовательно, в мире формы гораздо больше пустот и, следовательно, большая степень свободы уподобления.

3. Тактильность.

Данный модус, вероятно, представляется языковому сознанию еще более размытым, чем форма. В обычном языке даже подобрать слова, чтобы назвать параметр, под который подводится ряд перцептивных признаков, можно с трудом. Их приходится заимствовать из подязыков науки и определять тактильные атрибуты как относящиеся к восприятию качества поверхности и консистенции.

С помощью кожной рецепции человек познает широкий круг качеств предметов: гладкость, упругость, влажность, масляничность и т.д. Субъективные образы этих свойств далеко не всегда могут быть представлены как разновидности элементарных кожных ощущений: прикосновения, давления, тепла, холода, боли и т.д. В психологии имеется еще мало данных, раскрывающих условия формирования отражения перечисленных свойств [2, с. 209]. Возможно, причиной такой неопределенности является то, что в кожной перцепции главным выступает принцип не модальности, а топографии.

Большинство тактильных атрибутов не-эталонны (*мягкий, гладкий, зарубелый* и т.д.). Однако есть и ряд эталонных. Все они денотатные, т.е. эталонный объект задан самой внутренней формой слова. Качество поверхности характеризуется прилагательными *атласный, бархатный, шелковый, восковой, пергаментный*, консистенции – *мочалистый, губчатый, студенистый, маслястый, желеобразный, творожистый, воздушный, пружинистый*. От этих слов следует отличать слова типа *ноздреватый, ячеистый, нещеристый* и некоторые другие, имеющие значение не "подобный по консистенции/качеству поверхности", а "обильный чем-либо", "состоящий из чего-либо".

Возможно, приведенный список не полон, тем не менее, значительно большая бедность данного модуса эталонными атрибутами по сравнению с модусами цвета и формы очевидна. Интересно отметить и весьма ограниченную употребимость подобного рода атрибутов. Так, ряд слов дан в четырехтомном словаре русского языка [14] без обычных для его статей примеров из произведений художественной литературы. Приведены просто вне контекста атрибутивные словосочетания: *творожистая масса, жележный мармелад, тестообразная глина*. Вероятно, подобного рода прилагательные тяготеют к специально-научным терминам типа *гелеобразный*,

газообразный, зольвидный. Для других эталонных тактильных атрибутов сфера приложимости также значительно уже, чем у атрибутов цвета или формы. Часто они входят в устойчивые словосочетания: *шелковая трава, атласная бумага, пергаментная кожа* и т.д.

4. Вкус.

Цвет и форма представляют собой классический пример эталонных атрибутов. В остальных модусах чистота картины нарушена. Мы видели, что в тактильности доля денотатных (эталонных) атрибутов невелика, а их сочетаемость (экстраполируемость) весьма ограничена. Несколько по-иному проявляются эталонные атрибуты у вкуса. Чрезвычайно примечателен тот факт, что вкус вообще традиционно считается периферийной перцепцией. В психологии выходят тысячи работ, посвященных зрению и слуху, работы же по природе вкуса исчисляются десятками. В фундаментальной монографии Е. Голдштейна "Ощущение и восприятие" анализу вкуса уделено лишь 7 страниц [6 с. 422–429]. Неизвестно, насколько неразработанность этой проблемы определяется недостатком интереса к ней, а насколько — неясным характером самой перцепции. Так, до сих пор психологам неизвестно, как именно химическая стимуляция органов вкуса преобразуется в электрические сигналы, поступающие в мозг [6, с. 27]. Неясна также локализация центров восприятия вкуса в коре головного мозга [6, с. 32].

Столь же неопределенным является статус вкусовых атрибутов и в языке. Для своего описания вкус имеет намного меньше слов, чем другие модусы. Все многообразие вкусовых ощущений передается не с помощью прилагательных, а так называемым "родительным качеством". Как указывает акад. Виноградов, "в широком употреблении этого родительного качества рельефно выступает тенденция заменить определение указанием отношения определяемого к тому отвлеченному представлению, с которым связывается представление о тех или иных качествах [5, с. 159]. Намного привычней звучат фразы типа *этот вкус напоминает вкус яблока, груши, свинины, кофе, апельсина*, чем аналогичные *этот вкус напоминает яблочный, грушевый, свиной, кофейный, апельсиновый*. Несогласованные атрибуты есть и в модусах цвета и формы, но там они, по крайней мере, не исключают разветвленную сеть атрибутов-прилагательных.

Как кажется, это должно быть чем-то обусловлено: почему атрибуты остальных модусов преимущественно обозначаются прилагательными, а вкус нет? Возможно, это лишний раз подтверждает идею психологов о его периферийном характере и меньшем значении для жизнедеятельности человека. Следствием данного факта является его меньшая структурированность и оформленность в языке: язык не нуждается в лексикализации ряда периферийных понятий, а предпочитает конструировать их по мере необходимости.

Тем не менее, существует ряд прилагательных, четко соотносимых с модусом вкуса. В своем большинстве они эталонны. Интересно, что в отличие от атрибутов формы и тактильности, эталонные атрибуты вкуса включают как денотатные, так и неденотатные. Основные эталонные атрибуты определяются словарем через вкус эталонного объекта: *сладкий* — "подобный вкусу сахара", *кислый* — "подобный вкусу лимона".

Эталоны вкуса (как, впрочем, и цвета) различаются по языкам. Например, эталоном *горького* выступает для русского языка — полынь, хина, для литовского — перец, для английского — корка апельсина, кофейный осадок [15]. Чрезвычайно примечательным представляется тот факт, что основные вкусовые атрибуты, выделяемые языком, ложатся в основу классификации вкуса в психологии. Почти во всех предлагаемых списках основными оказываются сладкий, горький, кислый, соленый (их выделял еще Аристотель, добавляя вяжущий, резкий, острый). Иногда к четырем основным вкусам добавляется вкус пресной воды [6, с. 426].

Неденотатные вкусовые атрибуты во многом подобны неденотатным цветам: они

имеют чрезвычайно высокую сочетаемость (и, следовательно, возможность экстраполяции) и могут означать как эталон, так и весьма отдаленные приближения к нему: *сладкий сахар – сладкий перец*.

Несмотря на то, что основные вкусовые ощущения передаются в языке не прилагательными, а родительным качества, все же ряд полуузуальных денотатных атрибутов существует. Возможности их сочетаемости (экстраполяции) не до конца понятны.

Объекты, обладающие вкусом, достаточно четко подразделяются на съедобные и несъедобные. Представляется интересным то, что язык специально лексикализует именно атрибуты, соотносимые с несъедобными объектами: *металлический вкус, деревянистый вкус* и т.д.

Еще одну интересную проблему образования и употребления прилагательных вкуса ставит развитие пищевой промышленности. Для русского языка это относительно новое явление, так как только последние несколько лет для массового потребителя стали доступны искусственные пищевые (вкусовые) продукты: *кремы, мороженое, ликеры, жевательная резинка* и т.д. Неизвестно, насколько это распространено в литературном языке (из-за значительных трудностей определения самого понятия в сегодняшней ситуации), но в разговорном языке намечается довольно широкая тенденция употребления прилагательных для описания искусственно создаваемых вкусов. Часто можно услышать *шоколадный вкус ликера, клубничный вкус крема*.

Запах.

Запах очень часто рассматривают в паре со вкусом. Они достаточно тесно связаны и в сознании человека, и в психологических исследованиях. Они в равной мере подвергаются исследовательской дискриминации и их природа в равной мере остается недостаточно ясной. Расположение центров запаха в коре головного мозга так же, как и центров вкуса, неизвестно [6, с. 32].

В языке атрибуты запаха тоже имеют много общего с атрибутами вкуса. Однако, это касается только денотатных прилагательных. В отличие от вкуса, большинство атрибутов запаха не-эталонны: трудно подобрать эталон для *смадного, душистого, ароматного, стойкого* запахов. Все эталонные атрибуты запаха денотатны.

Здесь, так же как и в случае со вкусом, представляется примечательным то, что неясности, возникающие при попытке описать атрибуты запаха в языке, во многом сходны с проблемами, стоящими перед психологами. Дж. Десор указывает, что при идентификации запахов трудности возникают не столько из-за несовершенства обонятельной системы человека, (которая на самом деле весьма совершенна [16]), сколько из-за трудности извлечения названий запахов из памяти [17]. Но почему извлечь название запаха из памяти труднее, чем, скажем, цвета? Возможно, в данном случае проблемы лингвистики и психологии восприятия пересекаются теснее, чем где бы то ни было.

В отличие от достаточно единодушного выделения основных вкусовых признаков, общепринятой классификации запахов не существует. Как указывает Е. Голдштейн, "существуют тысячи запахов, которые мы не можем описать из-за отсутствия обозначений" [6, с. 143]. Но, может быть, здесь переставлены местами причина и следствие? Можно ведь описать "тысячи вкусов", используя имеющиеся в естественном (а не научном) языке обозначения. Возможно, столь большая лингвистическая нечеткость и расплывчатость данного модуса к какой-то мере определяется и экстралингвистическими параметрами? Как отмечает тот же ученый, "результаты экспериментов указывают на значительно более диффузный способ кодирования сигналов в обонятельной системе, чем в других сенсорных системах" [6, 421].

Денотатные атрибуты запаха обладают рядом особенностей, не характерных для денотатных атрибутов вышерассмотренных модусов. Во-первых, в отличие от всех

рассмотренных ранее атрибутов, запах наименее объектен: цвет, форма, тактильные параметры, вкус локализованы в определенном теле. У запаха же очень часто в роли объекта выступает локус: *В комнате стоял хвойный/фиалковый/ландышевый запах*. Это влияет на природу его атрибутов: если денотатные атрибуты трех предыдущих модусов обозначали подобие однопорядковых параметров сравниваемого объекта и эталона, то атрибуты запаха могут характеризовать и сам источник запаха. Когда мы говорим *Я чувствую запах кофе*, то вполне правомерно предположить, что источником этого запаха и окажется сам кофе. В то же время труднее представить фразу *Это предмет лимонного цвета*, сказанную применительно к самому лимону.

Так же интересен вопрос о влиянии на формировании прилагательных запаха развития парфюмерной промышленности. Сошлемся опять на исследования психологов. Они отмечают, что в последнее время наблюдается значительное увеличение использования искусственных запахов: духи, одеколоны, лосьоны, шампуни, мыло и т.д. Апофеозом этого явился выпуск фирмой Aroma Disc System системы, извлекающей пахучие вещества из специальных дисков и за одну-две минуты наполняющей комнату выбранным ароматом [6, с. 417].

Возрастание роли искусственных запахов в какой-то мере отражается и на языке: лексикализуются и все больше смещаются в разряд эталонных названия многих естественных запахов (*хвойный, миндальный, ландышевый, яблоневый* и т.д.). Этим усиливается граница между атрибутами, тяготеющими к значению "подобный запаху X" (т.е. типично эталонными), и атрибутами "издаваемый X-м": *гнилостный, тленный, плесенный*. Интересно, что последнее значение гораздо ярче у запахов, воспринимаемых как негативные, и потому немоделируемых.

На примере атрибутов вкуса и запаха небезынтересно наблюдать процесс превращения относительных прилагательных в качественные. Поскольку эти два модуса имеют лишь незначительное количество качественных прилагательных, применительно к ним часто используются прилагательные относительные. В предложении *В кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из утиных, гусиных и других запахов* (цит. по [18]) прилагательные *утиный, гусиный* выступают как относительные. "Однако по мере того, как связь относительного прилагательного с его первообразным существительным становится все более и более отдаленной, увеличивается его отвлеченность, безотносительность, качественность, ибо качественность прилагательного есть лишь другое имя его безотносительности" [19, с. 527]. Процесс дифференциации качественных и относительных значений прилагательного в пределах одного слова, подвижность и нечеткость этой границы можно достаточно ясно наблюдать на примере развития прилагательных запаха.

6. Свет.

Рассмотрев эталонные атрибуты тактильности, вкуса и запаха, мы вновь возвращаемся к одному из визуальных субмодусов — свету. Эта последовательность рассмотрения модусов диктуется особенностями природы их эталонных атрибутов. И примечательно то, что эталонные атрибуты света имеют очень много общих черт с атрибутами запаха. Во-первых, как и у запаха, большинство атрибутов света не-эталонны: *блестящий, сияющий, сверкающий* и т.д. Во-вторых, все эталонные атрибуты света денотатны. И, в-третьих, их значение, в отличие от значений эталонных атрибутов цвета, формы, тактильности и вкуса, несколько иное, чем "подобный качеству света, испускаемому эталонными объектами".

Ряд слов сочетается со словом *свет* и характеризуют источник: *солнечный, лунный, фосфорический, фосфористый, фосфорный, неоновый*. *Солнечный* может употребляться не только по отношению к свету, но и метонимически, по отношению к объектам, освещенным таким светом или содержащим такой свет: *солнечный день, солнечная поляна, улица*. *Фосфорический/фосфорный* употребляется только по отношению к свету или его гипонимам (*блеск, освещение, блики* и т.д.). В словаре [14] приводятся примеры употребления этих слов: *Вода под ударами весел загоралась*

голубоватым фосфорическим сиянием. Фосфорический неживой свет луны, фосфорный блеск в воде. Неоновый употребляется и по отношению к свету, и по отношению к источнику этого света (неоновая реклама). Интересно отметить, что неоновый является относительно новым словом.

Также амбивалентно по отношению к оппозиции "источник" – "свет этого источника" слово *лучистый*: *лучистый свет месяца, лучистые звезды*. В отличие от *солнечный, лунный* (денотат – тело, испускающее данный свет) и от *фосфорный, неоновый* (вещество, испускающее данный свет), *лучистый* – характеризует способ испускания света (в виде лучей).

Таким образом, выясняется интересная вещь: как и атрибуты запаха (и даже еще сильнее) атрибуты света тяготеют к характеристике не параметров сравниваемого предмета, а параметров самого эталона (источника). Видимо, называть их эталонными следует с достаточно большой осторожностью. Возможно, данное явление имеет под собой и какую-то экстралингвистическую основу: объекты, излучающие свет, а также запах и звук, самодостаточны для восприятия, в то время как все остальные параметры зрительного восприятия (в особенности цвет) представляют собой пассивный объект внешнего воздействия [20, с. 125]. Они не самодостаточны.

С другой стороны, различие типов источников света настолько мало, что их можно перечислить по пальцам. Этим определяется невозможность широкой экстраполяции световых атрибутов. Большинство предметов не светятся, но почти все так или иначе имеют цвет.

7. Звук.

Слух, как и зрение, традиционно считается одной из основных перцепций в жизнедеятельности человека. Это те два модуса, которым посвящено наибольшее число психологических исследований. Тем не менее, как отмечает психологи, "мы знаем намного больше о зрении, чем о слухе" [6, с. 348]. Почти не обсуждался, в частности, вопрос об изучении целостного слухового образа [20, 4].

В психологии, говоря о классификации звуковых параметров, различают, с одной стороны, физические характеристики звука, а с другой – психические. Звуки как объекты слухового восприятия подразделяются по природе источника на натуральные и искусственные, а по информационному содержанию – на коммуникативные и характеризующие среду [20, с. 70]. Психологически большинство звуков воспринимаются как эталонные: "даже при прослушивании незнакомых звуков испытуемые пытаются найти для них некоторый аналог среди знакомых звучаний" [20, с. 105], и далее: "правильное опредмечивание звука является необходимым условием формирования адекватного слухового образа" [20, с. 109].

Каким образом эта эталонная ориентированность представлена в языке? Как и в случае с рядом предыдущих модусов, большинство атрибутов звука не эталонны (*прерывистый, тихий, монотонный*). Однако у звука имеется и довольно много атрибутов, ориентированных на эталон. Все они денотатные, но очень четко подразделяются на два типа:

1. Иногда в качестве эталона для сравнения может выступать именование источника звука: *он говорил мягким, кошачьим голосом, я услышал почти человеческие звуки* и т.д. Здесь заслуживают внимания несколько моментов: во-первых, в качестве источников для сравнения выступают преимущественно живые существа (трудно сказать: *Я услышал дверной/тележный/водопадный звук*, употребляя эту фразу не по отношению к источнику, а к характеристике самого звука).

2. Надо признать, что примеры с уподоблением звучания звучанию того или иного источника, именуемого по названию источника, достаточно немногочисленны. В большинстве случаев эталоном выступает именование самих звучаний. При сравнении двух фраз: *Он рассмеялся неприятным каркающим/лающим смехом* и *Он рассмеялся неприятным вороньим/собачьим смехом* – первая воспринимается в

большей степени как обозначающая сам характер звучания (на что похож издаваемый смех), в то время как вторая, если вообще признать ее приемлемость, несет совсем другие коннотации. К этому классу примыкают выражения типа *львиный рык, кошачье мяуканье, собачий лай*. Как кажется, в этом случае мы имеем дело не с качественными, а с относительными прилагательными и даже при уподоблении исходим из номинации звучания, а не номинации источника (*вместо его ответа я услышал львиный рык* – трудно представить употребление в этой фразе нейтрального *звук/голос* вместо специфического звукоизобразительного *рык*).

В этом проявляется специфика звуковых эталонных атрибутов. Она пересекается со спецификой именованного звука в целом. Природные звуки и звуки человеческого языка имеют однопорядковую природу: существует ряд показателей, по которым их можно соотносить друг с другом. Это резко выделяет звук на фоне других модусов.

Чрезвычайно привлекательную проблему ставит номинация различных звучаний. Существует специальная интегративная дисциплина, называемая фоносемантикой, которая занимается именно этим вопросом. Основные принципы номинации звучаний рассматриваются в ряде работ С.В. Воронина [21; 22], а также в нашей работе "Природные звуки в семантике языка (когнитивные стратегии именованного)" [23]. На основании проведенных исследований можно предположить, что "различные звучания соотносятся с их конкретными обозначениями в языке не непосредственно, а через систему звукоподражательных моделей. Онтологические сущности, репрезентируемые с помощью моделей, представляют собой психофизиологическое восприятие того или иного звучания, опосредованное фонологической системой конкретного языка. Следовательно, их строение определяется, с одной стороны, общими закономерностями психофизиологического восприятия, а с другой – специфическими особенностями того или иного языка" [23].

Как и в случае с модусами вкуса и запаха, требующий рассмотрения вопрос ставит развитие звукопродуцирующих систем в человеческом обществе. Как отмечают психологи, "за последние полвека правомерно говорить о качественно новой акустической среде человека" [20]. Специфической особенностью большинства искусственных звуков является отсутствие их натуральных аналогов [20, с. 62]. Язык пытается как-то именовать эти звуки. Примечательно то, что в самом названии этих звуков указывается их отнесенность к чему-то лежащему за пределами реального мира. Существуют *космическая музыка, потусторонние звуки, музыка сфер* и т.д.

Очевидно, что эталонные атрибуты звука или представляют собой производные от имен соответствующих звучаний, или выступают в роли качественно-относительных прилагательных. Однако есть по крайней мере один атрибут, созданный по модели образования атрибутов формы. Это – *громоподобный*. Сама внутренняя форма слова указывает, что это звук, подобный эталонному (в данном случае звуку грома). Хотя гром собственно не является объектом. Здесь наблюдается интересное явление: в принципе, реально гром вполне совпадает с остальными звукообозначениями (писк, скрип и т.д.). Но почему в языке нет, например, *скрипоподобный* (еще раз напомним здесь, что мы рассматриваем усредненный узус. При желании и при известной ситуации можно создать любой окказионализм и имплицировать любое значение любому слову. мы же ориентируемся на данные словарей). Нам представляется, что здесь мы сталкиваемся с тем, что Б.А. Серебрянников называет "вторичной антропологизацией языка" [24, с. 10], а Дж. Лакофф "влиянием идеальных моделей" [25, с. 2]. Гром наивным сознанием воспринимается чем-то большим, чем просто звук. Отсюда возможность слова *громоотвод*, фраз типа *упал, как громом пораженный* и т.д.

8. Размер.

Размер относится к модусу зрения. Он вынесен в самый последний параграф, так как категория эталонности преломляется в нем специфически, непохоже на ее преломление во всех других модусах.

Если, говоря об эталонности во всех других модусах, мы иногда утверждали, что

"большинство атрибутов модуса не эталонны", то в случае с размером можно осмелиться на гораздо более сильное утверждение и сказать, что эталонные атрибуты размера исчисляются максимум двумя-тремя. Рассмотрим несколько претендентов на эталонность, а именно слова *гигантский*, *исполинский*, *великанский*, с одной стороны, и *крошечный* – с другой.

Природа слов *гигантский* и *исполинский* несколько иная, чем слов *салатный* или *лицеобразный*. Эти слова также указывают на определенный объект, но можно ли его рассматривать в качестве эталона? Есть ли идеальный гигант или исполин, с размерами которого соотносятся остальные размеры? Допустим, в случае с цветом мы можем предъявить среднюю вишню как эталон вишневого цвета. Отсюда движение возможно лишь в одну сторону – уменьшения тождества, поскольку другого (большого) эталона вишневого цвета нет. В случае же со словами *гигантский* и *исполинский* ориентация идет не на максимум, а на медиум, просто точка отстояния гораздо дальше, чем для *большой*.

Интереснее обстоит дело со словом *крошечный*. Можно сказать: *Они жили в совсем крошечном домике на берегу реки*. В данном случае *крошечный* соотносится с *гигантский*, *исполинский* и обозначает не столько приближение к размерам денотата, сколько удаление от медиума. Тем не менее, представляется, что природа слова *крошечный* отличается от природы слова *гигантский* и *исполинский*. Последние два нереальны, крошка же нечто более реальное. Но какова реальность крошки? Это обозначение предела членения вещества, доступного перцептивному восприятию. И, возможно, говоря *крошечный*, мы ориентируемся не только на медиум, но и на максимум (точнее, минимум). Когда говорят: *С высоты здания он видел крошечные автомобили и крошечных пешеходов*, понимают, что реальные размеры видимых пешеходов и машин приближаются к медиуму. Таким образом, употребление в данном случае слова *крошечный* задает не медиум, а минимум, "размеры которых приближаются к границе перцептивного восприятия".

II. ГРАДУАЛЬНОСТЬ

Что мы понимаем под "градуальными атрибутами"? Данный термин представляется достаточно расплывчатым. Основную группу градуальных параметров составляют антонимичные прилагательные, точкой референции для которых выступает некий медиум, а не максимум. Это прилагательные *большой* – *маленький*, *твердый* – *мягкий*, *громкий* – *тихий* и другие. Такого рода атрибуты можно назвать "прототипами" градуальных атрибутов. Для их природы важны два аспекта: антонимичность и ориентация на медиум. Эти признаки определяются Ю.Д. Апресяном как третий случай антонимов [26, с. 23], а Дж. Лайонзом как собственно антонимы [27, с. 460]. К этой же категории примыкают и прилагательные типа *звонкий* – *глухой*, *сухой* – *мокрый*, *прямой* – *кривой* и другие. В данных прилагательных при сохранении антонимичности менее выражена ориентация на медиум, особенно в паре *прямой* – *кривой*. Их противопоставленность определяется или наличием/отсутствием некоторого параметра: *сухой* – "не содержащий влаги", *мокрый* – "содержащий влагу" – или же один из антонимов определяется позитивно, а второй негативно по отношению к первому: *прямой* – *кривой*. Однако в интересующем нас аспекте эти прилагательные ведут себя во многом сходно с "прототипическими" градуальными атрибутами и потому помещаются в ту же категорию.

Третим типом, который можно отнести к данной категории, является пара *черный* – *белый*. Мы уже отмечали выше (см. с. 80), что в этом они отличаются от остальных прилагательных цвета. Тем не менее, поскольку оба члена оппозиции могут быть определены позитивно через отношение к неким эталонам, эта пара вынесена в первый раздел.

1. Размер.

Мы закончили предыдущий раздел рассмотрением эталонных атрибутов размера и установили, что даже "псевдоэталонные" *гигантский, исполинский, великанский* все же скорее тяготеют к определению через медиум, а не через максимум. Таким образом, если отвлечься от слова *крошечный*, то размер можно считать абсолютно неэталонным модусом.

С другой стороны, размер является классическим примером градуального модуса, как цвет и форма – эталонного. Поэтому предпочтительнее сначала рассмотреть общие признаки градуальных атрибутов, анализируя прилагательные размера, а затем исследовать их специфическое преломление в остальных модусах.

Прототипические атрибуты размера противопоставлены на основе их соотношения с осями трехмерного пространства:

а) размерность по одной оси:

длинный/короткий OX или OY

высокий/низкий OZ

глубокий/мелкий OZ

Примечательно, что язык противопоставляет в одномерных параметрах ось *OZ* *высокий* и нейтрализует противопоставление осей *OX* и *OY* *длинный*. Было бы очень интересно узнать, существуют ли языки, дифференцирующие эти две оси: т.е. такие, где бы протяженность предмета слева направо (*OX*) обозначалась одним словом, а от себя вдаль (*OY*) – другим (*ближний* и *дальний* сюда не относятся: они характеризуют положение предмета в пространстве, а не его протяженность).

Кроме того, что *OZ* противопоставит осям *OX* и *OY* и специально именуется, она еще имеет и название отрицательного направления: *глубокий-мелкий*. Таким образом, она получается вдвойне маркированной. В концепции Дж. Гибсона [1] поверхность (в русском языке она воспринимается как изотропная) противопоставит третьей (вертикальной) оси и, деля ее пополам, выступает системой отсчета. Интересно добавить, что глубина не всегда воспринимается зрением (в отличие от всех остальных величин): в ряде случаев мы просто знаем это. (Ср. *глубокий овраг, глубокий колодец* vs. *глубокая река, глубокое озеро*).

б) не менее, чем по двум осям: *узкий/широкий*

Прототипически эта оппозиция заключается в противопоставлении двух осей (*OY*) и (*OX*);

в) по трем осям: – *толстый/тонкий*

Отношение площади основания к высоте;

г) гиперонимы, лежащие вне отношения к осям трехмерного пространства: *большой/маленький* (ср. возможность определения: *длинный – большой в длину*).

Следующий вопрос – семантическая противопоставленность большего и меньшего полюсов. Здесь необходимо отметить следующие моменты:

Гиперонимы размера обладают разветвленными полями обозначений для обоих полюсов: *гигантский, громадный, исполинский, огромный* vs. *мизерный, махонький, микроскопический, крошечный*. При этом интересно отметить, что из всех атрибутов только эти прилагательные могут сочетаться со словом *размер*: *большой размер, изделие крошечного размера, дистанция огромного размера* и т.д.

Во всем остальном явно просматривается доминанция большего полюса:

а) определение параметров по большему атрибуту: *длина, ширина, высота, величина* vs. **короткость, *ужина*.

б) использование для обозначения медиума отрицания большего полюса: *неввысокий, неширокий* и т.д. – нейтральны, в то время как *немаленький, неузкий* – маркированы. Фразы *это был человек невысокого роста, они жили в небольшом домике* и т.д. воспринимаются как нейтральные характеристики размеров объекта. В

то время как употребление в тех же фразах прилагательных *не низкого роста, не в маленьком доме* имплицитно содержит пресуппозицию, что кто-то утверждал о размерах этих объектов нечто прямо противоположное;

в) неодинаковость значений суффиксальных производных: с одной стороны, *длиннющий, высоченный, толстенный* и т.д., с другой – *коротенький, низенький, тоненький*. *Высоченный* явно намного больше, чем просто *высокий*, чего нельзя сказать о противоположном полюсе. Т.е. словообразовательные суффиксы большого полюса, кроме различных коннотационных значений, вносят и изменение объектных характеристик, в то время как значения производных меньшего полюса в основном ограничиваются именно коннотацией;

г) значение ряда производных слов, имплицитно включающих параметры размера: *ушастый* – "с большими ушами", *объемный* – "больших объемов" и т.д.

В отличие от экстремума, обозначение медиума гораздо беднее: не считая определяемых отрицательно *невysокий, неширокий* и т.д., специальное слово лишь *средний*.

2. Звук.

Теперь опишем особенности градуальных атрибутов в других перцептивных (суб)модусах. Следует отметить, что в них градуальные признаки осложнены качественными значениями. В звуке оппозиция *тихий/громкий* диспропорциональна: весьма разветвлено обозначение громких звуков (*полнозвучный, зычный, оглушительный* и т.д.) и единично поле *тихий*. В этом сходство с размерными атрибутами. Но, что интересно, если синонимы размерных полей не несут дополнительных качественных оттенков (*огромный, громадный, гигантский* в принципе обозначают одно и то же: "очень большой"), то *громоподобный, оглушительный, звучный* вносят и различные оттенки, характеризующие качество звучания.

3. Свет.

В этом модусе градуальные параметры тоже представлены достаточно широко:

а) обозначение характеристики света: свет может быть *ярким*. Ему противостоит *тусклый*. Оба метонимически переносятся на источник: *тусклый фонарь, тусклая луна, яркое солнце*;

б) проницаемость поверхности для света. Это уже не параметры источника света, а параметры поверхности по отношению к свету. Сюда относятся *прозрачный – мутный*. В ряде случаев антонимом к *прозрачному* выступает *тусклый*;

в) характеристика освещенности: *светлый – темный*. Кроме этого, *светлый* характеризует источник света – *светлая лампа*. Интересно, что в данном случае имеется промежуточный член, представляющий однако не медиум, а тяготеющий к *темному*: *полутемный*.

Необходимо отметить, что оппозиции маркированы: в случае *яркий – тусклый* доминирующим выступает *яркий* (ср. *яркость, неяркий*). То же в случае *прозрачный – мутный* (ср. *прозрачность, непрозрачный*). Для *светлый – темный* точную доминанцию установить трудно. Параметры света могут накладываться друг на друга и пересекаться: ср. *яркий свет – яркая лампа – яркий день; тусклый свет, тусклое стекло* и т.д.

4. Тактильность.

Довольно своеобразно представлена оппозиция градуальных атрибутов в модусе тактильности. В этом случае атрибуты могут характеризовать как поверхность, так и консистенцию. Рассмотрим подробно специфику отдельных противопоставлений.

1) характеристика поверхности:

а) *гладкий – шероховатый*

Первый член оппозиции практически не имеет синонимов. Возможное объяснение этому заключается в том, что *гладкий* и экологически, и психологически более опре-

делен, чем *шероховатый*: если веда пальцем или взглядом по поверхности, мы воспринимаем ее как однородную, то называем *гладкой*. С *гладким* соотносится слово *ровный* (о поверхности). Как кажется, оба данных слова обозначают полимодальные характеристики, воспринимаемые одновременно зрением и осязанием. В *гладком* преобладает осязательное восприятие, в *ровном* – визуальное (это не исключает возможности употребления их как полных синонимов). В то же время *шероховатый* более разветвлен. Вероятно, природа "шероховатости" более разнородна, чем природа "гладкости": *шершавый, морщинистый, заскорузлый, выщербленный*. Доминанция здесь не определяется.

б) *острый – тупой*

Характеристика свойства поверхности. Хотя точнее определить пока трудно. Возможно, характеристика линейного края поверхности. Маркированность сомнительна (т.е. нет столь явного доминирования какого-либо параметра, как, скажем, в размере: *неввысокий дом* – вполне нормально, *неострый нож* – сомнительно).

в) *грязный – чистый*

В какой-то мере соотносится с *гладкий – шероховатый*. Но если последняя оппозиция характеризует поверхность саму по себе, то данная – наличие/отсутствие нежелательного слоя. Маркированность опять сомнительна, но, вероятно, все же доминирует *чистый* (ср. *нечистый воротничок*, а также *нечистая сила, нечистые*; ср. большую элементарность образования *чистота* перед *загрязненностью* или *грязью*). Опять, как и в (а), чистота предполагает большую экологическую и психологическую однозначность. Сюда, кроме *чистый* относится *мытый* и его синонимы. Слово *мытый* примечательно тем, что обозначает возвращение к исходному состоянию чистоты от загрязненности. Видов загрязненности очень много: *запачканный, заплыванный, засаленный, захватанный* и т.д. Интересно, что все они – девербативы.

г) *сухой – мокрый, влажный, сырой*

Как и в предыдущих случаях, "сухость" более однозначна. Маркированность неясна. Кроме того следует отметить, что оппозиция (г), равно как и (в), может характеризовать не только поверхность, но и консистенцию: *мокрая тарелка – мокрая губка*.

2) консистенция:

Существует тройная оппозиция, номинирующая агрегатные состояния вещества: *твердый – жидкий – газообразный*. Заслуживает внимания то, что такого рода номинация вторична: она основана на новой терминологизации уже имеющихся в языке групп. *Газообразный* является денотатно ориентированным словом ("подобный по консистенции газу") и представляет собой чисто искусственное терминологическое образование. Имена двух других агрегатных состояний являются переосмыслением оппозиций *твердый – мягкий, жидкий – густой*. Интересно, что поскольку этой классификации уже достаточно много лет, то она очень тесно сплелась с "наивной" картиной мира.

Наиболее разветвленную систему номинации мы находим у твердых (кристаллических и аморфных) тел. Здесь с трудом выделяются парные оппозиции, скорее, они представляют ступенчатую шкалу. На одном полюсе – *мягкий, податливый, пластичный*; далее, через *гибкий, упругий, эластичный, пружинистый* – к *твердый, жесткий, плотный, тугой*. Особняком стоит *прочный – хрупкий*. Таким образом, можно выделить тройку *мягкий – гибкий – твердый* и рассматривать ее как основную по степени отношения к деформации: полное изменение при деформации (*мягкий*); деформируемость при восстановлении исходного состояния (*гибкий*); недеформируемость (*твердый*). Разветвленные синонимические ряды вносят в значение данных параметров дополнительные качественные оттенки.

Что касается жидкостей и газов, то, кажется, данные агрегатные состояния не имеют разветвленной системы показателей. Возможна пара *густой – редкий*. (Раз-

личные денотатные прилагательные вносят сюда дополнительные оттенки: *водянистый, маслянистый* и т.д.). Доминирует здесь *густой*. Данные слова в первую очередь употребляются по отношению к жидкостям, хотя возможно их употребление и при упоминании о газах (очень часто в неординарном состоянии): *густой пар, густой туман; разреженный воздух*.

5. Форма.

Как было показано в первом разделе, форма представляет в какой-то мере образец эталонного модуса. Между тем, по крайней мере одна градуальная пара все же выделяется: *прямой – кривой*. Вероятно, эти два слова не воспринимаются столь же определенно относящимися к форме, как, например, *высокий, низкий* – к размеру, а *красный, черный* – к цвету. Тем не менее, можно рассматривать эти параметры как входящие именно в модус формы, поскольку они предназначены для описания контуров поверхности. Сами по себе эти понятия не являются формой, но они представляют собой определенные дифференциальные признаки, определяющие форму.

Как уже указывалось выше, форма не является психологическим элементарным параметром, и процесс восприятия формы тела происходит ступенчато [28]. Следует отметить, что эти два параметра: *прямой и кривой*, – не являются собственно градуальными. *Прямой* определяется таким образом, как и геометрические объекты. Следовательно, этот атрибут является эталонным и разделяет свойства других эталонных атрибутов формы: он может выступать как в абсолютном значении, так и в аппроксимальном. *Кривой* определяется отрицательно через отношение к своему антониму.

6. Остальные модусы: цвет, запах, вкус.

В отличие от предыдущих модусов, данные не содержат собственных градуальных атрибутов. Хотя существуют выражения *сильный запах, приятный вкус, яркий цвет*. Нам представляется, что все эти признаки не собственные, а метафорически перенесены из других областей.

III. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ОБЪЕКТНОСТЬ, ПОЛИМОДАЛЬНОСТЬ

До сих пор мы анализировали восприятие как созерцательное и интрамодальное (замкнутое в пределах одного модуса), имплицитно исходя из допущения, что, во-первых, различные перцептивные модусы изолированы друг от друга; а во-вторых, что человек представляет собой пассивного реципиента, и все законы восприятия обусловлены лишь закономерностями проявления окружающего мира. На самом же деле это далеко не так.

В отличие от традиционной схемы, рассматривающей восприятие как цепочку блоков преобразования информации, на вход которой попадают изолированные сигналы, а на выходе получается сознательный образ, общепринятой для современной психологии является идея о том, что познание вообще, и восприятие в частности, являются формами человеческой активности. Как отмечает У. Найссер, для построения адекватной модели восприятия необходимо описать познавательную активность в том виде, какой она имеет в контексте естественной целенаправленной деятельности [29, с. 29]. Таким образом, восприятие можно рассматривать как систему действий, направленных на обследование воспринимаемого объекта и на создание его образа: нечто вроде "уподобления" предмету движений руки, глаза и т.д. [13].

Характерный для современной психологии подход позволяет установить, что роль деятельности и человеческого опыта чрезвычайно активно воздействует на саму природу восприятия. Так, Е. Голдштейн, описывая факторы, влияющие на восприятие вкуса пищи, специально отмечает среди них вкусовой предшествующий опыт, а также воспитание [6, с. 423].

Тактильное восприятие тоже во многом определяется человеческой активностью.

В современной психологии даже специально различают т.н. *active touch* и *passive touch*. Отмечается, что мы действуем активно, используя пальцы для обнаружения мелких предметов, изучая текстуру объекта [30]. Двигая рукой вдоль предмета, мы не воспринимаем его как движущийся, и наоборот [31]. Согласно Л. Крюгеру и Д. Катцу, "мы имеем тенденцию соотносить пассивное тактильное восприятие с ощущением, испытываемым кожей, а активное – с исследуемым объектом" [32, с. 338]. Р. Гибсон считает, что одно из основных различий между активным и пассивным восприятием заключается в следующем: при активном осязании стимулируются рецепторы не только кожи, но и рецепторы суставов и сухожилий, и их взаимодействие формирует исчерпывающее восприятие тактильной природы объекта [30].

О влиянии человеческой деятельности на слуховую и зрительную системы написаны сотни трудов [см. 33]. Применительно к запаху специальной литературы немного, однако можно предположить, что, как и в случае со вкусом, на восприятие запахов оказывает большое влияние предшествующий опыт, воспитание, а также ожидания воспринимающего.

Для строения деятельности существенно "не только то, что она исходит от субъекта, но также и то, что она направляется на объект и в самом внутреннем содержании обусловлена им. Ощущение, вообще психические явления должны рассматриваться в их отношении к объективной действительности, которую они специфическим образом отражают" [34, с. 205].

По мнению, А.Н. Леонтьева, важнейшей особенностью субъективного образа является его предметность (объективированность). В образе нам даны не наши субъективные состояния, а сами объекты; при восприятии субъект не соотносит "образ" с "вещью": "образ" как бы наложен на "вещь" [35, с. 40]. Предметность образа – некая внутренняя организация хаоса (как полагали представители гештальтпсихологии), а "органическая связь отраженных в нем пространственно-временных и интенсивных характеристик" [20, с. 11].

Целостность предметного образа тесно соотносится с полимодальностью [20, с. 13]. Большинство стимулов имеет полимодальный характер. Например, "мы видим идущего человека и слышим звук его шагов; чувствуем вкус предмета, одновременно воспринимая его тактильные и обонятельные (можно добавить, что и визуальные, не считая внеперцептивных. – Р.И.) характеристики" [29, с. 51]. По мнению Найссера, "схемы, принимающие информацию и направляющие ее дальнейший поиск, носят обобщенно перцептивный характер" [29, с. 51].

Итак, согласно современным психологическим концепциям, человеческое восприятие, во-первых, функционально (деятельно), во-вторых, объектно, в-третьих, полимодально.

Перед тем, как перейти к описанию данных параметров, уточним, что мы понимаем под полимодальностью. Последнюю следует отличать от интермодальности, основанной на явлениях синестезии (*мягкий свет, резкий звук, хрустальный голос* и т.д.) В психологии под синестезией понимают "такое слияние качеств различных сфер чувствительности, при котором качества одной модальности переносятся на другую, разнородную, – например, при цветном слухе качества зрительной сферы – на слуховую" [34, с. 216]. С точки зрения лингвистики, синестезия – употребление слова, значение которого связано с одним органом чувств, в значении, относящемся к другому органу чувств. При интермодальности всегда можно выделить первичный модус, по аналогии с которым рассматриваются другие (допустим, в случае *мягкий свет* первичность тактильного модуса очевидна и выражение представляет собой метафору). При полимодальности один и тот же атрибут объективно, а не метафорически, относится к нескольким модусам.

Рассмотрим преломление этих трех параметров – функциональности, объективности и полимодальности – в различных перцептивных модусах.

1. Свет и цвет.

Свет может быть окрашен. Самым ярким примером этого является описание замка

принца Просперо в новелле Э.А. По "Маска красной смерти", где каждая из разноцветных комнат освещалась соответствующим светом. Таким образом, вполне возможны выражения *красный свет, синий свет*. В отличие от, например, *мягкий свет*, первые признаки присущи свету вполне объективно, а не метафорически.

В то же время и цвет может иметь определенный световой компонент: цвет может быть *ярким/тусклым, светлым/темным*. Эта полимодальность вводит в цвет ряд градуальных атрибутов. Причем очень интересно, что языком (по крайней мере русским) четко противопоставляются собственно цветовые атрибуты (*красный, синий, багровый* и т.д.) атрибутам полимодальным. Язык имеет достаточно разветвленный аппарат их различения. Допустим, выражения *красный цвет* и *яркий цвет* иногда выступают как аналогичные, но в большинстве случаев они четко дифференцированы: а) *яркие цвета*, но? *красные цвета*; б) на вопрос, какого цвета? – трудно ответить просто: *яркого*; в) *яркий цвет*. Вполне правомерен вопрос: *Какой конкретно?* г) *очень яркий*, но? *очень красный*; д) *какого-то яркого цвета*, но? *какого-то красного цвета*

2. Форма и размер.

Мы рассмотрим следующие вопросы: во-первых, определение формы и размера с точки зрения функциональности, во-вторых, полимодальные атрибуты общие для формы и размера и, в-третьих, полимодальные атрибуты, объединяющие форму и размер с другими модусами.

Возьмем для примера слова *вместительный, помещительный, портативный, карманный*: они явно имеют отношение к размеру. Но как они определяются? С нашей точки зрения, функционально и предметно (объектно), а не через эталон или медиум. Какой рюкзак или комнату мы называем *вместительными*? Очевидно, те, в которые можно поместить достаточное количество предметов (как и в других размерных атрибутах, здесь также идет апелляция к имплицитной норме и также наблюдается доминанция большего полюса). Так же мы называем *портативным*, или *карманным* некий аналог большого предмета, легко поддающийся переноске или уместяющийся в кармане (очень интересно, что форма слова *портативный* непосредственно отражает именно это значение. Весьма вероятно, что слово не воспринимается как мотивированное именно таким образом большинством носителей языка, тем не менее восприятие соответствующего значения сохраняется).

Привлекают внимание и прилагательные *микроскопический, увеличительный, уменьшительный*. В их семантике отражено использование различных приспособлений для изменения размеров образа воспринимаемого объекта. *Увеличительным* стекло называется не потому, что оно как-то влияет на размеры самого объекта, а потому, что увеличивает размеры образа для восприятия. Слово *микроскопический* означает не "размером с микроскоп", а "видимый с помощью микроскопа": *микроскопические водоросли, микроскопические существа*. В переносном смысле данное слово может употребляться и в значении "очень маленький".

Итак, данные атрибуты определяются предметно и функционально. Но и самые простые атрибуты размера также содержат отношение субъекта к объектам и возможной деятельности с ними. Рассмотрим с этой точки зрения слово *узкий*. Прототипически мы определили его значение как пропорцию соотношения (OY) и (OX). Предположим следующую ситуацию: мы подъезжаем на грузовике к реке, через которую перекинут мост два метра в ширину и три в длину (т.е. соотношение сторон само по себе не соответствует значению "узкий"), и, посмотрев на него, заявляем: *Мост слишком узкий – машина не проедет*. Можно привести еще десятки других подобных случаев, в которых ряд размерных атрибутов определяется функционально.

Вышеприведенная ситуация может показаться примером субъективности ощущения. Но это несколько различные вещи. Допустим, и светлая комната может

показаться полутемной после яркого света улицы (субъективность восприятия), в то же время она может определяться как светлая или темная с точки зрения деятельности, имеющей в ней место (т.е. восприятие зависит не только от субъекта, но и от чего-то объективного).

Аналогичный феномен наблюдается у атрибутов формы. Но количество этих атрибутов намного меньше (может быть, и потому, что атрибуты формы эталонны, а не градуальны). Пока мы обнаружили лишь слово *обтекаемый*: определение формы предмета через возможную деятельность с ним.

Приведены несколько примеров полимодальности атрибутов формы и размера. Во-первых, *развесистый, раскидистый*: здесь прослеживается явное взаимодействие этих двух параметров. Какое дерево называется *раскидистым*? С ветвями определенного размера (большого) и определенной конфигурации.

Или слово *громоздкий*. Чем оно отличается от слова *большой*? Тем, что, во-первых, имеет отношение и к форме (все три параметра измерения должны быть более или менее сопоставимы), а во-вторых, непосредственно соотносится с деятельностью субъекта (*громоздкий* – "большой и занимающий много места").

Далее опишем пересечение с модусами других перцепций. Большинство психологов указывают на связь визуальных параметров прежде всего с тактильными: мы не просто видим предмет, мы берем его в руки или обходим его с разных сторон, не только рассматривая, но и ощупывая его. Отражается ли эта полимодальность в языке? В ряде случаев отражается. Допустим, слово *массивный* определяется как "большой и тяжелый" (трудно назвать *массивной* тяжелую, но маленькую вещь или, наоборот, большую и легкую). Или *узкий рукав, тесная квартира*? Эти параметры воспринимаются не только глазами, но и телом: рукой – узорь рукава, всем корпусом – теснота квартиры.

3. Зрение и тактильность.

Диффузия зрения и тактильности проявляется гораздо шире, вплоть до того, что во многих случаях нельзя указать, какой из модусов первичен при определении конкретного атрибута. Есть ряд параметров, воспринимаемых прежде всего тактильно: *мягкий, жесткий, твердый* и т.д. Мы не можем по виду хлеба на прилавке определить его мягкость. Но, в то же время, другие параметры воспринимаются полимодально: иногда можно выделить доминанцию того или иного модуса, но в принципе зрение и тактильность здесь очень тесно взаимосвязаны. К этим атрибутам относятся, например, *студенистый, жидкий, дряхлый, дряблый* и т.д. Эти параметры мы можем определить и на вид, но чтобы окончательно убедиться в правильности, предметы хорошо бы потрогать. *Шероховатый, ворсистый, пушистый* на вид определяются достаточно безошибочно, но ведь их можно определить и на ощупь. Идем далее: форму и размер в принципе можно определить и на ощупь, но здесь все же зрение гораздо надежнее. А следующие визуальные субмодусы – свет и особенно цвет – определяются только визуально.

4. Вкус и запах.

Всеми психологами отмечается, что эти два модуса чрезвычайно тесно взаимосвязаны [36]. И в языке они обладают широким набором общих атрибутов. Одно и то же прилагательное определяет и вкус предмета, и его запах. Интересно то, что достаточно часто эти слова употребляются применительно к несъедобным объектам, обладающим тем не менее специфическим вкусом и запахом. С одной стороны, мы говорим: *пикантный/пряный запах какого-то блюда, пикантный/пряный вкус какого-то блюда*, с другой – *соленый запах моря и соленый вкус морской воды, горький запах полыни и полынь горькая на вкус* и т.д. Примечательно, что доминирующим здесь, по-видимому, является вкус. Характерный запах предмета обозначается тем же атрибутом, что и его вкус. Однако употребление данных определений по отношению к запаху не представляет собой метафоры (в противоположность, допустим, *резкому/сильному запаху* – данные запахи действительно дифференцируются).

Кроме того, в ряде случаев вкус блюда представляется как комплексное образование, определяемое, с одной стороны, собственно вкусом, а с другой – издаваемым пищей запахом. Общеизвестно явление изменения вкуса блюда при невозможности ощущать его запах (как, скажем, при насморке) [36].

Обратного явления перенесения типично "запаховых" атрибутов на вкус не наблюдается: ряд атрибутов относится только к запаху (*благоуханный, пахучий* и т.д.).

5. Звук.

Не существует каких-то параметров, которые звук разделял бы с другими модальностями. Сочетания типа *бархатный голос, высокий звук* и другие представляют собой примеры не полимодальности, а синестезии (метафорического переноса одного перцептивного модуса на другой). Возможно это определяется специфической объективной природой звука. В системе модусов он стоит несколько особняком от других, являясь наименее "вещественным". Однако и в данном случае язык отражает отмечаемую всеми психологами полимодальность зрительного и слухового восприятия. Это сочетания типа *немой вопль; бесшумные шаги* и т.д.

Итак, на основе языкового критерия можно выделить следующие перцептивные модусы: 1. Только зрение; 2. Зрение/тактильность; 3. Только тактильность; 4. Только вкус; 5. Вкус/запах; 6. Только запах; 7. Только звук.

Для отнесения атрибута к тому или иному модусу следует установить, какой из глаголов направленного восприятия (*посмотри, послушай, потрогай, понюхай, попробуй*) употребляется для определения атрибута, например:

а) *посмотри, какой красный*. Ни один из глаголов других модусов в данном случае употреблен быть не может;

б) *посмотри, какой круглый, посмотри, какой большой*. В этом случае *посмотри* намного привычнее, чем *потрогай*. Последнее в основном употребляется при необходимости восприятия маленьких предметов в условиях ограниченной видимости: *потрогай, какая большая шишка на голове*;

в) *посмотри, какой пушистый* или *потрогай, какой пушистый*;

г) *потрогай, какой мягкий*. Употребление глагола *посмотри* возможно лишь в том случае, если кто-нибудь производит тактильные действия с объектом.

д) *попробуй, какой горький*. Несмотря на возможность применения данного атрибута и к запаху, в этом случае *горький* относится только ко вкусу;

е) *попробуй, какой пряный* и *понюхай, какой пряный*;

ж) *понюхай, какой ароматный*. Употребление в данном случае *попробуй* даже в применении к съедобному объекту все же маловероятно: ароматность определяется по запаху, а не на вкус.

з) *послушай, какой тихий*. Ни один из других перцептивных глаголов здесь невозможен (этот случай не следует путать с употреблением глагола *смотреть* в переносном значении. *Посмотри, какой мелодичный тон у этой гитары* никак не означает "восприми данный параметр с помощью зрения").

Мы описали довольно подробно специфику эталонных и градуальных атрибутов в различных перцептивных модусах, остановились на способах отображения в языке функциональности, предметности и полимодальности восприятия, а также рассмотрели особенности гиперонимов перцептивных модусов. Тем не менее, настоящая статья представляет собой лишь робкую попытку подойти к исследуемому материалу во всей его полноте. Чрезвычайно много осталось за рамками описания. Здесь мы лишь укажем аспекты исследования, которые представляются наиболее интересными.

1. Характеризующие атрибуты (атрибуты-прилагательные) различных модусов обладают еще целым рядом параметров:

а) сравним два сочетания: *сладкое пирожное* и *вкусное пирожное*. В первом случае возможно описание значения признака чисто в объективных терминах: *сладкий* – "подобный вкусу сахара". Во втором случае объективное описание в принципе

невозможно. Что такое *вкусное пирожное?* – "обладающее хорошим, приятным вкусом". Но "хороший" и "приятный" – не объективные термины.

Таким образом, возникает чрезвычайно интересный вопрос, какова роль субъективного компонента в значении перцептивного атрибута. Тем более стоит отметить, что роль этого компонента не ограничивается только оценкой, он вносит в значение и ряд качественных оттенков. Если мы сравним пару *громкий звук – замогильный звук*, то увидим, что значение второго атрибута можно описать лишь как "глухой и мрачный". Но "мрачный" – не объективный и не оценочный термин.

Насколько характерны атрибуты этих двух типов для различных перцептивных модусов и каковы их специфические особенности?

б) и *громкий звук*, и *прерывистый звук* – оба существуют во времени. Но для того, чтобы исчерпывающе описать значение первого атрибута, совсем не нужно указывать, как именно данный признак разворачивается во времени. Для второго атрибута указание на особенность его протекания во времени составляет основную часть значения.

Существует ли временной параметр у других модусов? И, если существует, одинакова ли его природа в них? Почему, говоря *ровный цвет*, *ровная поверхность*, мы понимаем, что *ровный* характеризует пространственный параметр, тогда как *ровный свет*, *ровное гудение* – явно временной?

в) чем определяется способность атрибута сочетаться с метасловом, именуемым перцептивный модус? Почему можно сказать *большого размера*, *огромного размера*, *крошечных размеров*, но не *высокого размера?*, *узкого размера?*, *малогабаритного размера?*

г) в отличие от полимодальности, где атрибут именуется параметр, воспринимаемый одновременно несколькими органами чувств, в случае интермодальности (синестезии) атрибут одной перцепции метафорически употребляется применительно к другой. Почему можно сказать *мягкий голос*, но не *громкая шероховатость?* Почему голос и цвет могут быть *глубокими*, но не могут быть *мелкими?* Или в более общем виде: что выступает в роли исходных модусов, атрибуты которых чаще всего переносятся на другие модусы? По какому принципу экстраполируются интермодальные атрибуты? Каковы их особенности в различных модусах? Одинаково ли употребление парных антонимичных атрибутов?

д) насколько говорящее на русском языке люди знают систему обозначения перцептивных параметров? Многие ли с легкостью укажут эталон, скажем, для *патинового* или *фрезового* цвета? Все ли легко подберут определяемое существительное к прилагательному *творожистый?* Вообще, насколько одинаковы ограничения на употребление и сочетаемость различных атрибутов в различных диалектах?

2. Признак может рассматриваться не только как нечто статичное, он может быть и динамическим. В русском языке динамический признак выражается глаголами:

а) признак может не только быть, но и проявляться: *васильки синеют в траве*, *ворона каркает*, *вино кислит* и т.д.,

б) признак может не только проявляться, но и изменяться: *яблоки покраснели*, *клей загустел*, *вино прокисло* и т.д.,

в) признак может не только изменяться сам по себе, но и быть изменяемым, и эти изменения тоже так или иначе воспринимаются органами чувств: можно *белить стену*, *солить суп*, *смягчать кожу* и т.д.

3. Какие действия производит человек, чтобы воспринять все многообразие чувственного мира? Как он называет эти действия? Почему существуют специальные широкоупотребляемые глаголы со значением "воспринимать с помощью зрения" (*видеть*) и "воспринимать с помощью слуха" (*слышать*), а обозначение вкусовых

ощущений идет через глаголы-гиперонимы *чувствовать, ощущать*? Почему существует специальное слово "дать посмотреть" (*показать*), с одной стороны, и только описательные выражения *дать потрогать, дать попробовать* – с другой?

4. С помощью *обоняния* мы воспринимаем *запах*, с помощью *слуха* – *звук*. Это общеизвестно. А что мы воспринимаем с помощью *осязания*? В психологии принято считать, что *качество поверхности* и *консистенцию*. Но так ли это очевидно для обыденного сознания? А какой параметр, выражаемый одним словом, мы воспринимаем с помощью *зрения*? – *Вид? Образ? Картину?*

Нам представляется, что описание всей перцептивной системы в целом позволит установить ряд чрезвычайно интересных и важных закономерностей, определяющих механизмы отображения окружающего мира в языке и особенности так называемой "логики языка".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гибсон Дж.* Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.
2. *Ломов Б.В.* Кожная чувствительность и осязание // *Познавательные процессы: ощущение, восприятие.* М., 1982. С. 197–218.
3. *Active touch / Ed. by G. Gordon.* N.Y., 1978.
4. *Tactual perception: a sourcebook.* Cambridge, 1982.
5. *Виноградов В.В.* Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1986.
6. *Goldstein E.B.* Sensation and perception. Belmont, 1984.
7. *Печкова Т.А.* Системы классификации цвета. М., 1969.
8. *Hurvich L.* Color vision. Sunderland (Mass.), 1981.
9. *Соколов Е.Н.* Психофизиология цветового зрения // *Познавательные процессы: ощущение, восприятие.* М., 1982. С. 167–178.
10. *Фрумкина Р.М.* Цвет, смысл, сходство. Аспекты психолингвистического анализа. М., 1984.
11. *Berlin V., Kay P.* Basic colour terms: Their universality and evolution. Berkeley, 1969.
12. *Rosch E.* The nature of mental codes for colour categories // *Journal of experimental psychology.* 1975. V. 1. № 4.
13. *Величковский Б.М.* Функциональная структура перцептивных процессов // *Познавательные процессы: ощущение, восприятие.* М., 1982. С. 219–246.
14. *Словарь русского языка в 4-х т.* М., 1981.
15. *Лечицкая Ж.В.* Прилагательные вкуса в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1985.
16. *de Vries H. Stuiver M.* The absolute sensitivity of the human taste of smell // *Sensory communication.* Cambridge, 1961.
17. *Desor J.A., Beauchamp G.K.* The human capacity to transmit olfactory information // *Perception and psychophysics.* 16, 1974.
18. *Скобелева Г.Н.* Качественные прилагательные, обозначающие физические ощущения // *История слова в текстах и словарях.* Ставрополь, 1988. С. 106–114.
19. *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. Харьков, 1899. Вып. 3.
20. *Носуленко В.Н.* Психология слухового восприятия. М., 1988.
21. *Воронин С.В.* О семантической структуре звукоподражательного слова // *Смысл и значение на лексическом и синтаксическом уровнях.* Калининград, 1986.
22. *Воронин С.В.* Основы фоносемантики. Л., 1982.
23. *Рузин И.Г.* Природные звуки в семантике языка / *Когнитивные стратегии именования* // *ВЯ.* 1993. № 6. С. 17–28.
24. *Серебрянников В.А.* Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1987.
25. *Лакофф Дж.* Мышление в зеркале классификаторов // *Новое в зарубежной лингвистике.* Вып. XXIII. 1988.
26. *Апресян Ю.Д.* Современная лексическая семантика. II.: *Синонимические средства языка и правила перефразирования* // *РЯНШ.* 1972. № 3.
27. *Lyons J.* Introduction to theoretical Linguistics. Cambridge, 1969.
28. *Lindsay P.H., Norman D.A.* Human information processing, 2-nd. N.Y., 1977.
29. *Найссер У.* Познание и реальность. М., 1981.
30. *Taylor M.M., Lederman S.J., Gibson R.H.* Tactual perception of texture // *Handbook of perception.* V. 3. N.Y., 1973.

31. *Gibson J.J.* Observation on active touch // *Psychophysical review*. 1962. 69.
32. *Kruger L.M.* David Katz: *Der Aufbau Der Tastwelt: A synopsis* // *Perception and psychophysics*. 1970. 7. P. 337–341.
33. Проблемы восприятия. Свердловск, 1991.
34. *Рубинштейн С.Л.* Основы общей психологии: В 2-х тт. М., 1989.
35. *Леонтьев А.Н.* Ощущение и восприятие как образы предметного мира // *Познавательные процессы: ощущение, восприятие*. М., 1982. С. 32–50.
36. *Geldard F.A.* *The human senses*. N.Y., 1972.

© 1994 г. П.И. КУЗНЕЦОВ

**СИСТЕМА УЗКОВОКАЛИЧЕСКИХ ФОРМАНТОВ
В ДРЕВНЕТЮРКСКОМ – СРЕДНЕАЗИАТСКОТЮРКСКОМ –
ОСМАНСКОМ – ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ**

0. Известно, что в каждом тюркском аффиксе обычно варьируются либо только узкие гласные (*i, i, u, ü*) либо только широкие (*a, e*; в отдельных языках, например в якутском, киргизском, также *o, ö*). В настоящей статье нас интересует первая группа аффиксов, образующая систему, развитие которой (в некоторых регионах тюркоязычного мира) получило противоречивую трактовку специалистов, причем предлагаемые решения оставляют место для иных подходов к проблеме*.

1. Система узковокалических морфем древнетюркского языка. В соответствии с членением узких гласных на узкие негубные (*i, i*) и узкие губные (*u, ü*) в древнетюркском языке (как в рунических, так и древнеуйгурских памятниках) существовали две группы аффиксов, в одной из которых, независимо от характера гласного предшествующего слога (губной–негубной), были представлены только негубные гласные (*ngb*), а в другой – только губные (*gb*). Назовем первую группу и л л а б и а л ь н о й, или *I*-группой, вторую – л а б и л ь н о й, или *U*-группой.

А. Бомбачи, основываясь на данных грамматики А. фон Габэн [1], насчитал в древнетюркском языке свыше десяти формантов, входящих в *I*-группу [2, с. 92]. В их числе должны быть названы: 1. *(I-1) + cI* (аффикс (афф.) имени деятеля), 2. *+nl* (афф. винительного падежа), 3. *+(s)I* (афф. принадлежности 3 лица), 4. *-mls* (афф. второго прошедшего, или прошедшего неочевидного, времени), 5. *-GIII-KII* (показатель повелительного наклонения /2 л. ед. числа/), 6. *-GIII-KAII* (деепричастный афф.) и другие (*+KI, +sIG, +dIn/+In...*).

Свыше пятнадцати формантов входило в *U*-группу. Назовем следующие: 1. *(U-1) -tUK/-dUK* (афф. имени действия), 2. *-tUr/-dUr-* и *-Ur-* (афф. понудительного залога), 3. *-zUn//çUn//sUn* (показатель 3л. императива), 4. *-Ur//yUr*, 5. *-U/-yU* (показатели аориста и слитного деепричастия, которые, правда, имели и варианты с широким гласным – соответственно *-Ar* и *-A*). К этим пяти аффиксам можно было бы подключить несколько менее употребительные: 6. **KArU/*GARU* (афф. направительного падежа), 7. *-yUK* (афф. третьего прошедшего времени), 8. *mU* (вопросительная частица) и другие.

* Мы используем в этой статье систему транскрипции, применяемую турецкими лингвистами. Здесь знак *ı=ы* (академической транскрипция на базе русского алфавита), *ğ=б* (веляризованный фрикативный *g*), *k=к* (задненебный), *ñ=н*, *ç=ч*, *с=гж*, *ş=ш*, *j=ж*, *y=й*; остальные знаки разъяснений не требуют. При обозначении аффиксов могут использоваться прописные буквы *K, G, C, D, T, A, I, U*, причем *K* соответствует в этом случае как задненебному (*k*), так и средненебному (*k*) вариантам согласного, *G* – также двум вариантам согласного, *C* – как глухой (*c*), так и звонкой (*c*) аффрикатам, *D* (или *T*) – обоим этим смычным (звонкому и глухому); прописное *A* обозначает широкий негубной гласный (*a* или *e*), *I* – узкий негубной (*i* или *ı*), *U* – узкий губной (*u* или *ü*). Значок ^o используется тогда, когда характер узкого гласного (губной–негубной) не уточняется. Аффиксу, присоединяемому к именным основам, предпосылается знак +, а присоединяемому к глагольным основам – знак –; знак ± (или ±) означает возможность использования аффикса как после именных, так и после глагольных основ. Знак –, помещенный после аффикса, говорит о том, что данный аффикс не является конечным в словоформе. При цитировании сохранена транскрипция цитируемых авторов.

Существовала, однако, и третья группа аффиксов – может быть, наиболее представительная (А. Бомбачи называет не менее двадцати формантов), – на которую распространялся закон гармонии гласных по линии лабиальности-иллабиальности (не говоря уже, конечно, о палатально-велярном притяжении). К этой группе, которую можно назвать "сингармонической", или X-группой (обозначая символом X любой требуемый законом гармонии узкий гласный), относились такие форманты, как 1. (X-1)-Xl-, 2. -Xn-, 3. -Xç- (показатели страдательного, возвратного и совместного залогов), 4. -Xç (афф. глагольного имени), 5. +XG (афф. вин. падежа), 6. +nXñ (афф. род. падежа), 7. +(X)m, 8. +(X)ñ, 9. +(X)mXz, 10. +(X)ñXz (афф. принадлежности 1 и 2 лиц ед. и мн. чисел), 11. -(X)p (деепричастный афф.), 12. +IXG, 13. +sXz, 14. +IXK (отыменные словообразовательные аффиксы), 15. -(X)ñ (афф. 2 л. мн. ч. императива), 16. -(A)lXm (афф. 1 л. мн. ч. императива) и другие, менее употребительные.

Особо следует сказать о показателе первого прошедшего времени. Форма 3 лица должна быть отнесена к I-группе (-dl/-tl), формы же двух других лиц (обоих чисел) – к X-группе: -dXm/-tXm, -dXmXz/-tXmXz, -dXñ/-tXñ, -dXñXz/-tXñXz (Ср., например, форму *boltum* "я сделался" памятника № 45 /из Кежилиг-хобу/ [3, с. 81], многочисленные формы типа *urtumuz* (ст. 98), *öliürdümüz* (ст. 99), *işlädimiz* (ст. 111, сн. 213), *qiltimiz* (ст. 114, сн. 226) из "Хуастуанифта" [4, с. 220, 221] и другие); Ф.Т. Тимурташ не прав, относя названные формы к I-группе [5, с. 117].

Таким образом, можно видеть, что уже в древнетюркском языке принципы не только палатальной, но также и губной (лабиально-иллабиальной) гармонии достаточно строго выдерживались весьма значительной группой формантов. Впрочем, отмечались и отклонения. А. Бомбачи говорит об аффиксах X-группы +IXG, +sXz, которые допускали колебания, в частности, в пользу негубного варианта; получал в отдельных случаях (правда, в сравнительно позднее время) губные варианты формант I-группы -mlç, негубные варианты формант U-группы -Ur и т.д.

1.1. О происхождении аффиксальных морфем. Возникает закономерный вопрос: если на значительную часть аффиксов в полном объеме распространялись принципы сингармонизма; то чем объяснить факт игнорирования лабиально-иллабиальной гармонии формантами первой и второй групп? А. фон Габэн указывала, что гласный *i* в аффиксе принадлежности 3 лица (см. I-3) объясняется происхождением этой морфемы из самостоятельного слова – местоимения того же лица [6, с. 106]. Точно так же формант императива -Gll (I-5), как разъясняли многие авторы, начиная с акад. В.В. Радлова, имеет своим этимологом глагол *kil* в повелительной форме ("действуй!") [7, с. 91; 2, с. 96; 8]. По-видимому, и другие аффиксы первой и второй групп отделились от своих этимологов в сравнительно недавнюю эпоху (по отношению ко времени создания древнетюркских памятников) – иначе трудно объяснить в одних случаях ясную лабиальную, а в других четкую иллабиальную "окраску" этих формантов на фоне "индифферентности" формантов третьей группы. Конечно, и представители этой последней группы должны были, если верна старая теория агглютинации, восходить к каким-то корневым словам (часть этих слов содержала губные гласные, другая часть – негубные), но скорее всего процесс расщепления в этом случае происходил в значительно более далекую эпоху. Во всяком случае не вызывает сомнения, что каждый формант – к какой бы группе он ни относился – в своем исходном виде имел всего один фонетический "вариант" (т.е. представлял собою первоначально не аффикс, а служебное слово), и этот исходный вариант должен всегда браться в расчет исследователем, хотя в том или ином случае его предположение может и не подтвердиться последующими разысканиями.

2. Система узковокалических морфем в староосманском языке. Староанатолийско-турецким (или староанатолийско-тюркским, старотурецким, староосманским) обычно называют турецкий (османский) язык XIII–XV вв. [5, с. 96; 9, с. 193; 10, с. 13]; позже

он переходит в "классический" османский язык (XVI–XVIII вв.). Дальнейшая периодизация в рамках затронутой здесь темы интереса не представляет.

В староосманском языке (я, шире, в западногузском), как и в древнетюркском, выделяются три группы узковокалических морфем, т.е. морфем *IU*-класса. Различие состоит лишь в том, что третья (сингармоническая) группа в староосманском языке необычайно сузилась, почти распалась, а вторая, лабиальная, т.е. *U*-группа предельно расширилась, так что губной сингармонизм стал, собственно говоря, фикцией и, как пишет М. Эргин, речь можно вести лишь о (губной) "дисгармонии гласных" [11, с. 391]. Разумеется, о "сужении", "распадении" или "расширении" групп здесь говорится условно, поскольку отнюдь не доказано и даже весьма сомнительно, что древнетюркский язык являлся непосредственным предшественником староанатолийско-турецкого или хотя бы западногузского языка. Непосредственными их предшественниками являлись, по-видимому, диалекты, которые не нашли отражения (прямого) в рунических и древнеуйгурских памятниках.

Первая группа аффиксов в старотурецком языке (соотносительно с древнетюркским) осталась почти без изменений; в нее включаются аффиксы 1. *+çl* (см. I-I), 2. *+(n)l*, 3. *+(s)l*, 4. *-mlş*, 5. *-Gll*, 6. *-All* (например: *işideli* [12, с. 246] "с тех пор, как услышал"). Пополнилась эта группа пожалуй, только вопросительной частицей *ml* [например, в "Evlıya Çelebi seyahatnamesi" (XVII в.) встречаются формы *olur ml*, *okunur ml* [13, с. 84, 87]; то же и в текстах XV в. [5, с. 119]], которая в древнетюркском языке входила в *U*-группу (см. [14, с. 61₅, 62₁₄, 203₂₅]), и возникшими на месте личных местоимений (*sen*, *siz*) предикативными аффиксами 2 лица ед. и мн. числа: 8. *±sln*, 9. *±slz* [5, с. 120, 121] (*±slnlz*), которые, впрочем, в некоторых памятниках тоже огубляются (см., например, такие словоформы, как *eylemışsüz*, *olmıyasuz* и т.п. в тексте конца XV-начала XVI вв. [12, с. 234]).

Во вторую группу входили в старотурецком языке: во-первых, все аффиксы, которые составляли эту группу в древнетюркском, т.е. 1. (*U*-I) *-dUK*-*tUK*, 2. *-dUr*-*tUr*- и *-Ur*-, 3. *-sUn*, 4. *-Ur* и 5. *-U*; во-вторых, ряд морфем, которые в древнетюркском включались в третью (сингармоническую) группу. Это: 6. *+(n)Uñ* (см. X-6), 7. **Um*, 8. *+Uñ*, 9. *+(U)mUz*, 10. *+(U)ñUz*, 11. *-Up¹*, 12. **IU*, 13. **sUz*, 14. *-AIUm* (см. X-16), 15. *-Uñ*. В этот же ряд вошли не известные древнетюркскому языку форманты 16. *+cUK*/*+çUK* (диминутивный афф.), 17. *+dUr*/*+tUr* (афф. сказуемости 3 лица), 18. *-mAIU* (показатель должностовладельческого наклонения), 19. *-(v)Uz* (предикативный афф. 1 л. мн. ч.). Кроме того, сюда же следует включить 20. морфемосочетания *-dUm* (т.е. *-dU-m* или *-d-Um*), *-dUñ*, *-dUK*, *-dUñUz* (формы 1-2 лиц первого прошедшего /категорического/ времени), которые в древнетюркском подчинялись закону губной гармонии.

О сингармонической группе в старотурецком языке говорить затруднительно. Лишь аффикс *+IKK* и залоговые показатели имели губные и негубные варианты (например: *-Il*-*Ul*-), но и в них лабиально-иллабиальная гармония нередко нарушалась – чаще, пожалуй, в пользу негубного варианта (хотя иногда и наоборот) [16, с. 70; 17, с. 49; 9, с. 200; 10, с. 35, 36].

Иллюстрируем сказанное на примере памятника начала XIII в. "Kitābu Evsāfi..." Ахмеда Факиха [18]. Здесь представлены аффиксы, подлежащие включению в *U*-группу: 1. *-AIUm*, 2. *+CUK*, 3. *-Dum* (издатель поэмы – проф. Х. Мазыоглу – зафиксировала одно исключение: *adımladım* 39 b), *-DUñ*, *-DUK*..., 4. *-DUK*- (имя действия), 5. *-DUR*- (фактитив), 6. *-DUR* (афф. сказуемости 3 л.), 7. *+IU* (адъективный афф.); и здесь одно исключение: *bucaklıdur* 88 b), 8. *+(n)Uñ* (афф. род. п), 9. *-sUn* (3 л. имп-

¹ Согласно Ф.К. Тимурташу, гласный этого аффикса "со времени древнетюркского языка губной" [5, с. 114]. Это утверждение недоказуемо. В памятнике Моюн-Чуру [15, с. 30, 34], в "Хуастуанифте" [4, с. 220 сл.], в "Кутадгу билиг" и других памятниках аффикс *-p* подчиняется закону гармонии гласных [1, с. 120].

ратива), 10. *-U* (деепричастие), 11. *+Um* (афф. принадлежности 1 л. ед. ч), 12. *+UmUz*, иногда *+ImUz* (*fikrimüz* 194 а; афф. принадлежности 1 л. мн. ч), 13. *+Uñ* (афф. принадлежности 2 л. ед. ч), 14. *-Uñ* (форма 2 л. императива), 15. *-Up* (деепричастие; мы насчитали три исключения: *çagırıp* 13 б, *gidipdür* 46 б, *gelip* 130 а), 16. *-Ur* (аорист; форм с широким гласным очень мало), 17. *-(A)vUz* (форма 1 л. мн. ч. /оптатива/). Кроме того эпизодически встречается (18) предикативный афф. 1 л. ед. ч. с губным гласным, например: *dirüm* 106 б. По крайней мере половина названных аффиксов (*-AlUm*, *-DUM...*, *+IU*, *+(n)Uñ*, *+Um*, *+(U)mUz*, *+Uñ*, *-Uñ*, *-Up*) входила в древнетюркском языке в X-группу.

Те же аффиксы, представляющие U-группу, исключая не встретившийся здесь афф. *+CUK* (*+CIK?*), обнаруживаем в поэме начала XV в. "Hüsrev ü Şirin" турецкого поэта (ум. в 1431 г.) Шейхи — см. их список в [16, с. 69, 70]. Автор издания Ф.К. Тимурташ констатирует, что залоговые аффиксы и форма на *+IXK*, которые во многих староосманских памятниках образуют X-группу, здесь имеют в основном негубные варианты (*örülle*, *urındı*, *soışdı* и т.п.) [16, с. 70]. Таким образом, фактически приходится говорить лишь о двух группах аффиксов — иллабиальной и лабиальной, причем последняя явно доминирует.

Давно уже поставленный этому явлению диагноз — лабиальный сдвиг в системе аффиксальных морфем с узкими гласными — подтверждают и многие другие памятники турецкой литературы XIII–XV вв. Вопрос о причинах указанного сдвига предварим обследованием ситуации, сложившейся в отношении узковокалических аффиксов в языках среднеазиатского региона в первой половине второго тысячелетия н.э.

3. Узковокалические морфемы в средневековых тюркоязычных памятниках среднеазиатского региона. Известно, что для обширной языковой территории, которую здесь условно можно обозначить как среднеазиатский регион тюркских языков, в XIII–XV вв. (да и в последующее время) лабиализация формантов с узкими гласными была в общем не характерна (без учета, конечно, аффиксов, которые изначально относились к U-группе [см. 1.]). Однако этот тезис, по-видимому, нуждается в конкретизации. Для этого мы избрали несколько памятников, появившихся за пределами юго-западного (западно-огузского) региона: А) среднеазиатский "Т(ефир)" (список XIII–XIV в. [19]), Б) "К(исекбаш китабы)" (XIII–XIV в. [20]), В) "М(ухаббат-наме)" (середина XIV в., 1353 г.) [21, с. 111 сл.; 22], Г) "Л(атафат-наме)" (первая половина XV в. [23]), Д) "О(гуз-наме)" (список XV в. [21, с. 11 сл.]). Обследованию подверглись следующие аффиксы и морфемосочетания: 1) *+n°ñ*, 2) *+°m*, *+°ñ...* (афф. принадлежности 1 и 2 лица), 3) *+l°G* и 4) *l°*, 5) *+s°z*, 6) *-°p*, 7) *-D°m*, *-D°ñ...*, 8) *-°l*, 9) *-°s*.

Чтобы сократить изложение материала, приведем таблицу, отражающую результаты проведенного обследования. В таблице использованы символы, примененные ранее: X — если аффикс следует иллабиально-лабиальной гармонии, т.е. имеет четыре варианта, U и I — если аффикс имеет только губные (U) или только негубные (I) варианты; сбой в сторону огубления, разгубления или сингармонизации обозначаем строчными литерами (соответственно), и, i и x (помещая эти буквы в скобки, когда сбой носят единичный характер). Если данный аффикс редко встречается в названном памятнике, то цифра в скобках уточняет количество его употреблений (см. Таблицу).

Таблица показывает, что лабиализованные (без негубных гласных) варианты аффиксов встречаются в памятниках в общем нечасто. Более всего они характерны для "Огуз-наме", причем дважды или скорее даже трижды (Д2, Д7 и Д3) вообще не имеют альтернативных вариантов (ср. Д3: *körüküzgäräk* 1_в, *аташлул* 7_а, *јалул* 17_б, 29_б, *кабанлул* 19₇, *канбалул* 32_в... при единственной форме с негубным гласным: *башил* 28₂). Между тем, язык сказания об Огузе не является, конечно, огузским А.М. Щербак расценивает его как "среднеазиатское диалектное ответвление

№	памятники формы	А Т(ефсир)	Б К(исекбаш)	В М(ухабб.-н.)	Г Л(атаф.-н.)	Д О(гуз.-н.)
1	+п ^о й	І ^у	І	І ^(у)	Х ^{і,(у)}	Х ^{(і)Д}
2	+ ^о м, ^о й..	Х	Х ^(і)	Х ^(у)	Х ^(у)	У
3	+І ^о Г	Х ^(а,а)	—	Х	Х	У ^(х)
4	+І ^о	У ^{(х)Д}	І(Х?) (2)	У(уйг.), І ^(х) (ар.)	(ерисл)	—
5	+s ^о z	ХЛ	—	І	Х	І(2)
6	- ^о р	Х	Х	Х	Х	Х ^{у,(і)}
7	-d ^о м, -d ^о й	Х ^у Д	Х ^у	Х	Х ^і	У
8	- ^о І-	Х ^{у(і)}	(kesil-)	Х	І(Х?) (2)	Х
9	- ^о ҕ-	У ^{х,а}	Х ^(у) (У?) (3)	(кѳруш-)	І(Х?) (2)	(уруш-)

карлукско-уйгурского языка" [21, с. 105]²; в нем даже меньше южных элементов, чем в языке "Мухаббат-наме" [21, с. 167; 22, с. 127], хотя в последнем лабиализованные формы почти не встречаются – только форма на І^о в уйгурском (У) списке поэмы (см. В4): *кӧркӱсдӧн* 16468, *татлы* 16664, *дудаклы* 172аб, *хишмӧтлӱ* 17363... [21, с. 134 сл.]; ср. в арабском списке: *татлы сѳзлӱ* 163, *дудаглы* 366, *хашмӧтли* 435 [22, с. 40 сл.].

4. О причинах лабиализации негубных гласных. Этот вопрос неоднократно поднимался и решался на материале староосманского языка, где лабиализация негубных гласных в грамматической части слова приняла особенно широкий размах (см. 2). Разумеется, следует четко разграничивать случаи лабиализации а и б и а л и з а ц и и негубных гласных (причем лабиализация может быть иногда и чисто орфографическим явлением) и случаи исконной, т.е. этимологической, лабиализации гласных [25, с. 7; 9, с. 157]. Последняя позволяет предполагать наличие губного гласного в составе этимона, к которому восходит данный аффикс (см. 1.1.). Так, в аффиксах *-tUK/-dUK* (U-1), *-tUr/-dUr-* (U-2), *-yUr/-Ur* (U-4) во всех тюркоязычных памятниках VIII–XV веков был представлен исключительно (или преимущественно) губный гласный, в связи с чем есть основания предполагать, что эти форманты восходят к глаголам (соответственно) *tükä-* "кончаться", *tur-* "(на)стоять", *yür-* "ходить, двигаться" [26–28]. Аффикс *-tUK/-dUK*, согласно Словарю Махмуда Кашгари, является показателем прошедшего времени, а *-dl/-tl* – усеченный вариант этого аффикса. В связи с этим следует считать закономерной лабиализованность гласного в морфемосочетаниях *-dUm/-tUm* в сказании об Огузе (см. Табл., Д7 [21]: *болдум* 117, *аттум* 424, *аштум* 423, *ӧтӧдӧм* 426...).

То же можно сказать об аффиксе совместного залога в среднеазиатском "Тефсире". В статье о происхождении тюркских залоговых аффиксов мы высказали гипотезу, согласно которой аффикс совместного залога (*-Xs-*) восходит к глаголу *üs-* "стекается, собираться", и далее говорилось: "К сожалению, специальные признаки, которые позволили бы подтвердить предлагаемую гипотезу – имея в виду, в частности, ожидаемое (в свете этой гипотезы) преобладание губных вариантов аффикса, – обнаруживаются редко и не могут приниматься в расчет" [29, с. 89]. Обследование среднеазиатского "Тефсира" позволило выявить эти "специальные признаки", поскольку в аффиксе *-^оҕ-* здесь явно преобладают губные варианты, т.е. *-üs-* и *-us-*, хотя встречаются и отклонения в сторону гармонизации и даже делабиализации (см. Табл., А9; [19]: *ајдуш-* с. 45, *ајтуш-* с. 46, *баруш-* с. 91, *сӧwӧнӱш-* с. 265, *јетӱлӱш--јетӱлӱш-* с. 152, *ӧлӱш-* с. 245, *ӱстӧрӱш-* с. 341, *тоқиш--тоқуш-* с. 307; *отурӱш-* с. 240). Губной гласный представлен также в трех формах совместного

² Так, падежные формы демонстрируют здесь элементы уйгурско-кыпчакского и карлукского типов, но, безусловно, не огузского типа склонения (см. [24, с. 52, 54, 44]).

залога сказания о Кисекбаше, правда дважды после губных гласных корня (Б9; [20]: *durušalm 2, körüştiler 251, çaqruşdylar 141*).

Залоговые аффиксы *-Tur-* и *-Uş-* могли оказывать "огубляющее" воздействие на аффикс страдательного залога (*-l-*) (ср. в "Тефсире": *imül-* с. 127, *käclä--käcül-* с. 175, 176), хотя и этот аффикс, восходящий, по нашему предположению, к глаголу *kit-* "делать" [29, с. 85–88], мог в свою очередь содействовать делабиализации узкого гласного аффикса совместного залога.

Если лабиализованность аффикса *-Uş-* и морфемосочетания *-Dum-* представляется закономерной, то этого нельзя сказать о пяти или шести других случаях, где засвидетельствован тот же феномен (см. Табл., Д1 – 3, А4, В4, Д6). Аффикс родительного падежа (*n°ñ*) естественным образом возводится к существительному *ney* "вещь, достояние" (гипотеза Р. Ш о у [30, с. 260], нуждающаяся лишь в некоторых уточнениях). Аффикс принадлежности *+°m* явно восходит к личному местоимению *ben/men* "я" с отсечением конечных звуков. Гласный этого аффикса является промежуточным (соединительным) и он мог бы быть широким или узким, мог легко поддаться воздействию лабиально-иллабиальной гармонии, но для его лабиализации должны существовать какие-то особые причины. То же следует сказать о соединительном дееспричастии *-°p* (также *-°pAn/-°bAn*), этимологом которого, по нашему предположению, является глагол *ba-* "(при)соединять" (также *ban-* "присоединять к себе") [31]; гласный этого аффикса – хотя и без сомнений промежуточный – очень часто, особенно в староосманском языке, не имел негубных вариантов, т.е. относился к группе *U* (Правда, в древнетюркских памятниках и многих среднеазиатских рукописях этот гласный явно сохраняет статус соединительного. А.М. Щербак делает следующее примечание к словоформе *jarıb*, "Огуз-наме" 14: "Написание *jarab* со своеобразной огласовкой морфологической части в тексте легенды не вызывает никаких сомнений. Подобная особенность свойственна языку енисейских надписей, манихейских памятников и более поздних текстов" [21, с. 64]).

Адъективный аффикс *+°G* → *+°*, очевидно, должен быть возведен к глаголу *sig-* "вмещаться" [32, с. 49], и утрата им негубных вариантов в отдельных памятниках и в старотурецком языке также нуждается в разъяснениях.

Эти разъяснения, даваемые тюркологами, сводились к трем моментам. Прежде всего отмечалось лабиализующее воздействие на гласные губных согласных *p, b, m, v*. Сейчас нелегко определить, кто из исследователей первый обратил на это внимание [33, § 45; 25, с. 43; 34, с. 83; 5, с. 110; 11, с. 387; 9, с. 198...]. Это наблюдение не вызывает возражений, хотя показательно, что названные согласные представлены в любом языке и диалекте, а огубляют соседние гласные они лишь в некоторых из них. В связи с этим интересно отметить, что, например, в "Латафат-наме" [23] согласный *m* оказывает лабиализующее воздействие только на последующий гласный и только когда за ним следует *ı*, (да и то не во всех рукописях): *kimüñ 99-II* "чей, (у) кого" (К, С: *kimün*), *орамуң(нын)* 280 "твоя улица" (Л: *орамыңнын*; 256-К: *орамың*); гласный, контактирующий даже с двумя *m*, не огубляется: *саламым* (150, 151, 152) "мой привет". Упомянутые словоформы (с губным гласным) встречаем и в других памятниках – Т [19]: *kimün* с. 196, 179 (там же и *kimün*), *орамуң* 141 (сноска издателя: У – лучше: *орамың* [22, с. 39]), *орамуң* 230. Более рельефно влияние губных согласных (включая *f/f'*) прослеживается по памятникам староузбекского языка, обследованным Э.И. Фазыловым. В алфавитном указателе слов, помещенном во втором томе работы [35, с. 723 сл.], обнаруживаются следующие слова (около 20) с аффиксами *+лук, +суз, -ул-, -уш-*, в которых огубление гласного может объясняться воздействием губного согласного: *эдэбсузлук 23, арамлук 125, евлук 162, баднамлук 217, савуш- 239, сәвул- 277, сәвнуш- 277, за'йфлук 384, имамлук 417, йабул- 455, йабуш- 456, чабул- 506, қабуш- 576, қавуш- 580, қамлук 593, ҳарйфлук 668, ҳисабсуз 679, ғариблук 689*. И лишь в пяти случаях нарушение губной гармонии не может быть

объяснено указанной причиной: *эксул*- 142, *билуш*- 245, *сэвинчлук* 276, *дудақлу* 344, *та'атлу* 372.

Другой причиной, вызывающей лабиализацию гласного, тюркологи считают падение ауслатного согласного, особенно *ğ* [36, с. 157; 5, с. 110; 11, с. 387; 9, с. 198]. И это наблюдение подтверждается (с аналогичными оговорками): Т: *адлу* с. 39, *қимматлу* с. 208, *қанатлу* с. 219, *татліў* ~ *татлуў* ~ *татлу* с. 289..., хотя здесь же: *көтүрүклі* с. 187, *дүрлі* с. 209, *көзлүў* ~ *көзлі* с. 182 (ср. также примеры в таблице, приводимой выше (пункт В4); в "Огуз-наме", впрочем, форма на +*l*^oG лабиализовалась "до" падения конечного согласного (см. 3).

Возможность еще одной причины огубления гласных в грамматической части слова – огубления по аналогии [34, с. 84; 5, с. 117; 11, с. 387; 9, с. 198] – также постоянно должна иметься в виду. Этой причиной объясняют лабиализацию гласного адъективного аффикса +*z* в староосманском языке (влияние процесса, коснувшегося другого адъективного аффикса: +*lXG* → +*lU*). Выше мы видели, что сходный процесс частично имел место и в среднеазиатском регионе, но на аффикс +*slz* (или +*sXz*) никакого воздействия не оказал.

5. Узвокалические морфемы в османском языке XVI–XVIII веков. Исследовавшиеся тюркологами транскрипционные тексты XVI и даже XVII века давали мало оснований говорить о наметившихся "новых" явлениях и тенденциях в том, что касается узвокалических морфем. Рассмотрим в связи с этим послание Сулеймана I Зигмунту Августу (середина XVI в.) и Турецко-латинский словарь-разговорник середины XVII в.

Сравнительно небольшое (45 строк) послание Сулеймана I (1551 г.) несет на себе печать давно укоренившейся и пока не сдающей позиций лабиализованности гласных. Исключительно губные варианты имеют здесь многократно употребляющиеся притяжательные аффиксы (*memleketlerum, askerum, beglerumus, vilayetumus, tarafunus, namenus, muradunuz, ademlerunus...*), а также аффикс сказуемости *-dur* (*buyurulmiştur, gerektur* и т.д.); единичный "сбой" при очевидном преобладании "правильных" (т.е. губных) вариантов допускает формант соединительного дееспричастия (*warub, gelup, gonderup, donanup* и пр. при *itmeib*), фиксируются и другие лабиализованные аффиксы (*olmalu, erismedum*); пожалуй, лишь позиция губного варианта аффикса родительного падежа кажется несколько поколебленной (*tachtumen, kralen, padissachligumen*; но ср. *sizun* /четырежды/, *memleketlerumu(n), benu(m), anun*) [37].

Хотя рукописный словарь под названием "Illéshazy Nicolai Dictionarium turcico-latinum" был завершён в 1668 г. (т.е. через 117 лет после написания рассмотренного выше послания), трудно удостовериться в том, что лабиализованность узвокалических формантов пошла здесь на убыль. Об этом свидетельствует длинный список аффиксов, имевших по данным Словаря и его издателя И. Немета, только /или преимущественно/ губные варианты. Помимо аффиксов принадлежности (*sultanutum, aklun, konagutuz, iolunub...*), родительного падежа (*dunianon, kralinun...*), аориста (*katlanurum*), прошедшего времени /формы 1 и 2 лиц/ (*aldum, szevduk* и проч.), повелительного склонения /формы 3 л. ед. и 1 и 2 лиц мн. ч./ (*szevsun, gyidetum, kalunus...*), имени действия (*istedugun*) и именного словообразования (*tembelluk; kulakzuz, kuvetlu*), здесь должны быть названы еще предикативные аффиксы всех лиц (*korkarum, verursun, bundadur* и проч.) и даже залоговые показатели (*satul-...*). Только бывший всегда традиционно губным показатель понудительного залога допускает чередование губного гласного с негубным (*degistur--degyster-*) [38].

Между тем столетие с небольшим спустя (в восьмидесятые годы XVIII века) турецкий язык демонстрирует уже идеально, без всяких сбоев действующий механизм палатально-велярной и иллабиально-лабиальной гармонии гласных, который в неизменном виде сохраняется до настоящего времени. Работа этого "механизма" описана в двух грамматиках конца XVIII века – Вигье (1790) [39] и Карбогнано (1794)

[40], хотя еще и в XIX веке многие авторы турецких грамматик (как, например, А. Жобер /1823, 1833/ или А. Дэвидс /1832, 1836/) проходили мимо сингармонизма гласных и продолжали навязывать своим читателям "огубленные" формы ряда аффиксов, т.е., как выразился М. Вигье, говоря о дееспричастии на *-lb*, "произношение рукописей" [39, с. 242].

6. Теорин Г. Хазаи и Л. Юхансона. Неоправданная (с позиций сингармонизма) лабиализованность многих узковокалических формантов неожиданно, в XIII веке, возникает и не менее стремительно, в XVIII веке, сходит на нет. Эти процессы, особенно последний, требовали теоретического осмысления, которое и предложили работы хорошо известных в тюркологическом мире профессоров Г. Хазаи и Л. Юхансона.

Г. Хазаи, с исключительной тщательностью обследовавший появившиеся в 1672 г. транскрипционные тексты Якоба Надь де Харшани [41], занимает наиболее, казалось бы, естественную позицию, предполагая постепенное нарастание процесса ассимиляции в аффиксах, длительное время не подчинявшихся лабиально-иллабиальной гармонии. Так, он устанавливает, что, например, аффикс принадлежности 1 лица ед. ч. $\{+(U)m\}^4$, который в текстах XIII – XV вв. выступал почти исключительно в губных вариантах (*+um*, *+üm*), в середине XVII века имеет четыре варианта: */üm/*, */um/*, */im/*, */im/*, причем вариант */üm/* засвидетельствован 32 раза, из них лишь 6 раз после губного гласного последнего слога, а вариант */um/* – 48 раз, в том числе 40 раз после гласного *a*; вариант *im/* фиксируется в 7 случаях (только после негубных) и вариант */im/* – в 16 случаях (после негубных, лишь однажды после *o*). Итого 67 раз выступают после негубных гласных губные варианты аффикса, но в 22 случаях отмечены уже и негубные варианты. Процесс "сингармонизации" аффикса, таким образом, идет. Фиксирует автор и так называемые "Reaktionserscheinungen", т.е. явления, которые идут вразрез с общим направлением развития, как, допустим, в данном случае форма *yoł-um-ı* (негубной вариант аффикса после губного гласного корня!) [41, с. 402].

Л. Юхансон, широко использующий, наряду со своими собственными наблюдениями, работу Г. Хазаи (как и других авторов), не принимает, однако, его теоретических посылок, выявляя определенные противоречия. Так, по данным Г. Хазаи, привативный аффикс *+sUz* (см. выше: № U-13) к середине XVII в. полностью делабиализовался, причем негубные варианты аффикса следовали даже за губными гласными *O* и *U*, что автор справедливо оценил как иллабиально направленную унификацию [41, с. 401]. Но если делабиализация заходит так далеко, что становится всеохватной, то не означает ли это, что тенденция к лабиальной гармонии, которая выступала в качестве побуждающего фактора, путем именно устранения этой гармонии противодействует сама себе, превращается в свою противоположность, что нелегко себе представить [42, с. 58].

Концепция самого Л. Юхансона сложнее. Он говорит о трех последовательных ступенях, которыми отмечено развитие аффиксальных морфем рассматриваемого класса и которые он называет ступенями Р(елевантности), И(ндифферентности) и А(ссимиляции) [42, с. 33 сл.] (см. также [43, с. 36 сл.]). Для Р-ступени характерно наличие у аффикса стабильного губного (и только губного) варианта, что обеспечивает релевантность губному гласному, который, не утрачивая лабиальности до окончания Р-ступени, переходит лишь из разряда широких гласных (*o*, *ö*) в узкие (*u*, *ü*). Переход к И-ступени означает, что гласный аффикса утратил присущую ему ранее лабиальность и на его месте возник некий "индифферентный" (нейтральный) гласный, который можно условно обозначить символом Э (или э̇). Лишь после этого начинается ступень Ассимиляции, когда фонологическое различие между губными и негубными гласными, входящими в состав тех или иных формантов, нейтрализуется, т.е. появляется узкая архифонема, обозначаемая символом /±ГУБНОСТЬ/, с альтернирующими вариантами, каждый из которых автоматически определяется характером гласного предшествующего слога. Такова, в краткой обрисовке, схема, вслед за изложением которой автор подробно анализирует развитие пяти

обособленных групп аффиксов и каждого форманта в отдельности. Однако предложенная схема не кажется нам убедительной.

Прежде всего, хотя ступень Релевантности действительно существовала, однако характер гласного (*гб/нзб*) определяется на Р-ступени исключительно качеством гласного того знаменательного (позже служебного) слова, которое явилось этимологом данного аффикса, о чем говорилось выше (1,1; 4). Так, если морфемы страдательного залога *-(X)K-* и *-(X)l-* (как и аффикс императива *-Kll/-Gll*) восходят к глаголу *kil-* "делать", то предполагать на Р-ступени наличие губного гласного в этих формах нет оснований. Между тем, в отдельных примерах, где в частности фиксируются залоговые формы типа *sävün-*, *gonderulup* и т.п., автор видит именно реликты Р-ступени [42, с. 65].

Большие сомнения порождает ступень И(ндифферентности), которая, как нам представляется, в одних случаях должна быть скорее признана обязательной составляющей ступени А(ссимиляции), а в других вообще является фикцией. В ситуации, когда за негубным гласным основы следует губной гласный или, наоборот, за *гб* основы следует *нзб* в составе аффикса и наметился процесс ассимиляции, процесс этот не может осуществиться сразу же, единым прорывом к новому состоянию; неизбежен довольно длительный период, когда гласный аффикса уже как бы утратил свое прежнее качество, но еще по-настоящему не обрел нового. Здесь-то и появляется какой-то "индифферентный" звук, типа, например, *e* в формах *degyister-* "менять" при переходе от *degiştur* к *degiştir* или *kessdek* "мы отрезали" [42, с. 44] при переходе от *kesduk* (*kestük*) к *kestik*. Говорить в этих случаях об особой "ступени" хотя и можно, но вряд ли целесообразно. Не могут быть, конечно, отнесены к И-ступени случаи, когда "нейтральный" гласный обнаруживается в безударном слоге (где он, собственно, и в современном языке обычно сохраняет значительную акустическую неопределенность). Показательно, что наряду со многими формами типа *euienden*, *ormanenda*, *elendadur* и проч. [42, с. 40], автор приводит лишь одну форму, где притяжательный аффикс ударен, а гласный как бы нейтрален (*ade* "его имя" [с. 42, сн. 20]), но, по свидетельству исследователя (В. Монтейля), это *e* равноценно *i*.

Особое место следует отвести с о е д и н и т е л ь н ы м гласным, которые, как мы это видели выше (см. 4.) на примере деепричастного аффикса *-ap--ur*, легко меняют в определенных пределах свое качество (например, широкий – узкий).

Наконец, по-видимому, вообще не может идти речи о ступени И в тех случаях, когда последний гласный основы и ударный гласный форманта принадлежат к одному и тому же типу (например, оба *гб* или оба *нзб*). Если, допустим, аффикс *-mlş*, относящийся к I-группе, позже входит в фазу ассимиляции, то это не значит, что наряду с формами типа *unudulmiş* (P) → *unudulmēs* (И) → *unutulmuş* (А) пройдет те же ступени эта же морфема, присоединенная к основе любого другого глагола. Так, если *guelmich* [42, с. 39] – форма прошедшего неочевидного времени, характерная для Р-ступени, то, не претерпевая никаких изменений и не проходя, разумеется, И-ступени, этот же глагол в той же форме предстанет и на ступени А(ссимиляции): *gelmiş*. В противном случае пришлось бы вообразить себе процесс *gelmiş* (P) → *gelmēs* (И) → *gelmış* (А)...

Оценим теперь действительность схемы, предлагаемой Л. Юхансоном, на примере проводимого им анализа исторического развития одной из форм – адъективного аффикса, восходящего к древней форме *+l^og*. Эта форма по классификации автора попадает в группу 3а, куда включены морфемы, бывшие уже в древнетюркском языке сингармоничными, но ранее предположительно содержавшие в своем составе г у б н о й гласный (ср. выше: 4), каковым обследуемый формант и представлен в староосманском языке. По данным Харшани-Хазай [41, с. 400] аффикс *+ll* в середине XVII века на 90% делабиализован, причем примерно одну треть всех употреблений форманта (71 из общего числа 209) составляют случаи, где за *гб* основы следует *нзб*

аффикса (*fundukli, turli* и т.п.). Очень трудно рассматривать это как *Reaktionerscheinung* (по Г. Хазаи), но и позиция Л. Юхансона столь же уязвима. В формах с губным гласным, которые, по данным анонимного турецкого словаря, обследованного А. Бодролягетя, доминировали в Исфагане еще в конце XVII века, т.е. в формах типа *ütüklü, qizli* [44, с. 24], Л. Юхансон видит затянувшуюся Р-ступень, а в выше упомянутых формах типа *fundukli, turli* – И-ступень, предшествующую ступени Ассимиляции, обозначившейся лишь к концу XVIII века. Хотя характерный для И-ступени нейтральный гласный (Э) в форме на +II никем из исследователей не фиксируется, автор теории предполагает, что он все же должен был быть, в связи с чем пишет: "Так как в этой нейтральной форме гласный оказывается в ауслауте, то его фонетическая редукция проявляется, правда, не столь четко, чтобы получить отражение в графике" [42, с. 56–57]. Впрочем, независимо от того, проявлял ли себя в названных и им подобных формах "нейтральный звук", эти формы, представляющие ступень И, должны были через некоторое время трансформироваться в сингармонизованные формы типа *funduklu, türli* (ступень А). Но в таком случае приходится предположить, что цикл развития завершился в XVIII веке той же самой формой, которой он и начался и которая существовала в этом же языке несколько веков назад; представляя, однако, в то время ступень Релевантности: *funduklu* → *fundukli(ḡ)* → *funduklu*... Если же предполагать, что, с одной стороны, издавна существовали (и продолжали существовать) формы типа *funduklu, türli*, а с другой – отпочковавшиеся от них (и на этом завершившие свое развитие) формы *fundukli, türli*, то тогда не ясно, почему речь идет о т р е х последовательных ступенях развития... (см. в связи с этим 7.2).

7. Третья гипотеза. Поскольку по вопросу, обследуемому в этой статье, свои теоретические взгляды высказали – насколько нам известно – только Г. Хазаи и Л. Юхансон, гипотеза, которую мы хотим здесь изложить, будет в этом ряду третьей.

7.1. Четыре (две) группы морфем класса Р. Символ Р, предложенный Л. Юхансоном для обозначения древнейшей ступени развития тюркских аффиксальных морфем (я, соответственно, древнейшего состояния каждой существующей морфемы), как уже говорилось выше (см. 6), заслуживает принятия. На Р-ступени (которую большая часть тюркских морфем прошла в додревнетюркский период – между пратюркским и древнетюркским, подчас задолго до VII–VIII вв. н.э.) аффиксальные морфемы Р-класса подразделялись, по-видимому, на четыре подкласса: подкласс Р¹, в который входили аффиксы с узкими н е г у б н ы м и гласными (*i* или *ı*), подкласс Р², включавший аффиксы с узкими г у б н ы м и гласными (*u, ü*)... Именно эти два подкласса нас в данном случае интересуют, но назовем и два других: Р³ (гласные *a, e*), Р⁴ (гласные *o, ö*). Попутно отметим, что, по нашим данным, количество этимонов, содержащих широкие губные гласные *o* или *ö* – и позже превратившихся в аффиксы, – было очень невелико (не более 8% от общего их числа), и именно это обстоятельство, по-видимому, привело к тому, что второй и последующие слоги слова в большинстве тюркских диалектов, позже языков, оказались закрыты для этих гласных, так что четвертый подкласс, едва возникнув, распался. Предполагаемое былое преобладание широких губных гласных над узкими [42, с. 36–38] применительно к руническим памятникам, тем более в морфологической части слова [43, с. 32], весьма сомнительно. В пратюркском же языке (т.е. за тысячу и более лет до эпохи создания рунических памятников), возможно, были представлены именно широкие губные гласные. Правда, без дополнительного подтверждающего материала эта гипотеза (ср. еще [27, с. 39, 41, сн. 23]) вряд ли может быть принята.

Перечислим теперь, не вдаваясь в детальное обсуждение вопроса, о с н о в н ы е морфемы подклассов Р¹ и Р².

П о д к л а с с Р¹: 1. +*çl*, 2. +*nl*, 3. +(s)*l*, 4. -*mls*, 5. -*Kll-Gll* (Эти аффиксы в древнетюркском языке составили *l*-группу (см. 1); к Р¹ относится также значительная

часть аффиксов, позже вошедших в X-группу): 6. *-ll-*, 7. *+llG*, 8. *+slz*, 9. *+llK* (?). Отметим, что в классификации Л. Юхансона аффиксы 7 и 8 включены в класс 3а [42, с. 55 сл.], так как в староосманском ("западноогузском") они содержали губные гласные. Что касается притяжательных аффиксов (*+^om*, *+^on*...), деепричастного аффикса *-^op* и некоторых других, то они, как мы полагаем, вообще не входят в класс P, так как наличествующий в них гласный был не этимологическим, а с о е д и н и т е л ь н ы м ("промежуточным") или же развившимся из широкого негубного гласного (род. пад.: *+nlñ < neñ* "вещь").

Подкласс P²: 1. *-TUK*, 2. *-TUR-*, 3. *-sUn* (*-zUn*, *-şUn*?), 4. *-yUr*, 5. *-yUK*, 6. *mU* (Форманты, составившие в древнетюркском языке U-группу; из X-группы к подклассу P² относятся только: 7-8. *-Uş(-)*).

7.2. Три (два) направления развития. Возникшие морфемы в дальнейшем подвергались различным изменениям, т.е. развивались. Можно назвать три направления их развития или, точнее, два, поскольку третье сводится к сохранению первоначального статуса, то есть "направлением" не является. Тем не менее именно об этом консервативном "направлении" стоит упомянуть в первую очередь, поскольку оно оказалось достаточно жизнеспособным. Так, аффикс понудительного залога *-iUr/-dUr-* возник, несомненно, за сколько-то сотен лет до появления первых рунических памятников, однако почти два тысячелетия спустя обнаруживаем в современных турецких диалектах такие формы, как *siğduramamış, sıkışdumışla, gal-dumuş, indürüsem* и т.п. (вил. Кастамону), *barışdürün, barışdürmiş, geçürür* и пр. (вил. Чанкыры) [45, с. 3 сл., 88 сл.], *gaçurdula, yaturdu, yapdurup* и т.д. (вил. Болу) [46, с. 164 сл.] и др., т.е. формы, где губной гласный по-прежнему является неотъемлемым признаком данного залогового аффикса. То же самое можно сказать о форманте имени действия (исторически – аффикс прошедшего времени) *-iUK/-dUK* – ср. примеры типа: *inanduğu, içdukten, kesduğu, dileduğnu* (Кастамону) *beyendünü, dedüklerini* (Болу), *sevdiivüm, gitdiügün, dedümü* (Зонгулдак) [46, с. 181 сл.] и т.п. Нетрудно привести аналогичные примеры, касающиеся таких, например, форм, как *-sUn* или *-Ur*. С другой стороны, вопреки мнению Т. Бангуоглу [47, с. 31] (ср. [42, с. 41]), до нашего времени сохранились в некоторых диалектах и отдельные формы, присущие подклассу P¹. Достаточно назвать фиксируемые А. Джафероглу в вилайетах Эрзурум и Чорух формы типа *yoli, düşmiş, ekdurmişim, borçli* и т.д. [48, с. 186 сл., 224 сл.] или похожие формы, отмечаемые Я. Экманом в турецком говоре македонийского местечка Динлер [49, с. 189 сл.]. Возвращаясь к словоформам типа *funduklt, turli* (см. б), следует заметить, что такая форма этого аффикса (т.е. *+ll*) не может считаться "нейтральной"; именно в этой форме аффикс *+l^o* (утративший конечный согласный *ğ*) сохраняет свою принадлежность к подклассу P¹; для отнесения его к подклассу P² ясных оснований не видно.

Переходя от "консервация" аффиксов к их разв и т и ю, отметим, что оно шло в двух направлениях. Главным направлением, безусловно, является сингармонизация, т.е. для морфем подкласса P¹ появление г у б н ы х, а для морфем подкласса P² – н е г у б н ы х вариантов аффиксов, что и привело к становлению "сингармонической" группы морфем, представленной уже в древнетюркском языке. Эта группа, однако, уже не входит в класс P, так как гармонизованные морфемы не могли появиться на стадии в о з н и к н о в е н и я аффиксальной системы.

Второе направление в развитии тюркских аффиксальных морфем ф о р м а л ь н о можно оценить как смену подкласса (P¹ → P² или P² → P¹), но фактически такая смена означает выход данной морфемы из класса P, поскольку только сохраняющаяся связь с этимологом обеспечивает гласному релевантность; здесь же эта связь как раз утрачивается.

Таким образом, для морфемы подкласса P¹ возможны три пути: 1) сохранить статус морфемы данного подкласса (P¹), 2) выйти из класса P и войти а) в группу X или б) в группу U.

P (±)	исходный вариант морфемы гласный (нзб, зб)	лексическая основа (образец)	гласный основы (нзб, зб)	присоединяемый вариант морфемы	гласный морфемы (нзб, зб)	итоговое состояние (гармония гласных)	группа аффикса	
P ¹ +	+slz нзб ("без")	at "лошадь"	нзб	+slz	нзб	частичная дисгармония (разряд зб)	I (i, i) 1-ая	
		kol "рука"	зб					
	-	at	нзб	+sUz	зб	частичная дисгармония (разряд нзб)	U (u, u) 2-ая	
		kol	зб					
-		at	нзб	+slz	нзб	полная гармония	X (i, i, u, ü) 3-ая	
		kol	зб					+sUz
P ² +	mi зб ("ли?")	at	нзб	mU	зб	частичная дисгармония (разряд нзб)	U (u, u) 2-ая	
		kol	зб					
	-		at	нзб	mi	нзб	частичная дисгармония (разряд зб)	I (i, i) 1-ая
			kol	зб				
-		at	нзб	mi	нзб	полная гармония	X (i, i, u, ü) 3-ая	
		kol	зб					mU

Морфема подкласса P² обладает *mutatis mutandis* теми же вариантами развития (1) P², 2) X 3) I). На этом возможности развития аффиксов, вошедших в группы морфем I, U или X, исчерпываются. Никакого третьего этапа, т.е. третьей ступени развития, не просматривается.

Сказанное можно представить в виде схемы (на примере двух форм – *slz* и *mU*) (см. схему выше).

Можно видеть, что в результате развития исходного варианта морфемы может возникнуть аффикс, характеризующийся либо частичной дисгармонией гласных, либо полной гармонией (группа третья). Из четырех теоретически возможных вариантов развития морфем как в подклассе P¹, так и в подклассе P² нереализованным остается только один – вариант полной дисгармонии (когда за нзб основы следовал бы зб аффикса, а за зб основы – нзб аффикса).

7.3. Старотурецкий, османский: дополнительные данные. Если с XIII по XVIII век группа U была представлена в турецком языке не менее чем двадцатью аффиксами и еще десяток составлял I-группу, а X-группа практически отсутствовала, то как понять ее неожиданный триумф в конце XVIII столетия? Приходится предположить, что какие-то данные нами недоучитываются.

Заметим, что турецкие писатели и поэты средневековья – то же следует сказать и о тюркских авторах предыдущих эпох – были людьми впечатляющей грамотности. Они писали так, как это было принято (предписано?), и обычно ни на йоту не отклонялись от традиционной орфографии, т.е. педантично следовали узусу книжно-письменного языка. Тем не менее, "неправильные" формы, хотя и очень редко, проникали в отдельные тексты, доказывая тем самым, что в речи они есть (были), что они существуют (существовали).

Так, научный трактат Шерефеддина "Сеграһиye-i İlhaniye" (1465 г.) пестрит обычными для староосманского языка формами второй группы (-DUK, -DUR-, -sUn, -UR, +(n)Ung, +IU, +sUz, +CUK, +DUR, -AlUm, -AvUz и некот. др.); афф. +l²K подчиняется здесь закону гармонии гласных, а аффиксы страдательного, возвратного и

совместного залогов входят в группу I (*högülür* 312₄, *görünür(se)* 294₉, 115₄ и т.д.). Внимание привлекает к себе деепричастие на *-Ub: idüb, işleyüb...* – такое написание считалось обязательным до перехода на новый (латинизированный) алфавит (в 1928 г.), хотя оно давно не соответствовало орфоэпической норме. В тексте Шерефеддина, особенно в парижской рукописи, писанной самим автором, по-видимому, для султана Мехмеда Фатиха, не менее пяти раз встречается илабиальная форма этого деепричастия (*bilüb, çuküb...*), что, по словам издателя и комментатора В. Кылычоглу, указывает на "начавшуюся" еще в тот период делабиализацию губных гласных" [17, с. 24]. В другом сочинении того же автора ("*Müsettebnâme*") многократно встречается форма I лица ед. числа прошедшего времени *-DIm* (при "норме" *-DUm*), причем закон гармонии иногда соблюдается (*didim, olmadım*), а чаще нарушается – теперь уже в сторону делабиализации узкого гласного (*düzdım /вм. düzdüm/, dürtüm, soyundım, gördüm, yoldım* и т.д. [17, с. 78–80]).

Следует заметить, что издатели турецких рукописей иногда "осовременивают" старотурецкий язык [50; 51], подчас даже не предупреджая об этом читателя [52]. Встречается, впрочем, и обратная тенденция. М. Мансуроглу, публикуя турецкие стихи Джелаладдина Руми, в соответствии с произносительно-орфографическими нормами староосманского языка огубляет в транскрипции многие грамматические формы (*sinüñ elüñden, benüm katumdan* и т.д.) [53, с. 107 сл.; 54, с. 213 сл.], однако в оригинале подчеркнутых гласных ни в одном случае нет (огласовок не видно); учитывая же наличие в рукописи R негубного гласного в словоформе *yoldaşım* (481 b), а также вероятность того, что поэт, родившийся в самом начале XIV века в одном из тюркоязычных районов Ирана, мог и игнорировать некоторые нормы письменного анатолийско-турецкого языка (о чем свидетельствует, например, употребление им не характерных для этого языка форм типа *bolgay*), приходится поставить под вопрос правильность транскрипции издателя.

Употребляет глагол *bol-* (вместо *ol-*), а также нередко *er-* (вместо *i-*) живший тоже в первой половине XIV века Якут Арслан, осуществивший перевод с персидского языка "Книги предписаний" ("*Feraiz kitâbı*"). Его небезупречный, но тем не менее турецкий (османский) язык обращает на себя внимание тем, что здесь мы не находим лабиализованных форм многих аффиксов, таких как: афф. принадлежности 2 лица мн. ч. (*başingız* 599), афф. 2 лица императива (*kiling* 599), афф. прошедшего времени (*kıldım* 9), деепричастного аффикса (*yanp* 624), привативного аффикса (*rahimsiz* 549, *arısız* 612, *abdestsiz* 618), афф. родительного падежа (*aning* 12, *ering* 559, *oglining* 306, *atasining anasining* 329, 330) [55, с. 62 сл.] – ср. с этим стопроцентную лабиализованность показателя генетива в языке XVII века (!) у Харшани [41, с. 404].

Можно ли говорить здесь о "начавшейся еще в тот период делабиализации губных гласных" (ср. [17, с. 24], см. выше)? Очевидно, что в диалекте, который нашел отражение в этом произведении, никакой лабиализации вообще не было. В Анатолии и Румелии постоянно сосуществовали три типа говоров (условно употребляя этот термин для обозначения некоторых наддиалектных различий) – лабиализованный, сингармонизованный (преимущественно) и делабиализованный (частично), разумеется, без четких границ между ними. Лабиализованный говор доминировал (именно он реализовался в письменной речи), но и два других говора оставили определенные следы в истории турецкого (османского) языка. Эти следы, помимо "*Feraiz Kitâbı*", достаточно четко проявляют себя, в частности, в армянском транскрипционном тексте Иеремиа Челеби, который был современником Харшани. Г. Хазаи отмечает, что Харшани семь лет прожил в Турции, при этом несколько лет в Стамбуле, и его книга надежно воспроизводит разговорный язык стамбульцев его времени [56, с. 14, 15]. Однако, пишет Э. Шютц, И. Челеби всю жизнь прожил в Стамбуле, и его записи, конечно, не в меньшей мере отражают турецкий язык его современников [57, с. 420].

Деепричастный аффикс характеризуется, правда, в его тексте в основном ла-

биализованным вариантом (*yalvarub, çekilub, idub* и т.д.), что, возможно, является данью письменной традиции (впрочем: *çikab* 519₂₅, *varib* 520₁, *alib* 520_{13,23...}), трижды употреблен губной вариант родительного падежа в слове *hazretleri* "его превосходительство" (*hazretlerinun*), но в основном для текста характерны сингармонизованные или даже делабиализованные формы аффиксов, как это видно по таким примерам: (прошедшее на *-d^o*) *buyurdunuz* 521₂₀, *buyurdınız* 518₇, (прошедшее на *-m^os*) *tutmuş, olunmuş, kalmışız...*, (афф. принадлежности) *sultanım, dosümiz, mektubünüzde, saadetünüz, latifeleriniz...*, (афф. генитива) *sultanımın, bendezadenizİN, senİN*, (афф. 3 лица императива) *okusunler, afisinler, tepsinler*, (афф. сказуемости 3 л.) *budİR, mumdİR, olmişdİR*, (афф. имени действия) *dediği, olduđı, bulunmadıđından* [57, с. 426 сл.].

Итак, в османском языке процесса сингармонизации (будь то в виде $P \rightarrow A$ или $P \rightarrow И \rightarrow A$) практически не было, так как лабиализованность узковокалических постфиксов не носила здесь тотального характера, распространяясь лишь на одну (правда, ббльшую) часть османских диалектов; другая их часть (почти не получившая отражения в письменных памятниках) искони оставалась сингармонизованной (преимущественно)³ и(ли) частично делабиализованной. Сам же сингармонизованный (преимущественно) говор зафиксирован еще памятниками древнетюркской письменности, и его зарождение относится к доисторическому времени. Этот говор никогда не "исчезал" в юго-западном регионе, так же как, впрочем, не исчез здесь и лабиализованный говор. Выше (см. 7.2) приводились отдельные примеры диалектной речи жителей северных вилайетов Турции (Кастамону, Чанкыры, Зонгулдак, Болу, Чорух и др.). А вот как изображается в сборнике под названием "Лучшие анекдоты причерноморья" (*En güzel Karadeniz fıkraları. İstanbul*) речь жителей восточного причерноморья (вилайет Ризе): "*Uyyu, matem ad bulamayısunuz uđa verin penum adımı. Pen buntan sonra atsuz yařamaya çalıřırım*" (s. 8)(= *Uyy, madem ad bulamıyorsunuz, ona, verin benim adımı. Ben bundan sonra adsız yařamaya çalıřırım.*) "Охх. Раз не можете найти ему имени, (от)дайте мое имя. А я уж после этого попробую жить без имени". Вероятно, речь черноморца здесь несколько утрирована; тем не менее "избыток" аффиксов *U*-группы (в сравнении с литературным произношением), безусловно, не может не бросаться в глаза.

7.4. Спонтанное развитие и принятие. Секрет достаточно быстрой "переориентации" турецкого языка с отходом от лабиализованных постфиксальных форм и переходом к сингармонизованной речи невозможно изъяснить, исходя из теории спонтанного развития (с которой по существу согласуются концепции Г. Хазан и Л. Юхансона). Существенное различие между спонтанным, самопроизвольным развитием и вполне осмысленным, сознательным, требующим немалых индивидуальных усилий (по преодолению ошибок) принятием того, что представляется говорящему более правильным, соответствующим норме, разумеется, хорошо известно языковедам, но практически далеко не всегда принимается в расчет.

Оценивая языковую ситуацию в средневековой Турции, отметим, что, начиная с XII–XIII веков (возможно, и ранее) в Анатолии преобладали лабиализованные говоры, т.е. те, в которых ведущую роль играла вторая группа узковокалических морфем. В то же время в окрестностях Константинополя–Стамбула сосредоточились представители сингармонизованного и делабиализованного (отчасти) говоры, пришедшие сюда из Анатолии, а также, по-видимому, минуя Анатолию, северным путем. Разумеется, с завоеванием Стамбула Мехмедом Вторым (1453 г.) его жителями стали и анатолийцы, составлявшие, в частности, окружение султана. Наследниками престола были выходцы из Анатолии, особенно северных ее районов, в которых издавна господствовал лабиализованный говор [58]. Известно, что внук завоевателя Стамбула Селим Первый родился в Амасии и до сорока пяти лет был губернатором

³ В этих диалектах процесс сингармонизации продолжался, охватывая собой ранее не сингармонизированные формы (*-DUK, -DUR-, -sUN* и пр.).

Трабзона; в Анатолии прошли детство и молодость его сына Сулеймана Великолепного. Язык султана и его окружения – скорее всего типично “анатолийский” – безусловно, должен был считаться образцовым. Но в самом Стамбуле это оказался язык меньшинства населения города. Завязавшая здесь междиалектная борьба завершилась победой сингармонического говора. Речь в этом случае могла идти, разумеется, только о вполне сознательном переориентировании на новые орфоэпические нормы со стороны представителей лабиализованного говора, но ни в коем случае не о его спонтанном развитии в направлении сингармонизма.

Более или менее очевидно, что транскрипционные тексты, – в частности, Надь де Харшани – отражали не столько реальную картину разговорной речи стамбульцев того периода времени, которая была, конечно, весьма пестрой, сколько предпочтение, отдававшееся лично автором тому или иному выговариванию того или иного форманта. Так, притяжательные аффиксы, тем более аффикс родительного падежа Харшани предпочитает произносить “по старинке”, в огубленном варианте, а вот его современник Е. Челеби не приемлет такой артикуляции, как, впрочем, и живший на три столетия раньше Якут Арслан. Как мы знаем, их выговор оказался ближе к произношению значительного большинства стамбульцев, которое, по видимому, в восемнадцатом столетии окончательно стало орфоэпическим.

8. Выводы.

1. Исторически тюркские аффиксы, в состав которых входили узкие гласные (класс Р) – если их нельзя было отнести к числу соединительных, – членились на два подкласса: Р¹ – с негубным гласным, Р² – с губным гласным, в зависимости от того, какой тип гласного содержал этимон данной морфемы.

2. В дальнейшем возникают три группы аффиксов. Основу первой группы (I-группы) составляют морфемы подкласса Р¹, однако здесь могут оказаться (в результате процесса делабиализации) и некоторые морфемы бывшего подкласса Р². Вторую группу (U-группу) составляют морфемы бывшего подкласса Р², а также лабиализовавшиеся морфемы, изначально относившиеся к подклассу Р¹. Третью группу (X-группу) образуют морфемы, изначально входившие в один из двух подклассов (Р¹ или Р²), но в дальнейшем подпавшие под действие лабиально-иллабиальной гармонии. Как правило, такие сингармонизированные аффиксы (в языке, где существуют все три группы) относятся к числу “старых”, давно образовавшихся.

3. В зависимости от того, аффиксы какой группы преобладают в данном диалекте (или языке), можно говорить о (преимущественно) сингармоническом, лабиализованном или делабиализованном говорах. Древнетюркский язык, как и язык большей части памятников среднеазиатского региона XIII–XV веков, был частично сингармоническим; правда, U- и I-группы аффиксов также играли там заметную роль.

4. Некоторые документы, хотя и немногочисленные, доказывают, что в XIII–XVIII вв. в Анатолии и Румелии существовали (продолжали существовать) сингармонический (преимущественно) и делабиализованный (частично) говоры. Однако письменная речь в основном отражала особенности доминировавшего лабиализованного говора, который не проявлял никаких тенденций к сближению с двумя другими говорами. Таким образом, предполагавшиеся исследователями процессы (Р → А или Р → И → А (см. 6)) в действительности носили очень ограниченный характер.

5. К восемнадцатому веку преобладающее место в Стамбуле – а следовательно, и в письменно-литературном языке Турции в целом – завоевал сингармонический говор. Однако это было результатом не спонтанного процесса, а процесса принятия новой орфоэпической нормы представителями лабиализованного говора, которые в Стамбуле оказались в меньшинстве.

6. В современной Турции сосуществуют говоры трех типов. Однако письменный язык (если не считать диалектологических записей) отражает только нормы сингармонизованного говора, т.е. литературного языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Gabain A.* von Alttürkische Grammatik. Leipzig, 1950.
2. *Bombaci A.* Probleme der historischen Lautlehre der türkischen Sprache // UAJ. B. XXIV, Hf. 3-4. 1952.
3. *Малов С.Е.* Енисейская письменность тюрков. М.-Л., 1952.
4. *Дмитриева Л.В.* Хуастуанифт. (Введение, текст, перевод) // Тюркологические исследования. М.-Л., 1963.
5. *Timurtas F.K.* Şeyhî ve çağdaşlarının eserleri üzerinde gramer araştırmaları. I. Ses bilgisi // Türk Dili Araştırmaları Yılığı (далее: TDAY), Ankara, 1960.
6. *Gabain A. von.* Zur Geschichte der türkischen Vokalharmonie // UAJ. B. XXIV, Hf 1-2, 1952.
7. *Radloff W.* Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. Neue Folge. С.-Пб., 1897.
8. *Кузнецов П.И.* О происхождении форм второго лица повелительного наклонения в тюркских языках // Вопросы советской тюркологии. Материалы IV Всесоюзной тюркологической конференции. Ч. I. Ашхабад, 1988.
9. *Timurtas F.K.* Eski Anadolu Türkçesi // Türk Dünyası El Kitabı. Ankara, 1976.
10. *Гузев В.Г.* Староосманский язык. М., 1979.
11. *Ergin M.* Dede Korkut Kitabı. II. Indeks - Gramer. Ankara, 1963.
12. *Kut (Alpay) G.* Gazal'nin Mekke'den İstanbul'a yolladığı mektup ve ona yazılan cevaplar // TDAY-Belleten 1974. Ankara, 1974.
13. *Смирнов В.Д.* Образцовые произведения османской литературы в извлечениях и отрывках. С.-Пб., 1903.
14. *Малов С.Е.* Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.-Л., 1951.
15. *Малов С.Е.* Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.-Л., 1959.
16. *Timurtas F.K.* Şeyhî'nin Hüsrev ü Şirin'i. İnceleme - metin. İstanbul Üniversitesi, 1963.
17. *Kılıçoğlu Vecihe.* Cerrahiye-İlhaniye. Ankara, 1956.
18. *Ahmed Fakihi.* Kitâbu Evsâfi Mesâcidi's-Şerife / Yaumlayın. Prof. Dr. Hasibe Mazioğlu. Ankara, 1974.
19. *Борвков А.К.* Лексика среднеазиатского тевфира XII-XIII вв. М., 1963.
20. *Ахметгалеева Я.С.* Исследование тюркоязычного памятника "Кясебаш китабы". М., 1979.
21. *Щербак А.М.* Огуз-наме. Мухаббат-наме. Памятники древнеуйгурской и староузбекской письменности. М., 1959.
22. *Хорезми.* Мухаббат-наме. Издание текста, транскрипция, перевод и исследование Э.Н. Наджипа. М., 1961.
23. *Ходжанди.* Лагафат-наме. Книга 'о красоте. Введение, транскрипция текста, перевод, глоссарий, грамматический указатель Э.И. Фазылова. Ташкент, 1976.
24. *Благова Г.Ф.* Тюркское склонение в ареально-историческом освещении (юго-восточный регион). М., 1982.
25. *Kissling H.J.* Die Sprache des Aşikpaşazade. Breslau, 1936.
26. *Кузнецов П.И.* Возникновение и значения тюркских претеритов // Советская тюркология, 1981, № 5.
27. *Кузнецов П.И.* Глагол тур- (тар-) и повелительный залог // Советская тюркология, 1985, № 6.
28. *Кузнецов П.И.* Генезис тюркского аориста // Советская тюркология, 1980, № 6.
29. *Кузнецов П.И.* Инвариантные значения и происхождение тюркских залоговых форм // Тюркология. Баку, 1992, № 2.
30. *Shaw R.B.* A sketch of the Turki language as spoken in Eastern Turkistan (Kashghar and Yarkand). Calcutta, 1880.
31. *Кузнецов П.И.* Семантика и реконструкция тюркского деелпримастия на -(°)b, -(°)p, -(j)°p // Советская тюркология, 1983, № 1.
32. *Кузнецов П.И.* Этимология семи тюркских именных словообразовательных аффиксов (-äy, -äyq, -äy, -ly, -lyq, -syz, -ytäy) // Вестник шелкового пути. Вопросы тюркской филологии. Вып. II, М., 1993.
33. *Kowalski T.* Dialectes türks-osmanlis // Encyclopédie de l'Islam. T. IV. Leiden. 1934.
34. *Mansuroğlu M.* Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri. İstanbul, 1958.
35. *Фазылов Э.* Староузбекский язык. Хорезмийские памятники XIV века. Т. II. Ташкент, 1971.
36. *Zajaczkowski A.* Studja nad językiem staroosmańskim. Kalifi i Dimny. Kraków. 1934.
37. *Zajaczkowski A.* List turecki Sulejmana I do Zygmunta Augusta w owczesnej transkrypcji i tłumaczeniu polskiem z r. 1551 // Rocznik Orjentalistyczny. 1936. T. XII.
38. *Németh J.* Die türkische Sprache in Ungarn im siebzehnten Jahrhundert. Budapest, 1970.
39. *Viguiet M.* Éléments de la langue turque. Constantinople, 1790.
40. *Cabognano C.* Comidas de. Primi principi della grammatica turca. Roma, 1794.
41. *Hazai G.* Das Osmanisch-türkische im XVII Jahrhundert. Untersuchungen an der Transkriptionstexten von Jakob Nagy de Harsány. Budapest, 1973.
42. *Johanson L.* Linguistische Beiträge zur Gesamt-turkologie. Budapest, 1991. S. 26-70.
43. *Грунина Э.А.* Историческая грамматика турецкого языка (Морфология). М., 1991.

44. *Bodrogligeti A.* On the turkish vocabulary of the Isfahan anonymous // Acta orientalia Academiae scientiarum Hungaricae. T. XXI. Budapest, 1968.
45. *Caferođlu A.* Anadolu ađızlarından toplamalar. İstanbul , 1943.
46. *Caferođlu A.* Anadolu illeri ađızlarından derlemeler. İstanbul , 1951.
47. *Banguođlu T.* Altosmanische Sprachstudien zu Sühelyü Nevbahar. Breslau, 1938.
48. *Caferođlu A.* Dogu illerimiz ađızlarından toplamalar. İstanbul , 1942.
49. *Eckmann J.* Dinler (Makedonya) Türk ađzı // TDAY – Belleten, 1960. Ankara, 1960.
50. *Seyyad Hamza.* Yusuf ve Zeliha. Nakleden D e h r i D il ç i n. İstanbul , 1946.
51. *Şerefeddin M.* Mevlâna'da türkçe kelimeler ve türkçe şiirler // Türkiyat Mecmuası. C. IV. İstanbul , 1934.
52. *Uzluđ F.N.* Karaman Ođulları Hakkında İki Ađıt // TDAY. Belleten, 1962. Ankara, 1963.
53. *Mansurođlu M.* Calaladdin Rumi's türkische Verse // UAJ, 1952. B. XXIV, Hf. 3–4.
54. *Mansurođlu M.* Mevlâna Celâladdin Rumi' de Türkçe beyit ve ibareler // TDAY. Belleten 1954. Ankara, 1954.
55. *Tekin S.* 1343 tarihli bir eski Anadolu Türkçesi matni ve Türk dili tarihinde 'olga – bolga' sorunu // TDAY. Belleten, 1974. Ankara, 1974.
56. *Hazai G.* Anadolu ve Rumeli Türkçesinin bir yadigârı üzerine // XI. Türk Dil Kurultayında okunan Bilimsel Bildiriler. 1966. Ankara, 1968.
57. *Schütz E.* Jeremia Čelebis türkische Werke // Studia Turcica. Bibliotheca Orientalis Hungarica. XVII. Budapest, 1971.
58. *Huart M.CI.* Un commentaire du Coran en dialecte turc de Qastamoûni (XV^e siecle) // Journal Asiatique, 1921. 11^e série, t. XVIII, № 2.

© 1994 г. Т.А. МИХАЙЛОВА

"КРАСНЫЙ" В ИРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ: ПОНЯТИЕ И СПОСОБЫ ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ

Говоря об особенностях системы цветообозначений в кельтских языках, принято называть в первую очередь группу прилагательных, обозначающих разные оттенки сине-зеленой гаммы, которая действительно не имеет прямых аналогов в других сопоставимых индоевропейских языках. Удивительный факт, что одни и те же основы (валл. *gwyrdd, glas*, ирл. *gorm, glas, uaine*, шотл. *gorm, glas, uaine*, мэнск. *gorrym, glass, geayney*) могут одновременно обозначать синий, зеленый и даже серый цвета (на подобное несовпадение разных языковых моделей указывал еще Л. Ельмслев [1, с. 311]) действительно заслуживает пристального исследовательского внимания. Однако, с нашей точки зрения, не меньший интерес должна вызывать группа кельтских основ, обозначающих красные тона, причем взятая не столько в синхронном срезе (что подразумевает сухие данные работы с современными информантами, как правило, двуязычными), а в диахронии, с учетом самых ранних фиксаций соответствующих лексем и развития их значений. Эта проблема в целом представляется нам достойной специального "масштабного" исследования; поэтому в рамках настоящей статьи мы ограничимся в первую очередь лишь фактами ирландского языка и попытаемся на его примере сделать предварительные выводы, касающиеся развития системы цветообозначений как языковой универсалии в целом.

О цветообозначениях написано очень много, и это вполне естественно: эта одна из интереснейших областей языкознания, далеко выходящая за рамки непосредственно этой науки и тесно соприкасающаяся с такими областями, как психология, физиология зрения, физика и даже социология и философия. Более того, являясь, наверное, наименее упорядоченной из всех лексико-семантических групп, система цветообозначений варьирует необычайно широко не только на уровне отдельных языков, но и на уровне идеолектов, что ведет к постоянным "коммуникативным неудачам" (ср. русск. *коричневая юбка – сиреневая юбка* [2]). Правомерность самого понятия "система" применительно к этой лексической группе также может быть поставлена под сомнение, поскольку она не обладает "достаточно высокой степенью внутренней организации" [3, с. 19].

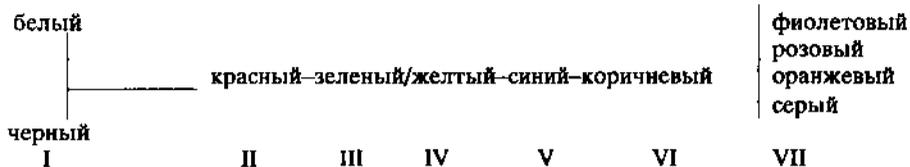
Добавим к этому странную особенность цветового образа смещаться в человеческой памяти в ту или иную сторону по воображаемой линии спектра, что делает дальнейшее цветообозначение того или иного объекта в значительной степени расходящимся с его истинным цветом, если истинным мы будем условно называть соответствие того или иного имени цвета (ИЦ) той или иной длине цветовой волны. Ясно, что порог цветового перехода в данном случае крайне условен. Большую роль здесь играет и традиция, так как, например, "цвет лаванды" традиционно считается одним из оттенков синего, тогда как на самом деле он входит в гамму фиолетового. Возьмем пример, еще более яркий и уже непосредственно касающийся предмета нашего исследования: практически во всех языках огонь называется красным, тогда как естественное горение древесины дает пламя ярко-оранжевого цвета (длина волны примерно 590–600 нмк, при том, что абстрактный красный – 660–670 нмк) [4, с. 29].

Цветовой ряд представляет собой континуум, реальность которого, аналогично реальности времени, является лишь кажущейся. Как отмечал еще Э. Гуссерль, "этот континуум есть двойственное непрерывное многообразие" [5, с. 7]. И поэтому "ощущаемое красное есть феноменологическое данное, которое, когда оно одушевлено определенной функцией схватывания, представляет объективное качество; оно само не есть качество. Качество в собственном смысле, т.е. свойство являющейся вещи, не есть ощущаемое, но воспринимаемое красное. Ощущаемое красное есть красное только в эквивокации, поскольку красное есть имя реального качества...

Ощущаемое красное лишь посредством схватывания приобретает значение момента, который представляет качество вещи; взятое само по себе оно ничего такого в себе не содержит" [5, с. 8].

Сложности, связанные с восприятием и формированием системы цветообозначений в любом языке, вполне понятны. В одной из многочисленных работ по психологии восприятия цвета отмечается: "Поскольку сама система языка включает в себя отнюдь не безграничное число элементов, становится очевидным, что континуум, существующий в природе, оказывается сегментированным в языке. Понятно, что задача расчленения (категоризации) действительности может быть решена по-разному в зависимости от того, каким множеством языковых средств обладает данный язык" [6, с. 58]. Однако, как известно, каким бы "множеством языковых средств" ни обладал язык, число цветов и оттенков, которые может воспринять глазом любой индивид, всегда будет в несколько десятков тысяч раз больше числа цветообозначений, которыми он располагает. Именно этим, видимо, объясняется изобилие специфицирующих цветообозначений (как правило, распространенных в зоне одежды), которые или совсем не знакомы широкому носителю языка, или являются для него своего рода "агнонами"¹: например – шартрез, электрик, нанковый, грибной, опаловый, прыон, сомо и проч., значения которых в принципе должны перекрываться суммой значений абстрактных, или базовых, цветов.

Все сказанное находится в странном противоречии с тем фактом, что в любом развитом языке существует ограниченное число базовых цветообозначений (обычно – 11, в русском – 12), перекрывающих все воспринимаемые глазом оттенки цвета. Более того, порядок появления данных базовых ИЦ в любом языке тоже оказывается своего рода универсалией. А именно:



Приведенная нами схема взята из книги Б. Берлина и П. Кея "Базовая цветовая терминология" [7], в которой данный "закон" был впервые четко сформулирован и подтвержден данными 98 языков разных семей. Причем надо отметить, что привлечение новых языковых данных лишь подтверждает теорию Берлина и Кея. Так, догоны, знающие лишь три цветообозначения и находящиеся, таким образом, лишь на второй стадии развития цветовой терминологии, даже говоря по-французски, склонны обозначать словом *rouge* почти все хроматические цвета, по крайней мере – приближающиеся к красному тону (из устного сообщения В. Плунгяна). В языке же шелта, языке ирландских цыган, цветообозначения вообще практически отсутствуют; единственные цветоразличители, употребляющиеся в нем, это обозначения масти лошадей и цвета волос, причем все они являются поздними заимствованиями из ирландского, восходящими к соответствующим основам со значениями 'черный',

¹ В данном случае мы пользуемся термином, введенным в научный обиход А. Морковкиной.

'белый' и 'красный'. Подтверждением теории Берлина и Кея может, видимо, служить и то особое символическое значение, которое эти три цвета имеют практически во всех мифологических системах [8].

Действительно, если для подтверждения теории Берлина и Кея мы обратимся к данным психологии, а именно – к развитию системы цветовосприятия у детей на ранней стадии развития, мы увидим, что новорожденный сначала учится отличать "темное" от "светлого", а затем уже начинает воспринимать красный цвет и т.д. [9].

Но так ли универсальна данная схема в том, что касается последующих стадий развития цветовой терминологии? Не является ли, например, специфическое для русского языка понятие "голубой" отступлением от нее? Нельзя ли найти подобные отступления и в других языках? Безусловно, нельзя не согласиться с тем, что "В психике рядового носителя языка существует наивная картина мира цвета, которая фиксируется посредством языка, хотя ни процесс фиксации, ни возникающие при этом связи и отношения самим говорящим не осознаются" [3, с. 32]. Но не осознаются они говорящим именно по той причине, что они уже твердо закреплены в языке, носителем которого он является, и "наивная картина мира цвета" оказывается таким образом одним из элементов наивной картины мира в целом, проявляющейся через язык. Разве можно при этом ждать строгой идентичности цветовых картин разных, не контактирующих между собой и находящихся на разных стадиях развития народов? К тому же, как известно, психологические особенности личности проявляются, в частности, в предпочтении того или иного цвета или сочетания цветов, на чем основываются многочисленные так называемые "хроматические тесты". Но не вправе ли мы в таком случае ожидать подобных же константных, или переменных, склонностей и у нации в целом, что воплощается в системе цветообозначений, если она действительно "опирается на нейро-физиологические особенности" [10]? Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, обратимся после нашего затянувшегося, но необходимого, предисловия к данным ирландского языка.

Сопоставление данных гойдельских и бриттских языков заставляет предположить, что общекельтский язык, если продолжать следовать "закону" Берлина и Кея, находился на III стадии развития системы базовых цветообозначений. Действительно, в них можно найти только четыре общих основы, соответствующие четырем начальным базовым цветам, а именно: ср. др-ирл. *dub* и др-валл. *du* 'черный', др-ирл. *find* и др-валл. *gwynn* 'белый', др-ирл. *ruad* и др-валл. *rhudd* 'красный' и, наконец общую основу *glas*, обозначающую, видимо, одновременно 'синий' и 'зеленый'.

Однако, с нашей точки зрения, при этом следует также принять во внимание общекельтскую основу, обозначающую группу разных оттенков серо-бурого тона: ср. др-ирл. *liath* и ср-валл. *llwyd* (и.-е. **pel-* 'серый, бледный'), которая должна по Берлину и Кею, соответствовать только VII стадии! Правда, верная их теория Х.Э. Лазар-Мейн отмечает, что "поскольку это слово редко употребляется вне сферы описания внешности и обозначения цвета волос, у нас нет достаточных оснований, чтобы рассматривать его уже в древнеирландский период как базовый термин" [11, с. 229]. Но почему же в таком случае ею признается базовым общий для обоих языков термин, обозначающий красный цвет, при том, что он на современном этапе, как правило, употребляется лишь для обозначения цвета волос, бороды и масти животных, а как абстрактное понятие был вытеснен др-ирл. *derg* (о нем – ниже) и валл. *coch* (из лат. *coccinus*)? Не потому ли, что в таком случае общекельтский следовало бы признать не ушедшим дальше первой стадии, т.е. стадии разграничения "светлого" и "темного"? (Ирл. *find*, кстати, сейчас уже не является базовым ИЦ в отличие от валл. *gwynn* и в этой функции полностью вытеснено прилагательным *hân* < и.-е. **bha-* 'сиять, сверкать, светиться'.) Какое же цветообозначение, по Берлину и Кею, мы в таком случае действительно можем считать базовым?

В книге Берлина и Кея приводится восемь критериев, согласно которым то или

иное цветообозначение может (или – не может) быть признано базовым², но пользоваться ими, с нашей точки зрения, можно, лишь исходя из определенной идеальной модели сегментации цветового континуума, которая окончательно сформировалась в европейской культуре лишь в Новое время. Обращаясь к более ранним эпохам метаязыкового развития, мы должны, как нам кажется, понимать, что мы можем иметь дело с несколько иной системой лексикологических категорий, отчасти смешивающей родовые и видовые понятия (ср. знаменитый пример о понятии "снег" у эскимосов, а также индоевропейские концепты *дикое* и *домашнее*, согласно которым человек объединяется с лошадью и коровой в одну группу). Действительно, возвращаясь к проблеме цветов и красного цвета – в частности, если сейчас для нас в современном русском языке *красный* является, бесспорно базовым ИЦ, то мы не можем уже с такой уверенностью говорить, что в той же степени "базовыми" были и рефлексы общеславянской основы **červ-*, вытесненные *красным* лишь к XVII в. Как отмечает Н.Б. Бахилина, «Нам кажется более верным полагать, что *червленый*, особенно в эпоху ранних памятников, обозначает лишь один из оттенков красного цвета ... Оно еще настолько связано с красителем, что не может стать абстрактным цветообозначением типа позднего *красный*» [13, с. 141]. Но, как пишет она же, "следует сделать вывод, что общеиндоевропейский корень **rudh-* в русском языке как название собственно красного цвета не сохранился. Мы имеем основание полагать что в древности прилагательное *рудой* обозначало какие-то оттенки красного цвета, определяя предметы (или вещи) с природной неяркой красноватой окраской" [12, с. 113]. Какое же ИЦ было в таком случае базовым для русского языка до XVII в., когда прилагательное *красный* "... завоевывает все новые позиции и становится главным, основным в группе красного, становится абстрактным цветообозначением для этого цвета" [13, с. 80]? *Багряный? Алый? Пурпурный?*

Но обратимся к данным ирландского языка. Начиная с самых ранних фиксаций до начала новоирландского периода, когда язык оказался под сильным влиянием английского, в ирландском был отмечен целый ряд основ, обозначающих красные тона. В своем этимологическом словаре Ж. Вандриес [13] выделяет пять таких основ (*ruad, derg, corcra, flann, básc*), к которым мы добавили бы также прилагательное *scarlóit* относительно позднего происхождения. Русских эквивалентов данных основ мы пока не даем намеренно.

Одной из наиболее частотных основ, обозначающих красные тона, является основа *ruad(h)* (совр. *ruáa*), восходящая к и-е. **rued-/roud-*, которая имеет рефлексы во многих современных и древних языках (ср. др.-инд. *rudhīras* 'красный', лат. *rufus* 'тж.', готск. *raufs* 'тж.', литовск. *raudas* 'тж.', англ. *red*, нем. *rot* и т.д., а также русск. *рыжий, русый, руда* и пр.).

Другим словом, обозначающим красные тона, является прилагательное *derg* (совр. *dearg*), восходящее к и-е. **dher-* 'грязный, замазанный, мутный, темный', откуда ср.-верх.-нем. *terken* 'пачкать', англ. *dark* 'темный', литовск. *dargus* 'мерзкий, гнусный' и, в частности, гойдельское же *dorcha* 'темный'. Впервые данная основа встречается в огамической надписи, датируемой серединой VI в., в составе сложного имени *DERCMASOC* (ср. поздние формы *Dergmosach, Deargmhossach*). Однако, у нас нет оснований утверждать, что в данном случае эта основа уже имела значение 'красный'. Возможно, здесь она употребляется еще в своем исконном значении, и имя в целом может быть переведено буквально не как "красно-грязный" (ср. др.-ирл. *mossach* 'грязный, мерзкий', а как 'омерзительно грязный' (возможно, происхождение данного имени, призванного обеспечить его владельцу приятную наружность, связано с наличием определенного табу [14, с. 145]).

² Им идеально удовлетворяет русское *бежевый*, хотя это и иностранное заимствование. Но в таком случае, и слова *фиолетовый* и *оранжевый* в русском языке не могут быть признаны базовыми цветообозначениями.

В эпических текстах данное прилагательное уже широко употребляется как цветообозначение, а также получает ряд переносных значений типа 'яростный, гневный, храбрый' и пр., выходящих за рамки нашего исследования. Для современных носителей гойдельских языков продолжения этой основы воспринимаются как абстрактные ИЦ (ср. ирл. и шотл. *dearg* и мэск. *jiarg* [11]).

Прилагательное *corcra* (*corcair*) было заимствовано из латыни, судя по форме, в ранний период (р>с). Сохранив свое исконное значение 'пурпурный', включавшее в себя символизацию высшей власти, ирландское *corcra* со временем приобрело ряд других значений, о чем – ниже. Заимствованная также и бриттскими языками (ср. валл. *porffor*), эта основа употребляется в них гораздо реже и ее значение не выходит за рамки исконного латинского значения (ср. русск. *пурпурный*). Так, по данным Х.Э. Лазар-Мейн практически всеми информантами сиреневая (с точки зрения русских цветообозначений) двадцатифунтовая банкнота была охарактеризована как *purple* по-английски, но как *glas* (синяя) по-валлийски. Прилагательное *porffor* она нашла лишь в школьном учебнике для обозначения цвета королевской мантии [11].

Ирландское прилагательное *flann* оказывается малоупотребительным по сравнению с тремя предыдущими. Оно соотносится с ирландскими же названиями крови и сырого мяса (*fuil, feoil*), восходящим к и-е. основе **uel-* 'рвать, раздирать'. Слово употребляется, как правило, в лексической "зоне битвы": *Cath forderg fland* 'битва ярко-красная, кровавая' или *sruthana na fola flannruaidh a corpaibh na curadh* – 'потоки крови кроваво-красной из тел героев' (переводы цветообозначений в обоих случаях, естественно, условны). В современном ирландском языке *flann* воспринимается как архаизм и поэтизм, но сохранилось в шотландском в форме *flannach* (дано в словаре без каких бы то ни было помет как эквивалент англ. *red*, наряду с *dearg* и *ruadh*).

Лексема *bas* является еще менее употребительной и известна скорее из глоссариев [15]. Ж. Вандриес соотносит ее с и-е. **bhasi-* "плод и напиток красного цвета" [13]. В современных гойдельских языках слово не сохранилось.

И, наконец, *scarlóit*, являющееся поздним заимствованием из французского *ecarlote* (ср. валл. *ysgarlat*) употребляется, как правило, для обозначения цвета дорогой одежды или ткани, атласа или шелка:

sroll ocus scarloit do mac righ Erind
"шелк и багрец для сына короля Ирландии"

В современном ирландском это слово утратило свою функцию цветообозначения и стало употребляться по отношению к парадной, торжественной одежде или ткани как таковой (ср. *scaráit* 'скатерть для торжественного обеда', *scoraídeacht* – 'праздник, юбилей').

В более поздний период к указанным лексемам добавляются прилагательные, также обозначающие те или иные оттенки красного тона, отчасти являющиеся английскими заимствованиями (*ruibineach*), отчасти представляющие собой новообразования на базе ирландских же основ (*craorag, caordhearg* и др.).

Говоря о существующих на разных этапах развития ирландского языка словах, обозначающих оттенки красного тона, мы намеренно не касались их конкретных значений и не пытались назвать ту или иную лексему, которая в определенный период могла бы считаться "базовой". Сделано это нами было намеренно, поскольку определение точного значения того или иного ИЦ, т.е. подыскивание для него соответствующего русского эквивалента, оказывается затрудненным тем, что сама система данных "эквивалентов" является чрезвычайно шаткой и несовершенной и не имеет единообразия как в диахронии, так и на уровне идеолектов. Так, проведенный нами простой эксперимент, в ходе которого информантам была предложена группа из девяти цветообразцов красно-оранжево-желтой гаммы и список из 23-х соответст-

вующих ИЦ, показал, что при соотношении конкретного цветообраза с конкретными ИЦ у информантов почти не наблюдалось единообразия, максимальное число совпадений (при семи опрошенных) оказалось лишь 2, причем в двух случаях информантам потребовалось введение дополнительных собственных ИЦ (*томатный* и *бледно-свекольный*). Расширение поля подобного эксперимента за счет увеличения числа цветообразцов, цветообозначений и количества участников дало бы, мы уверены, еще большее число расхождений.

Обращаясь к данным ирландского языка, мы оказываемся в еще более сложной ситуации, т.к. одним из источников нашей информации о "конкретных значениях" того или иного ИЦ являются ирландско-английские словари, т.е. на одну условно-сегментированную систему накладывается другая, в той же степени условная и несовершенная. Проиллюстрируем сказанное на конкретном примере: Прилагательное *craorag* имеет в словаре отца Диннина [16] значение '*purple, scarlet*', т.е. 'пурпурный, багровый, фиолетовый' и 'алый' (если полагаться на современные англо-русские словари). В словаре же О'Доннала [17] это же слово получает эквивалент '*blood-red, crimson*', т.е. 'крово-красный, темно-красный, малиновый'. В то же время в англо-ирландском словаре Де Валдрахе [18] эта же лексема выступает в качестве эквивалента к английскому *ruby* ('рубиновый?') в устойчивом словосочетании *ruby lips* (*lipaí craoraga*) ср. русск. *алые губы*.

Как можно предположить, существенные затруднения, с которыми мы сталкиваемся при попытке определить точное значение ирландского ИЦ, вызвано не только несовершенством языковых систем, которыми мы вынуждены при этом оперировать, но и неоднозначностью самих исходных лексем, ярко проявляющиеся в их конкретных употреблениях. Так, например, прилагательное *ría* может характеризовать: масть лошади, цвет волос, разновидность хлеба, медные монеты, кровь, цвет плаща, лисий мех и др. Естественно, что в каждом конкретном случае оно предполагает разные "физические" цвета, аналогично тому, как английское *purple* может обозначать и цвет королевской мантии, и цвет лица покойника.

Тем не менее, несмотря на все перечисленные сложности, мы можем попытаться расположить указанные лексемы по линии спектра и очертить не столько круг значений каждого из них, сколько область функционирования. Исходным материалом для нас в данном случае должна послужить фразеология, данные глоссариев и, в первую очередь, тексты, в которых фигурируют интересующие нас лексемы. Хотя в той или иной степени цветообозначения встречаются практически во всех дошедших до нас памятниках, особый интерес для нас будут представлять тексты, в которых функционирование ИЦ может быть названо системным, т.е. является в отдельных случаях обязательным или в качестве эпитета, или – в качестве значимого сюжетообразующего элемента. Так, в текстах фольклорных цвета употребляются очень мало, причем эти редкие упоминания всегда определенным образом маркированы, т.к. являются знаком появления представителя Иного мира (о чем – ниже). Изображение героев же эпических текстов-саг, как правило, сопровождается детальным описанием их внешности, одежды и вооружения, причем цвета при этом играют очень большую роль, т.к. именно с их помощью происходит индивидуализация героя. Так, в саге "Похищение быка из Куальнге" в известной сцене "парада" удадских воинов перед коннахтским королем Айлилем проходят один за другим неизвестные ему улады, которых по очереди описывает посол Мак Рот. Стоящий же рядом с королем Фергус узнает каждого по этому описанию, а точнее – по цветам и оттенкам (волос, лица, глаз, плаща, щита и проч.), т.к. сам набор элементов описания является постоянным. Важны для нас с этой точки зрения и тексты законов. Отсутствие аналогичных "цветных картин" в фольклорных текстах может объясняться отсутствием у коллективного автора установки на индивидуализацию героя, классификация персонажей в данном случае ограничивается дихотомией "этот мир ~ иной мир", или "люди ~ сиды (феи)" и цветовой фактор играет здесь

далеко не последнюю роль. В том, что касается конкретных цветов, упоминаемых в фольклорных текстах, то это в первую очередь – белый, черный и красный (редко – желтый), что должно было бы, если буквально следовать теории Берлина и Кея, отодвинуть создателей этих текстов на IY стадию развития цветового зрения.

Для древне- и среднеирландского периода самым частотным по употреблению среди слов, обозначающих красные тона, является основа *ruad* и производные от нее. Сфера ее функционирования весьма широкая: для древнеирландского периода необходимо отметить в первую очередь область "явлений естественной природы" (цвет волос, масть лошади и пр.), несколько реже – "зону одежды". Так, в трактате "Книга прав" (X в.), повествующем о материальных правах и обязанностях ирландских королей по отношению к своим подданным, значительное место отводится перечислению плащей разного цвета (или тканей для них), которые короли провинций должны были получить от подданных. Набор цветов в данном случае довольно ограничен и в силу этого – необычайно значим. В интересующей нас группе ИЦ главное место занимают слова *derg* и *corcair*, однако, дважды встречается и прилагательное *ruu*:

corcair / ruu / snáth dearg [19, с. 110].

"пурпурная и алая и красная пряжа" (перевод ИЦ условен).

В эпических текстах прилагательное *ruad*, как правило, употребляется по отношению к волосам и бороде героев, но, признаться, реже, чем этого можно было бы ожидать, и реже, по сравнению с такими прилагательными, как *buide* 'желтый', *donn* 'коричневый' и *dub* 'черный, темный' и производными от них, образованными при помощи сложения основ (бело-желтый, коричнево-желтый и пр.). Основа *ruad* встречается в уже упоминаемой нами сцене парада уладских воинов лишь дважды, причем в сочетании с основой *-derg* применительно к волосам и глазам одного и того же персонажа:

Folt rúaddearg fair. Súle rúaddearga móra ina chind.

Ср. в англ. пер.: *Red hair he had and great red eyes in his head* [20, с. 124, 260].

Применительно к одежде и вооружению в эпических текстах прилагательное *ruad* практически не встречается.

В фольклорных текстах прилагательное *ruadh* (*rua*) встречается достаточно широко, но сфера его употребления оказывается довольно узкой: оно маркирует цвет волос inferнального существа: *Cé leis a rabh sé ag caint ach le cailin rua* [21, с. 178]. "С кем он говорил, как не с рыжей девушкой" или *an tseanbhean rua* [21] "маленькая рыжая старушка".

Однако, как следует из самих примеров и сюжетов проанализированных нами фольклорных текстов, повествующих о встречах людей с "сидами", цвет волос, характеризующийся этим прилагательным, для действующих в этих рассказах персонажей еще не является достаточным основанием для того, чтобы сразу отнести встреченное им лицо к "сидам": встретившись с подобным "рыжим" существом, человек предполагает, что перед ним обычные мужчина или женщина. Видимо, волосы данного оттенка встречаются в Ирландии и среди реальных людей, что отчасти может быть подтверждено и нашими непосредственными наблюдениями.

С другой стороны, прилагательное *ruad* может относиться и к цвету крови. В "Похищении быка из Куальнге" в знаменитой сцене предсказания исхода военного похода пророчица Федельм в ответ на вопрос королевы Медб, "каким ты видишь мое войско?", отвечает: *Atchú fordearg forro, atchú rúad* [20, с. 6]. "Я вижу ярко-красное на нем, я вижу....", имея в виду в обоих случаях цвет крови. В фольклорных текстах кровь, как правило, характеризуется прилагательным *dearg*:... *agus bhí an abhainn dearg lena gcuid fola ar maidín lá tharna mharach* [21, с. 70] "... и была река красна от их крови утром на следующий день".

В древнеирландских поэмах прилагательное *ruad* имеет не только собственно цветковое значение. В поэтическом языке оно может иметь значение 'могучий' [22, с. 92], которое отчасти сохраняется и в более поздние периоды. В настоящее время сфера употребления этой основы значительно сужена. Она входит в состав таких устойчивых словосочетаний, как *madra rúa* 'лиса' (букв.: "рыжая собака"), *capall rúa* 'гнедая лошадь', *arán rúa* 'черный хлеб', *pinginn rúa* 'медная мелочь, мелкие монетки' и ряда других, но, согласно данным работы с информантами, в состав базовых ИЦ в настоящее время не входит.

Чем же объясняется столь широкое распространение этой основы в определенный период и, что для нас главное, какой именно диапазон оттенков красного тона она обозначала и обозначает теперь? Как отмечает В.П. Калыгин, «предпочтение, которое отдается в языке поэм этому прилагательному перед другими словами со значением 'красный', видимо, имеет какую-то особую причину, а не только и не столько широту охвата оттенков спектра» [22, с. 92]. Этой "особой причиной", как нам кажется, может являться первичность этой основы по сравнению со всеми остальными для обозначения красных тонов еще на индоевропейском уровне. Как ясно видно из приведенных нами примеров, основа *ruad* может относиться к весьма широкому диапазону оттенков – от темно-красного до оранжевого, причем на более позднем этапе наблюдается заметное смещение семантики данной основы в сторону желтого участка спектра, и для современного языка, учитывая функциональное поле ее употребления, наиболее оптимальным русским эквивалентом послужило бы слово "рыжий". Исключение, естественно, составляют словосочетания типа *arán rúa* 'черный хлеб' и *Muire Rúa* 'Красное море'.

Но какой же именно оттенок красного тона передает прилагательное *ruad* в древне-ирландский период? Ответить на этот вопрос довольно сложно. Как пишет В.П. Калыгин, "значение *ruad* близко к лат. *rufus* 'рыжий, красноватый'" [22, с. 92]. Но при этом он тут же отмечает: "*Ruad* может относиться к засохшей крови (т.е. темно-красный? – Т.М.), тогда как цвет свежей крови передается прилагательным *flann*" [23, с. 92]. Данное замечание, хотя и основанное на данных словаря ирландского языка [22, с. 92, прим. 42], противоречит данным, содержащимся в этом же словаре в статье к слову *flann*, где приводятся примеры из глоссариев, определяющих *flann* именно как *ruad*: *flann .i. gach ruadh* [23]. Впрочем, забегая вперед, мы должны отметить, что в статье к слову *derg* можно встретить противоположные примеры, т.е. те, в которых *flann* глоссируется именно как *derg* [24]. Последний пример взят из более раннего Глоссария, тогда как предыдущий – из более позднего (Глоссарий О'Клери, XV в.), в котором, в свою очередь, через *derg* глоссируется уже не *flann*, а *basc*.

Неясность значения др-ирл. *ruad*, как нам кажется, уходит корнями в свое этимологическое прошлое. Действительно, мы не можем сейчас сказать с уверенностью, какой именно оттенок красного тона обозначался и-е. **reudh-*. С одной стороны, его рефлексы в индоевропейских языках могут обозначать светло-красные тона с оранжевым оттенком (ср. русск. *рыжий, русый, редрый* (о скоте), др-исл. *raudra* 'яичный желток' и др.); с другой стороны, эта же основа встречается и в обозначениях крови (др-исл. *rodra* 'кровь убитого животного', русск. диал. *руда* 'кровь' и пр.) и, наконец, она же встречается в названиях металлов, в первую очередь – меди (ср. лат. *raudus* 'кусок меди', русск. *руда* и пр.). Вяч.Вс. Иванов и Т.В. Гамкрелидзе именно это значение считают исходным [25, с. 816]. С нашей точки зрения говорить в данном случае об "исходном" значении индоевропейской основы и об особом оттенке красного тона, который с ней ассоциируется, неправомерно. Ведь, если следовать гипотезе Берлина и Кея, на самой ранней стадии своего существования она обозначала не только все оттенки красного, но и вообще все теплые хроматические цвета. Данный широкий хроматический спектр сохранился у нее и в др. ирландский период, лишь со временем сместившись в сторону оранжевого.

Прилагательное *derg* (*dearg*) представляется не менее, а в определенном смысле – даже более значимым для ирландской наивной картины мира цвета, чем *ruad*. Появившись позднее в этом значении, оно постепенно вытесняет *ruad* из многих лексических зон, с одной стороны, и в сторону желтого тона, с другой, меняя, а точнее – сужая сумму основных его значений. Подобно русскому *красный*, ирландское *derg* в настоящее время, если судить по данным словарей и опросов информантов, прочно завоевало позицию базового ИЦ. В древне-ирландский период, как видно из дошедших до нас текстов, оно также имело достаточно широкое функциональное поле, охватывающее как природные явления, так и объекты материальной культуры (одежда, оружие и пр.). В "Книге прав" оно употребляется 12 раз при общем числе цветоупотреблений – 51. Так, прилагательное *derg* может характеризовать пламя, кровь, напитки (*lind derg* 'красный эль'), особые породы животных (*damh derg* 'красный бык', *mucca derga* 'красные свиньи' и пр.). Последнее является, видимо, отчасти связанным с особой функцией *derg*, не совпадающей с *ruad*: прилагательное *derg*, особенно в сочетании с *bán* 'белый', является знаком Иного мира: ср. в этой связи распространенный мотив инфернального животного белой масти с красными ушами, красных всадников, знаменующих близкую смерть героя (см. "Разрушение Дома Да Дерга") и пр. Возвращаясь к примерам из фольклорных рассказов о чудесах, можно отметить, что мотив "красной одежды", наряду с мотивом "рыжих волос", также является постоянным для изображения фей:

Bhí senduine beag rúa agus éadach breacdhearg air

"Это был маленький рыжий старичок в красной одежде" [21, с. 286].

Данная "мифологическая" функция красного цвета, как кажется, должна была быть реализована при помощи основы *ruad*, как исконной, однако, этого не происходит. Причины этого нам не совсем ясны. С одной стороны, в данном случае основа *derg* может отчасти сохранять свое исходное значение 'грязный, мерзкий' и 'темный, непрозрачный', т.е. в той или иной связи ассоциироваться с силами зла. С другой стороны, если учесть, что именно *derg*, как правило, обозначает цвет пламени, само прилагательное может, таким образом, ассоциироваться с погребальным огнем (распространенная у континентальных кельтов кремация отчасти практиковалась и на островах, лишь постепенно уступая место ингумации).

Какой же именно оттенок красного тона выражался прилагательным *derg*? Как и в предыдущем случае, ответить на этот вопрос оказывается далеко не просто. Видимо, обозначая пламя и кровь, *derg* предполагало красно-оранжевый цвет, лишь со временем расширив спектр своего значения. В древнеирландских текстах оно глоссируется латинскими *luteus* 'цвета охряной глины' и *rufus* 'рыжий' (!), т.е. во многих случаях выступает синонимом к столь же многозначному *ruad*. В отдельных словосочетаниях они могут прямо выступать как синонимы: ср. *ór dhearg* – *ór rúadh* 'червонное золото'.

Но если, как мы можем судить по конкретным употреблениям, прилагательные *ruad* и *derg* тяготеют к оранжевой области красного участка спектра, его фиолетовая область остается лексически вакантной. Ее место оказывается занятым прилагательным *corcra*, заимствованным из лат. *purpureus*. Сфера функционирования этого прилагательного значительно уже, чем у двух предыдущих: оно, как правило, характеризует плащ короля (в сцене "парада" плащ такого цвета надет только на короля Конхобара), с другой стороны, употребляется по отношению к цвету щек или пальцев прекрасной женщины, причем в последнем случае они традиционно сравниваются с цветками наперстянки. Из сказанного вытекает и наш вывод о сумме значений прилагательного в древне-ирландский период: с одной стороны, оно может быть названо точным эквивалентом русского *пурпурный*, при всей сложной совокупности значения этого слова [ср. "одним из наиболее существенных компонентов семантической значимости слова *пурпурный* ... становится следующее его свойство: способность

сигнализировать о присутствии в определяемом им предмете (явлении) положительного качества (заданного доминирующими признаками "величественный", "красивый") в предельной степени его выражения" [26, с. 99]. С другой стороны, уже в древнеирландский период это же прилагательное получает значение 'розовый' во всей совокупности его оттенков (от ярко-розовой наперстянки до бледно-розовой кожи лица). Со временем прилагательное *corcra* утрачивает последнее значение (которое начинает выражаться при помощи сложения основ *bán-dhearg* "бело-красный" или при помощи английского заимствования *pink*) и приобретает значение 'фиолетовый', смещаясь, таким образом, в противоположную сторону по сравнению с *ruad* от "красного центра" (ср. англ. *purple*). В устойчивых словосочетаниях отчасти сохраняется его исходное значение – 'ярко-красный', 'багровый': *corcrán* (букв. "пурпурник") "ягоды остролиста", *galar corcra* 'скарлатина', и 'ярко-розовый': *corcán coille* (букв. "пурпур леса") – 'снегирь'. В словарях, как правило, прилагательному *corcra* (*corcair*) даются английские эквиваленты широкого спектра – *purple, crimson, scarlet* (Диннин) и *purple, crimson, bloody* (О'Доннал).

Итак, как мы видим, три основных прилагательных, обозначающих красные тона в древне-ирландском, являются отчасти синонимами. Со временем, однако, происходит их спецификация и "растягивание" по линии спектра: *corcra* получает значение 'фиолетовый', *ruad* – 'рыжий, оранжевый', *derg* же занимает центральное место между ними. Учитывая наличие в ранний период синонимичных им прилагательных *flann* и *basc*, мы можем говорить о наличии своего рода "красного светофильтра", окрашивающего цветовую картину мира в красные тона. Фиолетовый и оранжевый при этом предстают как оттенки красного. Продолжение этого "фильтра" в одну сторону спектра дает нам значение 'оранжевый' и у древнеирландского *buide* (совр. ирл. 'желтый'), глоссирующегося как *flavius* 'пламенный', а не как *galbus*. В то же время, продолжая "фильтр" в другую сторону, мы встречаем значение 'фиолетовый' и даже 'красный' у др-ирл. *gorm* 'синий' (от и-е. **g^her-* 'телый, горячий'), в современном языке также исчезающее.

Таким образом, как нам кажется, если в период раннего Средневековья ирландский язык и не достиг VII стадии цветового восприятия, по Берлину и Кейю, т.е. не имел слов для обозначения понятий "оранжевый", "фиолетовый" и "розовый", в нем все равно содержалось не семь цветообозначений, которые можно было бы назвать "базовыми терминами", а больше (не только группа красного имела ряд синонимов, но и группа белого), что происходило за счет расширения, детализации и спецификации определенных участков спектра.

Ирландский язык – язык "красной культуры" и эта особенность наиболее ярко проявляется в нем именно в древний период, причем, видимо, не только из-за того, что именно этот цвет осознается и фиксируется в любом языке раньше других, а в силу определенных особенностей психо-физиологического зрительного восприятия мира основной массой его носителей. Безусловно, в этом ирландский язык не одинок. Особая значимость красных тонов характеризует языки так называемой "европейской последовательности" [27], отличая их от языков (и культур) азиатских и африканских (ср. "синий" у таджиков и финно-угров. [28]).

Берлин и Кей в свое время действительно "произвели небольшую революцию" [29, с. 277], они мели огромное число последователей, продолжателей и распространителей их теории, применивших ее с успехом к соматической и ботанической лексике (ср. так наз. "теорию Браун-Витковски" [30, 31, 32]). Однако, буквальное следование этим теориям всегда упирается и будет упираться в конкретный материал. Так, в современных языках Западной Кении существует несколько слов для обозначения оттенков коричневого цвета, но при этом нет слов "серый" или "фиолетовый" [33]. Типологически сходная ситуация, как мы пытались показать, существовала и в средневековой Ирландии.

Как писал Л. Витгенштейн, "предметы сами по себе бесцветны" [34, 2.0232].

Несмотря на кажущуюся абсурдность этого замечания, это действительно так: только человеческий глаз способен воспринять тот особый импульс, который принято называть "цветовой волной". Без человека, без активного наблюдателя предмет не имеет цвета подобно тому, как в зеркале нет отражения, пока в него не взглянет человек. Именно поэтому такой фактор, как психология и коллективная психология, должен постоянно учитываться в анализе универсалий цветовосприятия. Сказанное относится и к самому понятию "базовый цветовой термин", который, безусловно, нуждается в дополнительной спецификации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ельмслев Л. Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. вып. 1, М., 1960.
2. Ермакова О.Н., Земская Е.А. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского языка) // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.
3. Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство: Аспекты психолингвистического анализа. М., 1984.
4. Шемякин Ф.Н. К вопросу об отношении слова и наглядного образа // Мышление и речь. Труды ин-та психологии. М., 1960.
5. Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. М., 1994.
6. Аллмере Р.А., Василевич А.П. Психолингвистический подход к установлению двуязычных лексических соответствий // Экспериментальные исследования в психолингвистике. М., 1982.
7. Berlin B., Kay P. Basic colour terms: their universality and evolution. Berkeley, 1969.
8. Тэрнер В.У. Проблемы цветовой классификации в примитивных культурах (на материале ритуала идембу) // Семантика и измерительная. М., 1972.
9. Lüscher M. The development of colour vision // The Lüscher colour test. London, 1969.
10. Kay P., McDaniel C.K. The linguistic significance of the meanings of Basic Colour Terms // Language, 1978. V. 54, 3.
11. Lazar-Meyn H.A. The colour systems of the modern Celtic languages: Effects of language contact // Language contact in the British Isles: Proc. of the 8-th international symposium on language contact in Europe, Douglas, Isle of Man, 1988 / Ed. by. Upeland P.S. and Broderick G. Tübingen, 1991.
12. Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. М., 1975.
13. Vendryes J. Lexique étymologique de l'irlandais ancien. R.-S., Paris, 1986.
14. Королев А.А. Древнейшие памятники ирландского языка. М., 1984.
15. Contributions to a dictionary of the Irish Language - B. Dublin, 1975.
16. An Irish-English Dictionary / Ed. by Dinneen P.S. Dublin, 1927.
17. O'Donail N. Foclóir Gaeilge-Béarla. Baile Atha Cliath, 1977.
18. De Bhaldraithe T. (ed.) English-Irish Dictionary. Baile Atha Cliath, 1959.
19. Lebor na gCert (The Book of Rights) / Ed. by Dillon M. Oxford, 1962.
20. Táin bó Cualnge from the Book of Leinster / Ed. by O'Rahilly C. Dublin, 1970.
21. Síscéalta ó Thír Chonaill (Fairy legends from Donegal). Dublin, 1977.
22. Калыгин В.П. Язык древнейшей ирландской поэзии. М., 1986.
23. Dictionary of the Irish language: F - fochraic. Dublin, 1950.
24. Contributions to a dictionary of the Irish language: degra - dodelbtha. Dublin, 1959.
25. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 2. Тбилиси, 1984.
26. Алцинцева Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексико-семантической группы: На материале прилагательных цветообозначений русского языка. Л., 1986.
27. Василевич А.П. Психологическая значимость слов - цветообозначений в разных языках // Экспериментальные исследования в психолингвистике. М., 1982.
28. Белов А.И. Цветовые этноэидемы как аспект этнопсихолингвистики // Этнопсихолингвистика. М., 1988.
29. Dimmendaal G.J. Some observations on the evolutionary concepts in current linguistics // Studies in language origins, V. 2 / Ed. by Raffler-Engel W. von, Wind J. and Jonker A. Amsterdam-Philadelphia, 1991.
30. Witkowski S.R., Brown C.H. An explanation of colour nomenclature universals // "American anthropologist", 1977, V. 79.
31. Witkowski S.R., Brown C.H. Lexical encoding sequences and language change: colour terminology systems // "American anthropologist", 1981, V. 83.
32. Brown C.H., Witkowski S.R. Polysemy, lexical change and cultural importance // "Man", 1983, V. 18 (1).
33. Rottland F. Die Südnilotischen Sprachen: Beschreibung, Vergleichung und Rekonstruktion // Kölner Beiträge zur Afrikanistik, 1982, Bd. 7.
34. Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus. London, 1922.

© 1994 г. В.С. ХРАКОВСКИЙ

**УСЛОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КОНДИЦИОНАЛЬНЫХ И ТЕМПОРАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ***

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

В прототипических условных конструкциях (УК) и условие (p), выражаемое в зависимой части, и следствие (q), выражаемое в главной части, рассматриваются говорящим по отношению к миру не как действительные, а как возможные или невозможные. Указанная смысловая особенность составляет универсальный отличительный признак УК, который соответственно принимает два значения: 1) в УК выражается реальная, т.е. выполнимая возможность, 2) в УК выражается нереальная, т.е. невыполнимая возможность, ср. [1]. Иллюстрировать эти значения можно с помощью следующих простых примеров:

(1) а. *Если завтра будет хорошая погода, мы поведем за горю,*

б. *Если бы вчера была хорошая погода, мы бы поехали за горю.*

В примере (1а) обозначается реальная возможность, в примере (1б) – нереальная возможность.

Бинарную семантическую классификацию прототипических УК следует отличать от формальной маркировки значений этой классификации. Если во многих европейских языках с помощью грамматических средств специально маркируется как реальная, так и нереальная возможность, то, как показал Б. Комри [2], имеются языки, в которых такая маркировка отсутствует, и вне контекста УК может иметь несколько прочтений. Для обоснования этого тезиса был приведен следующий древнекитайский пример, который имеет три прочтения:

(2) *Zhāngsān hē-le jiǔ, wǒ jiù mà tā*

1. "If Z. has drunk wine, I'll scold him"

2. "If Z. drank wine, I would scold him"

3. "If Z. had drunk wine, I would have scolded him" [2, с. 91].

Кроме того, Б. Комри показал, что в некоторых языках УК формально делятся на три группы. К числу таких языков относится, в частности, латынь, где в соответствии с существующей традицией различаются реальные УК типа

(3) *Si id credis, erras* "Если ты этому веришь, то ошибаешься",

потенциальные УК типа

(4) *Si id credas, erras* "Если бы ты этому поверил (потом), то ты бы ошибся",

и ирреальные УК типа

(5) *Si id credidisses, errasses* "Если бы ты поверил этому (тогда), то ты бы ошибся".

В УК первого типа и в зависимой, и в главной части употребляются различные временные формы индикатива, в УК второго типа – формы презенса или перфекта конъюнктива, в УК третьего типа – формы имперфекта или плюсквамперфекта конъюнктива [3]. Таким образом, в латыни разграничиваются УК, выражающие реальную возможность, УК, выражающие нереальную возможность в будущем времени, и УК, выражающие нереальную возможность в настоящем и прошедшем вре-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

мени. Впрочем логично считать, что выделение второй и третьей группы УК представляет собой дальнейшую формальную классификацию УК, выражающих нереальную возможность.

И в реальной УК, и в нереальной УК как положение дел, выражаемое в условии, так и положение дел, выражаемое в следствии, допускают различную временную локализацию, которая может маркироваться грамматически, лексически, контекстуально и ситуационно, как порознь, так и в различных комбинациях друг с другом¹. В стандартных УК реализуются следующие шесть комбинаций временной локализации условия и следствия:

I. 1. p (прошед.), q (прошед.)

- (8) а. *Если Петров получил вчера деньги, он купил жене подарок,*
б. *Если бы Петров получил вчера деньги, он бы купил жене подарок.*

2. p (прошед.), q (наст.)

- (9) а. *Если Петров уже вернулся, то в настоящий момент он пишет статью,*
б. *Если бы Петров уже вернулся, то в настоящий момент он бы писал статью.*

3. p (прошед.), q (буд.)

- (10) а. *Если Петров вчера вернулся, я позвоню ему завтра,*
б. *Если бы Петров вчера вернулся, я бы позвонил ему завтра.*

II. 4. p (наст.), q (наст.)

- (11) а. *Если Петрову сейчас никто не мешает, он пишет статью,*
б. *Если бы Петрову сейчас никто не мешал, он бы писал статью.*

5. p (наст.), q (буд.)

- (12) а. *Если Петров сейчас принимает экзамен, он освободится только через час,*
б. *Если бы Петров сейчас принимал экзамен, он бы освободился только через час.*

III. 6. p (буд.), q (буд.)

- (13) а. *Если Петров получит завтра деньги, он купит жене подарок,*
б. *Если бы Петров получил завтра деньги, он бы купил жене подарок.*

В языке все УК, в которых реализуются перечисленные комбинации временной локализации условия и следствия, выступают как логически равноправные и однородные элементы одной системы. В то же время в речи та или иная локализация условия и следствия может либо способствовать, либо препятствовать реализации значений как реального, так и нереального условия. Учитывая определяющую роль временной локализации условия для характеристики функционирования УК, вышеперечисленные комбинации целесообразно разбить на три группы. В первую группу входят те комбинации (1–3), в которых условие локализовано в прошлом. Во вторую группу входят те комбинации (4–5), в которых условие локализовано в настоящем. В третью группу входит одна комбинация (6), в которой условие локализовано в будущем, ср. [4].

Основываясь на изложенном, задачи этой публикации мы видим в том, чтобы, во-первых, указать основные возможности формальной маркировки временной локализации условия и следствия, а, во-вторых, рассмотреть существующие типы взаимо-

¹ Существуют также УК с нелокализованными во времени положениями дел. Это итеративные и генерализованные УК типа

(6) *Если газеты опаздывают, за ними выстраиваются большие очереди.*

(7) *Если говоришь правду, теряешь дружбу.*

Подобные УК в настоящей работе не рассматриваются.

действия временной локализации условия и следствия с реальным и нереальным условным значением². Дополняя сказанное, уточним, что мы различаем канонические и неканонические УК. В зависимой части канонической УК обозначается такое положение дел, которому в случае его осуществления сопутствует другое положение дел, обозначаемое в главной части УК. В зависимой части неканонической УК обозначается такое положение дел, которое в случае его осуществления служит обоснованием для речевого акта, выражаемого в главной части УК³. В приведенном до сих пор иллюстративном материале представлены канонические УК. Примером неканонической УК может служить предложение

(14) *Если ты пойдешь в магазин, купи мне бутылку молока.*

В предлагаемой работе анализироваться будут в основном канонические УК.

2. СПОСОБЫ МАРКИРОВКИ ВРЕМЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ УСЛОВИЯ И СЛЕДСТВИЯ

Достаточно широко абсолютная временная локализация и условия, и следствия маркируется с помощью специализированных временных финитных форм глагола. Эта ситуация, очевидно, реализуется в трех формальных разновидностях.

В первом случае финитные глагольные формы и в зависимой части УК, и в ее главной части употребляются в своих прототипических временных значениях.

(15) арм. *Et'e eṣṭapakə lavə lini, menk' kgnank' Aštarak'* "Если погода хорошая будет, мы поедем в Аштарак".

В зависимой части этой УК употреблена форма будущего времени желательного наклонения, а в главной части – форма будущего времени условного наклонения. См. также (1а), (8а)–(13а), где формы прошедшего, настоящего и будущего времени русского глагола и в зависимой, и в главной части УК употребляются в своих прототипических значениях.

Во втором случае финитные глагольные формы и в зависимой части УК, и в ее главной части употребляются не в своих прототипических значениях.

(16) лат. *Si id crederes, errares* "Если бы этому ты верил сейчас, ты бы ошибался".

В этом примере в обеих частях УК представлены имперфектные формы конъюнктива, которые имеют значение настоящего времени, тогда как прототипическим для имперфекта принято считать значение прошедшего времени.

В третьем случае финитные глагольные формы в главной части УК употребляются в своих прототипических значениях, а финитные глагольные формы в зависимой части УК употребляются не в своих прототипических значениях.

(17) болг. *Ако получа покана, ще замина за конференцията* "Если я получу приглашение, я поеду на конференцию".

В этом примере в главной части УК употреблена форма будущего времени в своем прототипическом значении, тогда как в зависимой части УК употреблена форма настоящего времени в своем непрототипическом футуральном значении.

Также очень широко распространена ситуация, когда абсолютная временная локализация обозначается специализированными финитными глагольными формами только в главной части УК. Что касается зависимой части УК, то в ней употребляются специализированные инфинитные глагольные формы, маркирующие определенную таксисную зависимость от финитных глагольных форм, представленных в главной части УК.

(18) эск. *Малика тагикан, аглялътықуңа иңавык снамун* "Малика если придет, пойду я туда на берег".

² Тем самым по своей проблематике эта работа примыкает к статье [5].

³ Из работ, которые оказали заметное влияние на формирование нашего подхода, кроме работы [2], отметим также работы [6, 7, 8].

В этом примере в зависимой части УК представлено инфинитное реально-условное деепричастие, а в главной части – финитная форма будущего времени. Действие, обозначаемое деепричастием, предшествует действию, обозначаемому формой будущего времени, и тоже локализуется в будущем времени.

(19) Расскажи он о нашей встрече, ему не поверят.

В этом примере в зависимой части УК употреблена инфинитная форма квазиимператива, а в главной части – финитная форма будущего времени. Действие, обозначаемое квазиимперативом, предшествует действию, обозначаемому формой будущего времени, и также локализуется в будущем времени.

Возможна также ситуация, когда абсолютная временная локализация не обозначается специализированными глагольными формами ни в главной, ни в зависимой части УК. Отметим следующие варианты этой ситуации.

Во-первых, и в зависимой, и в главной части УК представлены финитные глагольные формы, которые обычно характеризуются как временные, однако при употреблении в УК они лишены своего временного значения.

(20) болг. *Ако в близките дни получех покана, щях да замина за конференцията* "Если бы я на днях получил приглашение, я бы поехал на конференцию".

В этом примере в зависимой части УК выступает форма прошедшего несовершенного (имперфекта), а в главной части – форма будущего в прошедшем, однако обе эти формы маркируют не время, а нереальное условие.

Во-вторых, и в зависимой, и в главной части УК выступают невременные финитные глагольные формы.

(21) индонез. *Kalau Anwar belum berangkat, pasti Maria sudah menilpon dia* "Если Анвар еще не выехал, наверняка Мария уже позвонила ему".

В этом примере и в зависимой, и в главной части УК употреблены глагольные формы активного залога, допускающие любую временную локализацию. См. также (16), (86)–(136), где употреблены формы сослагательного наклонения, также допускающие любую временную локализацию.

В-третьих, и в зависимой, и в главной части УК употребляются глаголы, не имеющие словоизменения и соответственно грамматических категорий.

(22) др.-кит. *Бу фань ле це син фа* "Не вернешься в строй, применю закон".

В этом примере и в зависимой, и в главной части УК представлены глаголы, которые в принципе должны допускать любую временную локализацию.

В тех случаях, когда абсолютная временная локализация не обозначается специализированными глагольными формами ни в зависимой, ни в главной части УК, на конкретный временной план указывают слова и выражения, имеющие то или иное временное значение, типа *в будущем, в прошлом, недавно, вчера, завтра, уже, еще не* и т.п. См., например (16), (86)–(136), (20)–(21), (29), (33), (35).

Разумеется, подобные слова и выражения без всяких ограничений встречаются и в тех УК, где временная локализация маркируется с помощью специализированных глагольных форм, однако в этом случае такие слова и выражения только конкретизируют время действия, обозначаемое глагольными формами. См., например (1а), (8а)–(13а), (27).

Если же в УК нет специализированных временных глагольных форм, и при этом отсутствуют слова и выражения, имеющие определенное временное значение, временная локализация условия и следствия опознается по широкому контексту и ситуации. В принципе можно было бы думать, что такая УК, взятая вне контекста, допускает шесть прочтений, соответствующих указанным выше комбинациям временной локализации условия и следствия. Однако, как мы увидим ниже, на практике дело обстоит не совсем так. Реальная УК обычно имеет футуральное прочтение, а нереальная УК – претеритальное. См. в этой связи (22), (36).

Завершая обсуждение вопроса о маркировке временной локализации условия и следствия, отметим, что в литературе [2] справедливо обращалось внимание на то, что

в языках, где в реальных УК временные глагольные формы употребляются в своих прототипических значениях, в нереальных УК ситуация может меняться. Для этих УК более характерно употребление временных форм в непрототипическом темпоральном значении (см. (4)–(5), (16)) и использование глагольных форм, лишенных темпорального значения (см (16), (86)–(136), (20)).

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕАЛЬНОГО УСЛОВИЯ И ВРЕМЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ УСЛОВИЯ И СЛЕДСТВИЯ

Начнем с того, что локализация и условия, и следствия в будущем (группа III, комбинация б) в наибольшей степени благоприятствует осуществлению реальной, т.е. выполнимой возможности.

(23) – *Я довольно хорошо знаю Шатова, – сказал я, – и если вы мне поручите передать ему, то я сию минуту схожу* (Ф. Достоевский).

См. также (1а), (13а), (18)–(19).

Это объясняется тем, что будущее по своей природе является наиболее потенциальным временным планом и тем самым наилучшим образом приспособлено для выражения значения реального условия. По этой причине при локализации реального условия в будущем отсутствуют какие-либо прагматические ограничения на употребление УК. По этой же причине УК, в которых и условие, и следствие локализованы в будущем, относятся к самым частотным моделям УК. Таким образом, именно эти модели составляют центр поля реальных УК.

В связи со сказанным целесообразно обратить внимание на следующее обстоятельство. Как было уже отмечено, если в языке нет обязательной формальной маркировки временной отнесенности условия и следствия, то при отсутствии каких-либо факультативных показателей временной отнесенности УК прежде всего получает футуральное прочтение.

(24) кхмер. *bañ navani: (niñ) taok khrot ðiər kət ba:n* "Если Навани придет, я встречу его смогу".

В этом примере и в зависимой, и в главной части УК представлены глаголы, которые в принципе должны допускать любую временную локализацию. Кроме того, в зависимой части УК есть факультативный показатель будущего времени, который заключен в скобки. Понятно, что при наличии показателя будущего времени эта УК может иметь только футуральное прочтение. Однако только такое прочтение эта УК имеет и при вполне допустимом отсутствии показателя будущего времени. См. также (22).

Когда говорящий произносит реальное условное высказывание, в котором и условие, и следствие отнесены к будущему, он называет в условии некоторое, с его точки зрения, возможное положение дел, при этом он знает, что в момент речи это положение дел не имеет места, но полагает, что оно может иметь место в будущем после момента речи.

В наименьшей степени благоприятствует осуществлению реальной, т.е. выполнимой возможности локализация условия в прошлом (группа I, комбинации 1–3).

(25) – *Я полагаю другое, – осторожно возражает он, – если народовольцы были против царизма, они сражались с ним насмерть, то есть обещали смерть своим врагам и готовы были к смерти сами* (Л. Бородин).

(26) *Вы, читающие эти записки, – кто бы вы ни были, но над вами солнце. И если вы тоже когда-нибудь были так больны, как я сейчас, вы знаете, какое бывает – какое может быть – утром солнце, вы знаете это розовое, прозрачное, теплое золото* (Е. Замятин).

См. также (8а)–(10а), (21).

Данное обстоятельство объясняется тем, что прошедшее время по своей природе является наиболее фактивным временным планом и тем самым мало подходит для выражения значения реального условия. По этой причине при локализации реального

условия в прошлом существует целый ряд прагматических ограничений на функционирование УК. Отметим прежде всего, что говорящий не может выступать в качестве субъекта положения дел, выражаемого в условии, если это положение дел контролируется субъектом. Ср. в этой связи (8а) и (8в), (9а) и (9в), (10а) и (10в).

(8) а. *Если Петров получил вчера деньги, он купил жене подарок.*

(8) в. *Если я получил вчера деньги, я купил жене подарок.*

(9) а. *Если Петров уже вернулся, то в настоящий момент он пишет статью.*

(9) в. *Если я уже вернулся, то в настоящий момент я пишу статью.*

(10) а. *Если Петров вчера вернулся, я позвоню ему завтра.*

(10) в. *Если я вчера вернулся, я позвоню ему завтра.*

Указанное ограничение не действует, если положение дел, выражаемое в условии, не контролируется субъектом.

(27) а. *Если Петров написал вчера сочинение, то он поступил в институт.*

(27) б. *Если я написал вчера сочинение, то я поступил в институт.*

(27) в. *Если я написал вчера сочинение, то я поступаю в институт.*

Если говорящий не является субъектом положения дел, выражаемого в условии, то он может быть субъектом положения дел, выражаемого в следствии, если это положение дел локализовано в будущем.

(28) а. *Если Катя заболела, Коля вызвал врача.*

(28) б. *Если Катя заболела, я вызвал врача.*

(28) в. *Если Катя заболела, я вызову врача.*

Интересна специфика этих моделей реальных УК в тех языках, где нет глагольных форм, обязательно маркирующих временную локализацию условия и следствия. Она состоит в том, что в рассматриваемых моделях тем или иным способом должна быть обозначена отнесенность к прошлому.

(29) кхмер. *baɪn naɪni: (ba:n) taok haɪj bɔ:ŋ khɔt muk ciə ba:n ʔɛaɪr kɔat* "Если

Навани уже приехал, мой старший брат наверняка встретил его".

В этом примере в зависимой части представлено слово *haɪj* 'уже', а в главной части показатель перфекта *ba:n* (факультативно он может выступать и в зависимой части), которые маркируют отнесенность к прошлому.

В силу изложенного реальные УК, в которых условие локализовано в прошлом, относятся к самым неупотребительным моделям УК. Более того, в отдельных языках такие модели вообще отсутствуют. Например, таких моделей нет в эвенском языке (устное сообщение А.Л. Мальчукова).

Когда говорящий произносит реальное условное высказывание, в котором условие отнесено к прошлому, а следствие – к прошлому, настоящему или будущему, он называет в условии некоторое, с его точки зрения, возможное положение дел, при этом он знает, что в момент речи это положение дел не имеет места, но полагает, что оно могло иметь место в прошлом до момента речи.

УК, в которых условие локализовано в настоящем (группа II, комбинация 4–5) занимают промежуточное место между УК, в которых условие локализовано в будущем, и УК, в которых условие локализовано в прошлом, однако примыкают к последним, составляя вместе с ними периферию реальных УК.

(30) – *Если хочешь, мы можем начать работать над временем... и ты научишься летать в прошлое и будущее* (Р. Бах).

(31) – *Если я и вправду королева, подумала вслух Алиса, – со временем я научусь с ней (короной) справляться* (Л. Кэрролл).

См. также (3), (11а), (12а).

Поскольку настоящее время фактично для говорящего приблизительно в той же степени, что и прошедшее, то для реальных УК, в которых условие локализовано в настоящем, действительны многие из прагматических ограничений, которые характерны для УК, где условие локализовано в прошлом. В частности, говорящий не

может выступать в качестве участника положения дел, выражаемого в условии, если положение дел контролируется этим участником. Ср. в этой связи (11а) и (11в), (12а) и (12в).

(11) а. *Если Петрову сейчас никто не мешает, он пишет статью.*

в. *Если мне сейчас никто не мешает, я пишу статью.*

(12) а. *Если Петров сейчас принимает экзамены, он освободится только через час.*

в. *Если я сейчас принимаю экзамен, я освобожусь только через час.*

Впрочем нужно отметить, что прагматические ограничения в отличие от грамматических не абсолютны. Ср. в этой связи (32а), (32б) и (32в).

(32) а. *Если у меня заболит голова, я приму таблетку анальгина.*

б. *Если у меня болит голова, я приму таблетку анальгина.*

в. *Ну, если у меня действительно болит голова, я приму таблетку анальгина.*

Предложение (32б) в отличие от предложения (32а) кажется прагматически некорректным, поскольку в его условии выражается также положение дел, в фактивности или нефактивности которого у говорящего в стандартной ситуации не должно быть сомнений. Обычно люди знают, болит у них голова или нет. Однако в нестандартной ситуации у говорящего могут возникнуть основания для того, чтобы усомниться, болит у него голова или нет. Такая нестандартная ситуация встретилась в одной сказке, где придворные в своих интересах долго убеждали короля, что у него болит голова, хотя он головной боли вроде бы и не чувствовал. В результате им удалось посеять сомнения и король произнес фразу (32в), которая с учетом конкретной речевой ситуации представляется абсолютно корректной. См. также (31). Заметим, что формальная специфика и (32в), и (31) состоит в том, что в их зависимой части представлены слова *действительно*, и *вправду*, которые подчеркивают, что говорящий не утверждает высказываемое им в условии положение дел.

В целом реальные УК, в которых условие локализовано в настоящем, относятся к малоупотребительным моделям. Вместе с тем надо подчеркнуть, что в них относительно чаще, чем в других моделях, встречаются модальные глаголы типа *мочь*, *хотеть*, причем как в зависимой, так и в главной части УК, ср. (30).

Когда говорящий произносит реальное условное высказывание, в котором условие отнесено к настоящему, а следствие к настоящему или будущему, он называет в условии некоторое, с его точки зрения, возможное положение дел, при этом он не знает, имеет ли место это положение дел в момент речи, но полагает, что оно может иметь место.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕРЕАЛЬНОГО УСЛОВИЯ И ВРЕМЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ УСЛОВИЯ И СЛЕДСТВИЯ

Сразу же скажем, что в наибольшей степени благоприятствует высказыванию нереальной, т.е. невыполнимой возможности локализация условия в прошлом (группа I, комбинации 1–3).

(33) *Слева от меня 0–90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом "моя"*
(Е. Замятин).

(34) *Не случись на счастье перемен, мы и теперь бы сидели с кляпом во рту*
(В. Ерофеев).

См. также (1б), (5), (8б)–(10б), (35), (36).

Высказанное утверждение обосновывается тем, что прошлое, как мы уже отмечали, является самым фактивным временным планом и тем самым говорящий в принципе может быть хорошо осведомлен не только о тех положениях дел, которые осуществились до момента речи, но также и о тех положениях дел, которые могли бы осуществиться в прошлом, зачастую были близки к осуществлению, но в силу ряда

причин не осуществились. Иными словами, речь идет о тех позитивных и негативных сценариях, которые, по мнению говорящего могли бы стать реальностью, но не стали.

К сказанному необходимо добавить, что нереальные возможности, обозначаемые в рассматриваемых УК, позволяют судить об осуществившихся в действительности положениях дел, которые антонимичны по отношению к неосуществившимся нереальным возможностям.

(35) *Если бы студент решил вчера задачу, он бы сдал экзамен.*

Решение задачи в этом примере представляет собой неосуществившуюся возможность, а нерешение задачи – это реально имевшее место положение дел.

Насколько мы можем судить, при локализации нереального условия в прошлом отсутствуют какие-либо прагматические ограничения на функционирование УК, а модели УК, в которых и условие, и следствие локализованы в прошлом, относятся к самым частотным моделям нереальных УК. Таким образом, есть все основания отнести эти модели к центру поля нереальных УК.

Что касается моделей нереальных УК, в которых условие локализовано в прошлом, а следствие – в настоящем или будущем (группа I, комбинации 2–3), то они не относятся к числу частотных моделей. Данное обстоятельство отражает общую тенденцию, в соответствии с которой модели УК, где условие и следствие относятся к разным временным планам, встречаются значительно реже, чем модели УК, где условие и следствие отнесены к одному временному плану. Этот факт, можно думать, объясняется тем, что условный период представляет собой одно событие, которому естественно осуществляться в рамках одного интервала времени.

Теперь давайте сравним предложения (8б) и (8в), которые соответствуют центральной модели нереальных УК.

(8) б. *Если бы Петров получил вчера деньги, он бы купил жене подарок.*

(8) в. *Если бы я получил вчера деньги, я бы купил жене подарок.*

Оба эти предложения, как мы уже знаем, имеют прочтение, в соответствии с которым ни получения денег, ни покупки подарка в действительности не было. Такое прочтение по праву можно характеризовать как контрфактическое. Однако у предложения (8б) есть еще одно прочтение, в соответствии с которым говорящий в момент речи не знает, получены ли деньги и куплен подарок, но предполагает с большой долей вероятности, что шансы получения денег и соответственно покупки подарка близки к нулю. Указанное прочтение не может характеризоваться как контрфактическое. У предложения (8в) такого прочтения нет, потому что в отношении самого себя и тех положений дел, участником которых он был или мог быть, говорящий должен располагать достоверной, а не предположительной информацией.

Когда говорящий произносит нереальное высказывание, в котором условие отнесено к прошлому, а следствие к прошлому, настоящему или будущему, он называет в условиях некоторое, с его точки зрения, невозможное положение дел, при этом он полагает, что это положение дел не могло осуществиться в прошлом до момента речи.

Обратим внимание на следующее обстоятельство. Во многих случаях, когда в реальных УК временная локализация условия и следствия маркируется прежде всего грамматически, то в соотносительных нереальных УК грамматическая маркировка отходит на задний план или ликвидируется, уступая место лексической, контекстуальной и ситуационной маркировке, ср. в этой связи (8а)–(13а) и (8б)–(13б). При этом важно подчеркнуть, что при отсутствии показателей временной локализации условия и следствия в нереальной УК, она прочитывается как УК с временной отнесенностью условия и следствия к прошлому.

(36) др.-кит. *Би жу юз шу кэ и фа чжи, цэ цзян ин чжи... "Если бы он спросил, на кого можно напасть, тогда (я) ответил бы ему..."*

В наименьшей степени благоприятствует выражению нереальной, т.е. неосущест-

вимой возможности локализация условия, а также следствия в будущем (группа III, комбинация б).

(37) *Ах, Ваше Величество, мой хозяин, маркиз Карабас, очень богат. Для него все это мелочь. Но он был бы очень счастлив, если бы вы пригласили его на обед* (Ш. Перро).

См. также (4), (136), (20).

Высказанное утверждение аргументируется тем, что будущее, будучи, как мы знаем, наиболее потенциальным временным планом, в силу этого не ставит каких-либо ограничений для осуществления любых положений дел. Эта особенность будущего времени создает базу для конфликта со значением нереального условия, которое напротив полностью или в очень большой мере исключает возможность осуществления каких-либо положений дел. Такое семантическое "противостояние" этих двух значений имеет несколько практических следствий. Первое следствие заключается в том, что в данном временном плане и УК, выражающие реальное условие, и УК, выражающие нереальное условие, часто выступают как квазисинонимы [1]. Ср. (38а) и (38б):

(38) а. *Если вы купите мне дачу, я выйду за вас замуж.*

б. *Если бы вы купили мне дачу, я бы вышла за вас замуж.*

В определенных случаях такие УК отличаются друг от друга только степенью вежливости. Ср. (39а) и (39б):

(39) а. *Если вы придете к нам в среду, мы будем очень рады.*

б. *Если бы вы пришли к нам в среду, мы были бы очень рады.*

См. также (37).

Второе следствие заключается в том, что в некоторых языках нереальные УК не допускают локализации в будущем, где функционируют только реальные УК. В качестве примера можно привести индонезийский язык (устное сообщение А.К. Оглоблина).

В целом УК, в которых и условие, и следствие локализованы в будущем, относятся к самым неупотребительным моделям нереальных УК.

Обратим внимание на одно важное обстоятельство. Принципиальная потенциальность будущего времени не исключает контрфактического прочтения отдельных нереальных УК при локализации и условия, и следствия в будущем. Рассмотрим в этой связи предложение (40):

(40) *Если бы Петров купил машину завтра, он бы заплатил большой налог.*

У этого предложения два прочтения. Одно – стандартное, которое отражает ситуацию, когда машина еще не куплена и ее покупка представляется в высшей степени гипотетичной, т.е. практически невыполнимой. Другое прочтение отражает ситуацию, когда машина уже куплена и тем самым в предложении идет речь о невыполнимой возможности, которая вступает в противоречие с реальным положением дел. Такое прочтение можно квалифицировать как контрфактическое.

Когда говорящий произносит нереальное высказывание, в котором и условие, и следствие отнесены к будущему, он называет в условии некоторое, с его точки зрения, невозможное положение дел, при этом он полагает, что это положение дел не может осуществиться в будущем после момента речи.

Нереальные УК, в которых условие локализовано в настоящем, а следствие в настоящем или будущем (группа II, комбинации 4–5), занимают промежуточное положение между УК, в которых условие локализовано в будущем, и УК, в которых условие локализовано в прошлом. При этом они ближе к последним, т.е. к центру поля нереальных УК.

(41) *Он не раз говорил друзьям и журналистам: "Как вы не можете понять, что тогда было совсем другое время. Повторись это все сейчас, я бы, наверное, вел себя и действовал совсем иначе"* (Ю. Паноров).

См. также (116)–(126), (16).

Определенная близость нереальных УК, в которых условие локализуется в настоящем, к нереальным УК, в которых УК локализуется в прошлом, определяется тем, что настоящее фактивно примерно в той же степени что и прошлое. В принципе говорящий может быть хорошо осведомлен не только о тех положениях дел, которые имеют место в момент речи, но и о тех положениях дел, которые в принципе могли бы иметь место в момент речи, но реально не осуществляются. Тем самым настоящее является вполне благоприятной средой для воплощения нереального условия. Однако на практике нереальные УК, в которых условие локализовано в настоящем, по частотности заметно уступают нереальным УК, в которых условие локализовано в прошлом.

Когда говорящий произносит нереальное условное высказывание, в котором условие локализовано в настоящем, а следствие отнесено к настоящему или будущему, он называет в условии некоторое, с его точки зрения, невозможное положение дел, при этом он полагает, что это положение дел не может иметь места именно в момент речи.

5. ШКАЛА ДОСТОВЕРНОСТИ И МАРКИРОВАНИЕ ЕЕ ЗНАЧЕНИЙ В УК

Характеризуя взаимодействие временной локализации условия и следствия как с реальным, так и с нереальным условным значением, необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. И положение дел, выражаемое в следствии, и положение дел, выражаемое в условии, могут по-разному характеризоваться говорящим. Во-первых, говорящий может не выражать своей неуверенности или напротив уверенности в осуществлении какого-либо из этих положений дел. Во-вторых, он может специально выражать свою неуверенность или уверенность. Показателями значений неуверенности и уверенности преимущественно служат модальные слова и выражения типа возможно, наверное, обязательно, вдруг, случайно и т.п. См. (21), (29), (33), (41). Вместе с тем хочется подчеркнуть, что значение неуверенности может выражаться с помощью специализированных грамматических средств. В сфере реальных УК такое явление наблюдается при взаимодействии будущего с реальным условием. Ср. в этой связи (42а) и (42б):

- (42) болг. а. *Ако събера повече пари, ще си купя хубаво радио* "Если накоплю побольше денег, куплю себе хороший радиоприемник".
б. *Ако събера повече пари, бих си купил хубаво радио* "Если накоплю побольше денег, возможно, куплю себе хороший радиоприемник".

В главной части УК (42а) употреблена форма будущего времени, а в главной части УК (42б) – форма условного наклонения. Других формальных отличий у этих УК нет. Соответственно выполнимость положения дел, обозначенного в следствии УК (42б) оценивается говорящим как более гипотетичная, чем выполнимость положения дел, выраженного в следствии УК (42а).

Ср. далее (43а) и (43б):

- (43) англ. а. *If you meet him, tell him to come* "Если ты встретишь его, то вели ему прийти".
б. *If you should meet him, tell him to come* "Если ты вдруг встретишь его, то вели ему прийти".

Формальные отличия этих двух УК состоят в том, что в (43а) в условии употреблена форма настоящего времени, а в (43б) – конструкция с модальным глаголом *should*. Соответственно выполнимость положения дел, обозначенного в условии УК (43б), оценивается говорящим как более гипотетичная, чем выполнимость положения дел, выраженного в условии УК (43а).

Аналогичное явление наблюдается также в сфере нереальных УК. Ср. в этой связи болгарские примеры (44а) и (44б):

- (44) а. *Ако съберех повече пари, щях да си купя хубаво радио* "Если бы я накопил побольше денег, то купил бы себе хороший радиоприемник".

- б. *Ако съберех повече пари, бих си купил хубаво радио* "Если бы я накопил побольше денег, то, возможно, купил бы себе хороший радиоприемник".

Формальное отличие этих двух конструкций состоит в том, что в УК (44а) в следствии употреблена форма будущего в прошедшем, а в УК (44б) – форма условного наклонения. Соответственно выполнимость положения дел, обозначенного в следствии УК (44б) оценивается говорящим как более гипотетичная, чем выполнимость положения дел, выраженного в следствии УК (44а).

Приведенные примеры показательны в следующем отношении. При описании УК в конкретных языках особый тип "гипотетичных" УК выделяется только в тех случаях, когда "гипотетичность" маркируется с помощью специальных грамматических средств. Такой подход понятен, если описание строится в направлении от "формы" к "значению". Если же двигаться в направлении от "значения" к "форме", то тип "гипотетичных" УК должен выделяться независимо от того, с помощью каких средств выражается значение "гипотетичности" [9]. Важно обратить внимание на следующее обстоятельство. Данные, которыми мы располагаем, свидетельствуют о том, что в сфере реальных УК выражение "гипотетичности" с помощью грамматических средств осуществляется, если только и условие, и следствие локализованы в будущем. Иными словами это явление наблюдается в центральных, а не в периферийных УК.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя изложенное, мы приходим к следующим выводам. При любых способах формальной маркировки временной локализации условия и следствия в УК, та или иная временная локализация условия и следствия специфическим образом взаимодействует с реальным и нереальным условием. Будущее является наиболее благоприятной средой для существования реальной возможности и наименее благоприятной средой для существования нереальной возможности. Напротив, прошлое служит наиболее благоприятной средой для существования нереальной возможности и наименее благоприятной средой для существования реальной возможности. Соответственно реальные УК, в которых условие и следствие локализованы в будущем, составляют центр поля реальных УК, а нереальные УК, в которых условие, и следствие локализованы в прошлом, составляют центр поля нереальных УК. Остальные УК относятся к периферийным, причем в языке могут отсутствовать модели периферийных УК. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что прошедшее и настоящее время представляют собой естественную позицию контраста семантики реального и нереального условия, а будущее время напротив представляет собой естественную позицию для нейтрализации семантических различий между этими двумя условными значениями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Храковский В.С. Условные конструкции (проблемы типологического анализа) // Типологические и сопоставительные методы в славянском языкознании. М., 1993.
2. Comrie B. Conditionals: a Typology // On conditionals, Cambridge, 1986.
3. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Морфология и синтаксис. М., 1948.
4. Dancygier B., Mioduszewska E. Semanto-pragmatic Classification of Conditionals // Studia Anglica Posnaniensia. 1984. V. 17.
5. Храковский В.С. Взаимодействие грамматических категорий глагола (Опыт анализа) // ВЯ. 1990. № 5.
6. Гладкий А.В. О значении союза *если* // Семантика и информатика. М., 1982. Вып. 18.
7. Иорданская Л.Н. Семантика русского союза *раз* (в сравнении с некоторыми другими русскими союзами) // R. Ling. 1988. № 3.
8. Иорданская Л.Н. Перформативные глаголы и риторические союзы // Wiener Slavistischer Almanach, Wien. 1992. Sonderband 33.
9. Храковский В.С. Типы грамматических описаний и некоторые особенности функциональной грамматики // Проблемы функциональной грамматики. М., 1985.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1994 г. Ф.Д. АШНИН, В.М. АЛПАТОВ

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО НАСЛЕДИЯ А.М. СУХОТИНА

Выдающийся советский лингвист Алексей Михайлович Сухотин (1888–1942) вошел в историю отечественного языкознания главным образом как один из основателей Московской фонологической школы (МФШ) и как блестящий интерпретатор классических трудов двух западных языковедов: "Курс общей лингвистики" Фердинанда де Соссюра (1857–1913) и "Язык. Введение в изучение речи" Эдуарда Сепира (1884–1939). Но случилось так, что о Сухотине-фонологе мы знаем очень мало, и это малое рассыпано в многочисленных попутных замечаниях в работах его соратников по МФШ (Р.И. Аванесова, П.С. Кузнецова, А.А. Реформатского и В.Н. Сидорова) и его учеников (например, в исследованиях М.В. Панова). М.В. Панов в своей книге "Русская фонетика" (М., 1967) на стр. 404 особо подчеркнул: "Человек исключительно широких лингвистических интересов, увлекающийся, живой, работавший сразу над множеством проблем, А.М. Сухотин был едва ли не в первую очередь фонологом".

Между тем у тюркологов и других востоковедов есть особые основания обратить пристальное внимание на печатное и рукописное наследие А.М. Сухотина: ученик Н.Ф. Яковлева (1892–1974), он в 1925 г. окончил Московский институт востоковедения им. Н.Н. Нариманова, в 1929 г. – аспирантуру при Институте национальных и этнических культур народов Востока и в качестве сотрудника Лингвистической комиссии Научно-исследовательской ассоциации по изучению национальных и колониальных проблем при КУТВе, Научно-исследовательского института языкознания Наркомпроса и ВЦК НА принял самое активное участие в языковом строительстве в СССР.

Отправным пунктом и краеугольным камнем в создании письменностей народов СССР явилась яковлевская "теория фонем". Последовательное применение этой теории и вытекающей из нее орфографической теории и сочетании с терминологической и словарной работой позволило создать к середине 30-х гг. письменности высокого научного достоинства для многих языков народов СССР, в первую очередь – тюркских, и в этом важном культурно-историческом деле немалую роль сыграл разносторонний лингвист А.М. Сухотин: в сфере его непосредственных интересов были азербайджанский, алтайский, казахский, киргизский, ногайский, татарский, тувинский, узбекский, уйгурский и другие тюркские языки.

Среди статей А.М. Сухотина по языковому строительству выделяются: "К вопросам алфавитной политики" ("Просвещение национальностей", М., 1930, № 4–5, с. 96–99), "К проблеме национально-лингвистического районирования в южной Сибири" ("Культура и письменность Востока", М., кн. 7–8, 1931, с. 93–108), "Спор об унификации алфавитов" ("Революция и письменность", М., 1932, № 1–2, с. 95–103), "Вопросы языкового строительства в журналах" ("Революция и письменность", М., 1932, № 3, с. 125–132), «Проблема "сокращенных слов" в языках СССР» ("Письменность и революция", М.–Л., 1933, № 1, с. 151–160), "О сокращении некоторых букв в ряде тюркских алфавитов" (там же, с. 137–141, совм. с К.К. Юдахиним), "Основные проблемы создания терминологии в национальных языках" ("Язык и письменность народов СССР. Стенографический отчет I Всесоюзного пленума Научного совета ВЦК НА. 15–19 февраля 1933 г.", М., 1933, с. 143–145).

Среди неопубликованных материалов, составляющих фонд № 454 в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве, большой интерес представляют: "Принципы построения орфографии (на материале турецких языков и на основе латинского алфавита)" (д. 10), конспект лекций, ряд тезисов и машинописные статьи о состоянии работы и путях развития терминологии в национальных языках (д. 12–15) и целый ряд работ по теоретическим и практическим вопросам встававшей на ноги русско-национальной

лексикографии, в том числе: тезисы "Принципы подачи русской части в русско-иноязычных словарях" (д. 33), "Инструкция к русско-тувинскому словарю" (д. 42), "Предварительный отзыв на русско-киргизский словарь" (д. 43), замечания на Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык, Н.В. Юшманова (д. 44), а также отзывы на первые терминологические словари на языках народов СССР (д. 45). Эти основополагающие материалы А.М. Сухотина по теории национальной лексикографии и лексикологии нуждаются в специальном рассмотрении сквозь призму последующей реализации в словарной и терминологической практике. Но уже сегодня можно с полной уверенностью сказать, что увлечение А.М. Сухотина вопросами теории лексикографии и лексикологии, как и проблемами создания алфавитов и орфографий для языков народов СССР, явилось непосредственным ответом на насущные потребности языкового строительства в стране, вытекало из его приверженности к яковлевской теории фонем и было результатом творческого осмысления достижений лингвистической мысли Запада, нашедших наиболее концентрированное выражение в соссюрсовском "Курсе общей лингвистики".

Тема "Н.Ф. Яковлев и А.М. Сухотин" может составить сюжет отдельной статьи¹: влияние учителя на ученика доступно наблюдению. Установить же, в чем выразилось воздействие на А.М. Сухотина западной лингвистической мысли, много труднее: здесь непосредственного влияния мы не только не прослеживаем в публикациях автора тех лет, но даже не встречаем простого упоминания имени знаменитого швейцарского ученого. Вместе с тем каждому, кто хоть раз внимательно прочел "Курс" в переводе А.М. Сухотина, становилось ясным, что это труд мастера, а не ремесленника, труд, при чтении которого забываешь о том, что оригинал написан на французском языке. Воистину редкий случай столь удачного сочетания блестящего знания языка оригинала, переводческого мастерства и глубокого проникновения в суть новаторского учения!

Предлагаемый читателю не опубликованный ранее текст А.М. Сухотина дает возможность выяснить отношение этого языковеда к труду, который ему предстояло перевести. Это тезисы, составленные А.М. Сухотиным по предложению руководителя аспирантского спецсеминария при Институте национальных и этнических культур народов Востока проф. Н.Ф. Яковлева и предназначенные для предварительного ознакомления участников семинария. Сам доклад был сделан 14 февраля 1928 г., то есть за пять лет до издания "Курса" в переводе А.М. Сухотина. Кроме тезисов в ЦГАЛИ в том же фонде 454, д. 55, имеется реферат на 16 листах большого формата. Как тезисы, так и особенно реферат убеждают, что реферирование соссюрсовского "Курса" было задумано в целях сопоставления взглядов московских фонологов со взглядами женеваского ученого и в интересах языкового строительства в СССР.

Тезисы показывают, что А.М. Сухотин четко выделял и признавал действительно ключевые пункты соссюрсовской концепции: разграничение языка и речи, понимание языка как системы значимостей. Конечно, трудно согласиться с неприятием А.М. Сухотиным разделения синхронии и диахронии (этот пункт соссюрсовской концепции не разделялся и многими другими лингвистами того времени, см., например, А. Мейе) и вряд ли можно безоговорочно считать, что Ф. де Соссюр целиком относил фонологию к лингвистике речи. В то же время к 1928 г. уже было ясно, что, как справедливо пишет А.М. Сухотин, "к теории фонем Соссюр подходит довольно близко, но в самый термин "фонема" вкладывает недостаточно ясное содержание и не делает всех вытекающих выводов". Участники семинария могли убедиться, что яковлевская теория фонем была надежным орудием в создании рациональных письменностей народов СССР, и оставалось только последовательно проводить ее в жизнь.

¹ Некоторые данные об этом см. в нашей публикации: *Алишин Ф.Д.* Полузабытые страницы из истории отечественной тюркологии (Алексей Михайлович Сухотин (1888–1942)) // Тюркологические исследования. М., 1976.

ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ-РЕФЕРАТУ О "КУРСЕ ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКИ" ФЕРДИНАНДА ДЕ СОССЮРА

1. Основные положения учения Ф. де Соссюра.

1. Языковая деятельность в целом не может быть предметом научной дисциплины.
2. Языковая деятельность распадается на две резко разграниченные области – язык (явление социальное) и речь (явление индивидуальное), – причем вторая вполне обусловлена первой. Это делает необходимым строить две самостоятельные дисциплины – лингвистику языка и лингвистику речи, причем только первая может считаться лингвистикой в строгом смысле слова. Фонология относится к лингвистике речи.
3. Язык как явление социальное есть система знаков, служащая для общения в данном человеческом коллективе.

4. Как всякий знак, языковой знак предполагает наличие двух элементов – "означаемого" и "означающего". Означаемое – отнюдь не слово, в смысле материального звука, а акустический его образ.

5. Основные свойства языкового знака: его произвольность (в смысле немотивированности для говорящих), его линейный характер (способность развиваться лишь в одном измерении – во времени), его традиционность (навязанность коллективу). Изменения в языке, не зависящие от произвола говорящего, всегда сводятся к смещению отношения между "означаемым" и "означающим".

6. Язык как система знаков, унаследованная от прошлого, доступен целостному изучению, и наряду с этим каждый знак, входящий в систему, подвержен изменению, т.е. смещению отношения между составляющими его элементами, – что также доступно изучению, но совершенно иного порядка. Это приводит к необходимости строго отличать "лингвистику синхроническую" от "лингвистики диахронической".

7. Синхроническая лингвистика изучает данное состояние языка, систему сосуществующих языковых знаков, – она изучает "явления". Диахроническая лингвистика изучает изменения, происходящие внутри каждого отдельного языкового знака, не их отношения к системе, – она изучает "события". Методы обеих лингвистик ничего общего между собою не имеют.

8. Чрезвычайно трудно определить, что является "конкретной единицей" языка. Чисто условно можно такой единицей считать слово.

9. Слово-знак не есть просто-напросто соотношение некоего звука с неким понятием, вне системы языка. Язык не есть сумма отдельных слов-знаков. "Значение" слова возможно лишь постольку, поскольку существуют все прочие слова-знаки языка, что существует язык как система. Наличие двойного рода отношений (внутри знака и данного знака к системе) определяет "значимость" слова. То, что сказано о словах, распространяется и на грамматические категории: их значимость определяется не только их значением, но и их ролью в системе.

10. В языке все зиждется на отношениях. Эти отношения бывают: "синтагматические" (внутри данного отрезка речи) и "ассоциативные" (вне его). Выбор говорящим того или другого слова или той или иной формы определяется (хотя бы подсознательно) местом этого слова или этой формы в контексте и теми ассоциациями, которые они вызывают с другими словами и формами вне данного контекста.

11. К механизму языка чрезвычайно продуктивно подходить с точки зрения ограничения произвольности (произвольность "абсолютная" и произвольность "относительная"). Языки можно классифицировать на такие, где произвольность достигает максимума, и на другие, где она сведена к минимуму. Такая классификация приблизительно совпадает с делением языков на лексикологические и грамматические.

12. Диахроническая лингвистика имеет прежде всего дело с фонетическими изменениями. Фонетические изменения, причины которых удовлетворительно

объяснить нельзя, затрагивают не слова, а звуки, и происходят с абсолютной регулярностью.

13. Каждое фонетическое изменение, сколь бы большое число слов ни охватывало, – явление единичное и ничем не связанное, при своем возникновении, с системой языка. Но раз оно произошло, оно влияет на систему, разрушая грамматическую связь и превращая разложимые на составные элементы слова в неразложимые.

14. Разложение, вносимое в систему языка фонетическими изменениями, уравновешивается действием аналогии. Явление аналогии не есть изменение старого, но создание нового термина. Новообразование по аналогии возможно лишь постольку, поскольку в системе языка имеются отношения, синтагматические и ассоциативные, используя которые, создается новый термин. Это лишний раз доказывает зависимость явлений "речи" от явлений "языка".

II. Сильные и слабые стороны учения Ф. де Соссюра.

1. Положительной стороной является разграничение языка и речи, — подход к языку как к социальному явлению, обусловливающему факты индивидуальной речи.

2. Но нельзя согласиться с выключением фонологии из лингвистики в точном смысле слова на том-де основании, что звуки являются элементами речи, а не языка, ибо не облечены значением. Нельзя смешивать теорию звуков речи с теорией фонем как элементов языка. К теории фонем Соссюр подходит довольно близко, но в самый термин "фонема" вкладывает недостаточно ясное содержание и не делает всех вытекающих выводов.

3. Понимание языка как системы "значимостей" (соотносящихся со всей системой) и попытка наметить пути изучения языковой системы ("синтагматические" и "ассоциативные" отношения) – крупнейшие достоинства книги.

4. Весьма спорно резкое разграничение лингвистики "синхронической" и "диахронической". Ничем не доказано положение, будто изменения происходят в отдельных знаках, а не во всей системе в целом. Отнесение "анalogии" к диахронической лингвистике и наряду с этим признание, что новообразования по аналогии обусловлены наличными в языке отношениями, – противоречит основному положению, что диахроническая лингвистика имеет дело с "событиями", не зависящими от системы.

ЦГАЛИ, Ф. 454, оп. 1, д. 55, лл. 21–23.

© 1994 г. Н.А. ЗАМЯТИНА

**РУКОПИСНАЯ КАРТОТЕКА "МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛОВАРЯ
ГРАФИЧЕСКИХ ИСКУССТВ СТАРОГО И НОВОГО ВРЕМЕНИ"
П.К. СИМОНИ**

Литературовед, фольклорист, лингвист, историк, книговед, искусствовед, палеограф, библиограф, источниковед и педагог, Павел Константинович Симо́ни (19.11(2.12).1859 – 17.3.1939), венгр по происхождению, родился в семье сенатского чиновника (впоследствии служащего Петербургского университета). После частного немецкого пансиона в 1881 г. окончил гимназию при Петербургском университете, а в 1886 г. – историко-филологический факультет Петербургского университета.

Учась в университете, Симо́ни 3 года проработал под руководством проф. и акад. И.В. Ягича, начав свою научную деятельность с составления словаря к Служебным Минеям XI века и исследования о языке Саввиной книги XI века, которое осталось незаконченным. После университета Симо́ни много времени проводил в Публичной библиотеке (РНБ, СПб.), изучая графические приемы писцов и тексты XI века: Слова Григория Назианзина, неточно изданные А.С. Будиловичем в 1875 г., и рукописный Изборник Святослава 1076 г., для которого указал на неточности в издании Шимановского 1887 г. После издания в 1890 году "Слова о полку Игореве" по Екатерининскому списку с поправками к изданию Пекарского 1865 г. Симо́ни был избран членом-корреспондентом Московского археологического общества. В 1886–1892 гг. П.К. Симо́ни служил в Департаменте таможенных сборов и в Комитете иностранной цензуры. В 1888 г. он был привлечен к подготовке "Словаря русского языка" под ред. Я.К. Грота.

В 1892 г. Симо́ни получил впервые учрежденную в Обществе русского языка и словесности (ОРЯС) должность письмоводителя IV класса. В должности делопроизводителя и заведующего канцелярией ОРЯС он прослужил до 1926 г., всгда переписку со многими учеными (в частности, с акад. Ф. Коршем, проф. А.И. Соболевским и др.). В 1919–1928 гг. он читал лекции и вел семинары по славяно-русской палеографии, истории книги и книгораспространения в Педагогической академии, Институте внешкольного образования, Институте книговедения и на Ленинградских высших библиотечных курсах, одновременно сотрудничая в Институте книги, документа и письма АН СССР. П.К. Симо́ни являлся членом многих обществ: Русского географического (с 1898 г.), Московского археологического (с 1902 г.), Русского библиологического (с 1904 г.), Общества библиотековедения Петербургского университета (с 1907 г.), Библиографического общества Московского университета (с 1913 г.) и др. В 1921 г. П.К. Симо́ни был избран членом-корреспондентом Академии наук [1].

В своих исследованиях П.К. Симо́ни обращался к библиографическим работам (он составил библиографические списки ученых трудов А.Н. Веселовского, Л.Н. Майкова, А.И. Соболевского, М.И. Сухомлинова), безукоризненно издавал памятники русского языка и словесности ["Памятники старинного русского языка и словесности

XV–XVIII вв." (СПб., 1907.); "Повесть о Горе-злочастии..." (СПб., 1907); "Старинные сборники русских пословиц, поговорок и проч. XVII–XIX вв." (СПб., 1899)].

Уже в начале работы с рукописными памятниками Симони обращал особое внимание на все сопутствующие рукописи археологические и палеографические признаки, которые помогали датировать ее. Особое внимание он обращал на переплет. С целью изучить старое переплетное дело в Польше он предпринял в 1902 г. поездку по нескольким польским городам (Вильна – Варшава – Краков – Львов). Материалы этого путешествия вошли в "Опыт сборника сведений по истории и технике книгопереплетного искусства на Руси, преимущественно в допетровское время, с XI-го по XVIII-е столетие включительно. Тексты. Материалы. Снимки. Собрал и примеч. снабдил П.Симони" (СПб., 1903). Из стремления верно определить время и место написания памятника и постепенного накопления наблюдений над материалами и техникой письма, у П.К. Симони появилось желание "выяснить себе в возможно полном виде историю книжного дела на Руси с древнейшего времени и до сих пор" [2]. Программа этого труда ("Книга, книжное дело и просвещение на Руси с древнейших времен и доныне. Книжные производители (писцы – каллиграфы и типографчики), обрядчики (знамённые и переплетчики), распространители (книгопродавцы), хранители и почитатели (библиофилы и библиоманы) и описатели книг (библиографы)" – Том I: XI–XVII вв. Том II: XVIII в. и Том III: XIX в.) была напечатана в журнале "Книжная биржа" (Ноябрь. 1905 г.). Ввиду трудности найти в то тревожное время издателя П.К. Симони начинает публиковать собранные материалы в розницу в виде отдельных статей: "Материалы к истории книжной торговли. Новиков и книгопродавцы Кольчугины." (Книжная биржа. СПб., 1906), позже изданные отдельной книгой "Книжная торговля в Москве XVIII–XIX столетий. Московские книгопродавцы Кольчугины в их книготорговой деятельности и в бытовой обстановке (Материалы для истории книги, книжной торговли и книгоиздательства. Собр. и пригот. к печати под ред. Павла Симони". Л., Ленингр. о-во библиофилов, 1927). В 1904–1910 гг. вышло исследование о Мстиславском евангелии начала XII в. в археологическом и палеографическом отношении ("Материалы для изучения его серебряного переплетного оклада с древними финифтями и лицевых иконных изображений святых евангелистов, заставиц, заглавных букв и разных родов письма, как украшенных золотом, так и всех почерков уставного черного"), а в 1910 г. вышел первый выпуск "Собрания изображений окладов на русских богослужебных книгах XII–XVIII вв.", посвященный окладам XII–XIV столетий.

В 1906 г., готовя к печати первый выпуск сборника рукописных текстов по технике иконописи, писания и оформления книг и т.д. [2], в предисловии Симони пишет: "Разнообразие текстов и рассыпанной по ним древней современной терминологии дает мне возможность во II-м выпуске своего труда предложить читателю Вводную статью с историческим обзорением по всем вопросам, относящимся к предметам, обозначенным в заглавии моей книги. Статья эта должна обнять в самом кратком изложении многое, причем вопрос о старинных руководствах для русской каллиграфии пришлось, к сожалению, для симметрии построения статьи и для практического удобства выделить в особый труд, который тоже одновременно с 2-ю частью сей работы обрабатывается и готовится к печати. Заглавие его: "Прописи и Азбуки. Материалы для истории обучения на Руси в старые времена чтению и письму (Предисловие, VIII)". Отметив, что еще целый ряд довольно ценных текстов остается для заключительного II-го выпуска, Симони собирался также во втором выпуске поместить примечания, подробные предметный и именной указатели к обоим выпускам и реестр слов с объяснениями или ссылками на страницы издания (Предисловие, VII–VIII, X) [2]. Второй выпуск так и не вышел из печати, а материалы для него остались в бумагах ученого.

В феврале 1934 г. в Картоотеке древнерусского словаря в Институте русского языка (КДРС, ИРЯЗ РАН, г. Москва) П.К. Симони было поручено исправление дефектных карточек по текстам памятников, но в марте 1934 г. он вернул пачку карточек не

проработанной (запись от 17 марта в "Тетради для записи поступления материалов для Словаря древнерусского языка..." Б.А. Ларина). Позднее он сделал выборку цитат из "Песни на столбце" (57 карточек), а в ноябре 1935 года (запись от 1 ноября) Б.А. Ларин принял от него "выборку технической терминологии по книжному и переплетному делу Древней Руси. Карточка свыше 10 000 карточек. Материалы для словаря графических искусств". Эта картотека вошла в состав фондов Картотеки ДРС под названием "Материалы для словаря графических искусств старого и нового времени" (1918 г.) и хранятся отдельно.

Увлечшись идеей "выяснить себе в возможно полном виде историю книжного дела на Руси с древнейшего времени и до сих пор", П.К. Симони одной из задач поставил себе подготовку терминологического словаря по книжному и книгопереплетному делу ("Материалы для словаря графических искусств старого и нового времени"). В эту картотеку частью и вошли материалы для второго выпуска "К истории обихода книгописца...": выписки из двух рукописных памятников без указания их местонахождения (Подлинник иконописный (из Поморья) из собр. В.Г. Дружинина, N 969. (конец XVIII в.). Выписки лл. 7-8. и Указы И. Федорова 1669 г.), а также выписки из изданных в первом выпуске рукописей и рукописей по технике иконописи и т.д., опубликованных Д.А. Ровинским [3]. Лексика, представленная в картотеке, хронологически охватывает период с первых письменных памятников до современности, поэтому не вся может быть использована в Словаре русского языка XI-XVII вв., создаваемом на базе Картотеки ДРС. Этим и объясняется относительная редкость сокращения Сим. Мат. в словаре и картотеке.

Лексический материал картотеки Симони и хронологически, и тематически очень широк. В нее вошли названия материалов для письма и иконописи (аврипигментъ, автографические чернила, аспидъ, бумага глазированная, варзило, глейта, желтокъ, каламарионъ, карандашъ, сепия и т.д.), названия книг (Библия. Вевляя, волшебные книги, Воскресное евангелие, Временникъ, Грам(м)атика, жалобница, Святцы, Славенской Апостоль и т.д.), термины книгоиздательского дела (гражданская печать, гранка, верстатка, выпускъ, книга безъ выходу и др.), названия некоторых типов икон (воскомаститные иконы, деисусъ и др.), названия рукописных почерков (в'язное письмо, полууставъ, скоропись и др.), названия украшений переплетов книг и окладов икон (гривна, винифтъ, ворнорка, жуки, цата и т.д.), разные слова, относящиеся к книжному и книгособирательскому делу и грамотности (вивлиофика, выдранный листъ, выкупать книги, грамотность и т.д.) и др. В качестве источников были использованы, кроме перечисленных выше, также библиографические описания книгохранилищ и собраний книг, названия изданий и рукописных книг и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов Г. Полвека ученой деятельности П.К. Симони // Язык и мышление. Вып. 3-4. Л., 1934.
2. Симони П.К. К истории обихода книгописца, переплетчика и иконного писца при книжном и иконном строении. Материалы для истории техники книжного дела и иконописи, извлеченные из русских и сербских рукописей и др. источников XV-XVIII вв. / Собрал и снабдил ввводною статьею и объяснительными примечаниями П. Симони. СПб., 1906.
3. Ровинский Д.А. Обзорение иконописания в России до XVII в. СПб., 1903.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Языки мира. Уральские языки. М.: Наука. 1993. 396 с.

Лингвистический энциклопедический словарь [1], вышедший в свет в 1990 г. был как бы предвестником двух широкомасштабных энциклопедических изданий 90-х годов: (1) "The encyclopedia of language and linguistics" [2] и (2) "Языки мира" (гл. ред. В.Н. Ярцева), которые, не дублируя, а дополняя друг друга, поскольку различны по своему замыслу, подводят итог изучению многообразия языков мира на конец XX века.

Вопреки ожидаемой в издании типа "Языки мира" очень сжатой информации о языках в силу самого характера такого издания, в рецензируемом томе представлены очень содержательные очерки по всем исторически засвидетельствованным уральским языкам от ныне существующих до исчезнувших камасинского, койбалского и маторско-тайгйско-карагаского с самыми разнообразными сведениями по каждому из них. Описание выполнено ведущими специалистами по соответствующим языкам или группам языков на уровне современных знаний в области уралоистики и по единой схеме, специально разработанной для энциклопедического издания "Языки мира", что делает это издание особенно ценным в плане сравнительно-сопоставительного изучения соответствующих языков.

Рецензируемый том издания открывается очерком известного уралолиста П. Хайду "Уральские языки", в котором приведено родословное "древо" уральских языков О. Доннера [3] с обоснованными критическими замечаниями автора очерка и дана общая типологическая характеристика уральских языков (см. особенно таблицу на стр. 19). В целом здесь находит обобщение и дальнейшее развитие известная концепция П. Хайду по уральской лингвопалеонтологии, получившая широкое признание. В соответствии с этой концепцией, как известно, уральская прародина располагалась в VI-IV вв. до н.э. к северу от Среднего Урала, между нижним течением Оби и верховьем Печоры, большей частью в Западной Сибири [4]. Хронология распада уральского праязыка, представленная автором очерка, вполне согласуется с современными знаниями в области уралоистики.

Этот распад предполагаемой общности уральского языка-основы, который, по мнению автора очерка, состоял из ареальной последовательности связанных между собой диалектов и/или близкородственных языков, начался примерно в VI-IV тыс. до н.э., и первым актом этого процесса было, видимо, переселение предков самодийцев в район Саянских гор. Здесь самодийцы сохраняют известную общность языка до начала новой эры, когда начинается новый этап их расселения, завершившийся в X-XII вв.; это согласуется, кроме всего прочего, с фактами исторического расселения и миграции енисейцев, с которыми самодийцы обнаруживают тесные исторические контакты [5]. Во всяком случае историческое расселение южных самодийцев и енисейцев, с которыми они образуют исторически единый культурно-хозяйственный союз, по времени должно полностью совпадать, тогда как северные самодийцы, очевидно, несколько раньше мигрировали в северные области их позднего обитания.

Следующим актом распада уральского праязыка считается миграция предков финно-пермских народов с Урала в район Волго-Камья с конца III до начала II тыс. до н.э., где на основе соответствующей языковой формации возникли языковые состояния, к которым восходят современные финно-пермские языки. Далее предполагается, что несмотря на спорный характер проблемы существования протоугорского языка, очень вероятно, что предки обских угров и венгров в период между III и I тыс. до н.э. жили по соседству в южном Зауралье, что, впрочем, подтверждается некоторыми древнейшими самодийско-угорскими параллелями [6]. «Анализ некоторых параллелей между венгерским, обско-угорскими и самодийскими языками... подтверждает тезис о диалектной неоднородности уральского праязыка и позволяет предположить, что его "досамодийские" и "доугорские" диалекты обладали рядом общих черт, которые отличали их от "допермских" и особенно от "дофинно-волжских" диалектов... Естественно считать, что "досамодийские" и "доугорские" диалекты образы-

вали единый диалектный ареал и локализовать этот ареал в восточной части уральской прародины» [7].

Представленная в очерке П. Хайду хронологическая схема расселения уральских народов, возможно, потребует в дальнейшем некоторой корректировки в связи с урало-юкагирскими изоглоссами, а также в связи с проблемой общности финно-волжских языков, у которых не наблюдается той гомогенности, которая характерна для пермских языков, но эта схема вполне приемлема по состоянию уралистики на сегодняшний день. Впрочем, уже давно поставленный в специальной литературе по уралистике вопрос об урало-юкагирских языковых связях в рецензируемом томе вообще не затронут. О характере этих связей пока, как известно, нет достаточно убедительных фактов, и мнения расходятся. Е.А. Хелимский, например, склоняется к предположению о том, что в общеуральскую эпоху к ареалу восточно-уральских диалектов мог примыкать и диалект-предок юкагирских языков [7, с. 7], который раньше других отделился и развивался изолированно.

Из типологических особенностей уральских языков, на которые указывает П. Хайду [см. также 8], можно выделить следующие:

(1) агглютинативная морфология с чертами флективности, особенно в эстонском, ливском, саамском;

(2) развитая в большинстве уральских языков система падежей и послеложных конструкций (при отсутствии пока общепризнанных строгих критериев отграничения падежных форм от послеложных конструкций);

(3) лично-притяжательные формы имени (формы так называемого лично-притяжательного склонения);

(4) предикативное оформление имени (в некоторых уральских языках с противопоставлением форм настоящего и прошедшего времени);

(5) многообразие глагольных парадигм с расположением личных глагольных окончаний в конце глагольных форм;

(6) отсутствие пассива в большинстве уральских языков (ср., однако, результативно-пассивные конструкции, представленные в уральских языках);

(7) широкое распространение видовых глагольных форм, особенно в самодийских языках;

(8) отсутствие глаголов обладания;

(9) преобладающий тип порядка слов SOV в предложении;

(10) отсутствие грамматической классификации имени (рода), хотя оппозиции одушевленный : неодушевленный (resp. жи-

вой : неживой) или человек : нечеловек, которые прослеживаются в уральских языках в некоторых разрядах местоимений (вопросительные местоимения, личные местоимения 3-го лица), а также в употреблении форм пространственных падежей (эти формы представлены, как правило, только у неодушевленных существительных), форм множ. числа и собирательных форм имени, в выражении определенности и неопределенности имени, могут в свете новейших воззрений на проблемы рода/класса [9] рассматриваться как признаки именной классификации (рода), во всяком случае представленной в виде скрытой категории.

Общие сведения, сообщаемые П. Хайду, дополняются и расширяются вводными очерками К.Е. Майтинской "Финно-угорские языки", Н.М. Терещенко "Самодийские языки", А. Лаанеста "Прибалтийско-финские языки" и Л. Хонти "Обско-угорские языки". В свете новейших исследований Е.А. Хелимского по исторической диалектологии самодийских языков [7] и исследований в области прасамодийских реконструкций [10; 11], возможно, некоторые сведения в очерке Н.М. Терещенко по самодийским языкам устарели, но в целом ее очерк, равно как и другие вводные очерки, дают достаточно полное и, следовательно, вполне удовлетворительное представление о распространении соответствующих групп уральских языков в настоящее время и в разные исторические периоды, об основных чертах их фонологической, морфологической и морфологической систем, в меньшей мере об основных чертах их синтаксиса и о словарном составе. В плане квалификации типологии уральских языков с позиций континентально-типологической схематики указывается на номинативный характер их строя.

Конкретные сведения по отдельным уральским языкам содержатся в соответствующих очерках рецензируемой книги. В соответствии с единой схемой описания языков, которая была предложена авторами издания "Языки мира", очерки содержат, как уже отмечалось, самые разнообразные сведения структурно-семантического, социолингвистического, лингвогеографического, типологического и исторического характера по каждому языку, которые дают представление об их строе, типологических особенностях, генетических связях и т.д. Кроме того, в результате использования авторами очерков единой схемы описания языков читатель получает широкие возможности для их сравнительно-сопоставительного анализа, оттеняющего особенности строя каждого из них. Схема явилась как бы единой мерой научного описания,

сравнения и распределения уральских языков. Правда, каждый автор оставался в рамках соответствующей традиции научного описания того или иного языка и/или группы языков, что внесло, может быть, некоторый разнобой в использованную терминологию (ср., например, названия и значения описанных по языкам падежей), но, с другой стороны, важно отметить сходное понимание авторами затронутых проблем, что как раз и позволяет сравнивать представленные лингвистические описания, ибо в противном случае читатель сравнивал бы не аналогичные структурные факты, а лишь сходные термины. В данном случае надо, видимо, учитывать, как отмечено в предисловии, что содержание очерков отражает точку зрения авторов, с которой можно соглашаться, или нет. К тому же развертывание на страницах данного тома широкой дискуссии не соответствовало бы замыслу и характеру энциклопедического издания, каким является "Языки мира".

Особого внимания заслуживают очерки А. Кюннапа и Е.А. Хелимского, которые посвящены ныне уже мертвым камасинскому, маторско-тайгийско-карагасскому и койбальскому языкам южносамодийской подгруппы, в которых обобщены разрозненные фрагментарные архивные материалы по этим языкам из источников XVIII–XIX вв. (исключением является лишь камасинский язык, одна из носительниц которого – К.З.Плотникова – жила в селе Абалаково до 80-х годов нашего века [см. 12]).

Самым неопределенным почти во всех очерках рецензируемого тома остается, пожалуй, вопрос о залоговых различиях в уральских языках, в частности, вопрос о пассивных формах. Скорей всего его решение следует искать в области результативно-пассивных конструкций [13], как, впрочем, и поступил А.П. Володин при интерпретации соответствующих фактов финского языка, ср.: фин. *hän on kamma-ttu* "она причесана" (результатив) – *häne-t on komma-ttu* букв. "ее причесано" (пассив); *hän oli kamma-ttu* "она была причесана" (результатив) – *häne-t oli kamma-ttu* букв. "ее было причесано" (пассив); *Tytö-t ovat kamma-ttu* букв. "Девочки суть причесанные" (результатив) – *Tytö-t on kanna-ttu* букв. "Девочек есть причесано" (пассив) [14]. В целом аналогичные явления наблюдаются и в эстонском языке [15]. Ср. также сходное понимание фактов селькупского языка в очерке Е.А. Хелимского (стр. 362): сельк. *šittŋqo* "разбудить", *šittŋqolamqo* "начать будить", *šittŋmpiqo* "быть разбуженным" и т.д.

Таким образом, том Уральские языки издания Языки мира дает целостное представление о проблеме уральской макросемьи языков в той мере, в какой она разработана на конец XX века, показывает процесс распада уральского праязыка и возникновения исторически засвидетельствованных уральских языков. Включенные в том очерки по отдельным уральским языкам дают читателю возможность, получить достаточно подробную информацию об их строе, типологических особенностях и генетических связях. Хочется надеяться, что грандиозный замысел издания Языки мира будет в полной мере осуществлен, и каждый том оправдает ожидания специалистов. Первый том этого издания, посвященный уральским языкам, оправдал ожидания лингвистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990.
2. The encyclopedia of language and linguistics. Edinburgh, 1993.
3. Donner O. Die gegenseitige Verwandtschaft der finnisch-ugrischen Sprachen // Acta societatis scientiarum fennicae. 1879. 11.
4. Hajdú P. Über die alten Siedlungsräume der uralischen Sprachfamilie // Acta linguistica Hung. 1964. Т. XIV.
5. Hajdú P. Die ältesten Berührungen zwischen den Samojeden und den jenseitsischen Völkern // Acta orientalia. 1953. Т. 3.
6. Хелимский Е.А. Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели (лингвистическая и этногенетическая интерпретация). М., 1982.
7. Хелимский Е.А. Историческая и описательная диалектология самодийских языков. Дисс. ... докт. филол. наук в форме научного доклада. Тарту. 1988.
8. Janhunen J. On the structure of the Proto-Uralic // Finnisch-ugrische Forschungen. 1981. P. 44.
9. Corbett, Greville G. Gender. Cambridge university Press. 1991.
10. Janhunen J. Samojedischer Wortschatz: gemeinsame Etymologien. Helsinki, 1971.
11. Хелимский Е.А. Самодийская лингвистическая реконструкция и праистория самодийцев // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1989. Ч. II.
12. Künnap A. System und Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe // Mémoires de la Société finno-ougrienne: I – 1971, II – 1978.
13. Типология результативных конструкций / Отв. ред. В.П. Недялков. Л., 1983.
14. Володин А.П. Результатив и перфект пассива в финском языке // Типология результативных конструкций. Л., 1983.
15. Эрдт М. Заметки о пассиве в эстонском языке // Советское финно-угроведение. 1977. № 3.

Г.К. Вернер

Работа Дитера Крона, шведского лингвиста из Гётеборга, "Основной словарный состав и критерии его отбора" носит подзаголовок "Металексикографические и дидактические штудии по структуре и функциям немецкого основного словаря" (в немецком варианте названия "основных словарей", что, переведенное буквально, может ввести в заблуждение).

По замечанию самого автора, объектом изучения явились для него списки "основных слов" немецкого языка, составленные различными авторами (Эрком, Пфайфером, Пликатом, Ёлером, Ортманом и др.) для лексикографической практики или преподавания немецкого языка. В книге изучаются шесть таких основных списков, привлекаются также и другие работы по немецкому и некоторым другим (французский, русский) языкам. При этом выявляются как общие закономерности отбора словаря, приводящие к частичному совпадению разных списков, так и моменты, их дифференцирующие. При сравнении списков проверяется действенность двух основных подходов к составлению подобных списков, а именно: 1) количественного подхода, связанного с выделением наиболее частотных лексем; 2) коммуникативно-прагматического подхода, опирающегося на выделение лексем, наиболее важных и необходимых с коммуникативной точки зрения. По мнению Д. Крона, целесообразно объединение обоих подходов, что позволяет наиболее успешно подойти к конечной цели его работы, а именно – к составлению учебного немецко-шведского словаря. Однако эта цель пока остается за пределами данного исследования. Между тем решение этой, по преимуществу дидактической и методической, задачи потребовало от автора книги детального рассмотрения целого ряда собственно лингвистических проблем, на которых в первую очередь и предполагается остановиться в данной рецензии. Правда, в целом ряде случаев дидактические и лингвистические аспекты здесь столь тесно переплетаются, что их не всегда можно разграничить.

Прежде всего Д. Крон отмечает общий поворот современной германистики к коммуникативно-прагматическому аспекту рассмотрения языка (с. 11). Наряду с этим он не без основания указывает на чрезвычайную многозначность, а иногда и неопределенность некоторых терминов и понятий, используемых в данной области, таковы прагма-

тика, коммуникация, компетенция. Под прагматическим аспектом рассмотрения, действительно, скрывается целый клубок разнородных понятий; не вполне совместимы и разные виды коммуникации: так, очень различны бытовая (повседневная) коммуникация и коммуникация на основе художественных текстов. Совершенно особый вид коммуникации – это коммуникация в процессе обучения иностранному языку, когда компетенция говорящего является обычно очень ограниченной. При оценке этой компетенции весьма существенную роль играют социокультурные моменты. Тем самым автор отмечает, что хотя частотный критерий представляется ему ненадежным для отбора основного словаря, дополняющие его коммуникативно-прагматические моменты также не вполне ясны и надежны.

Для того, чтобы уяснить себе, насколько удачны те или иные критерии отбора слов, входящих в основной словарь, необходимо осознать и провести некоторые дифференциации в составе этого словаря, или точнее – отдельных словарных списков.

Прежде всего словарь должен быть дифференцирован в зависимости от того, какие классы слов в него входят. Важно также и то, являются ли они специфичными или неспецифичными для той или иной темы. Существенно также членение всего словаря на автосемантические и синсемантические элементы. При этом к синсемантическим автор относит главным образом служебные слова – союзы, предлоги, а к автосемантическим – полнозначные слова, представленные именами существительными, глаголами, прилагательными и т.п. Для имен существительных автору представляется также важным их членение на простые и сложные (в словообразовательном отношении) словарные единицы.

Недостаточность такого критерия, как частотность, для репрезентативного отбора лексем, проявляется, по мнению Д. Крона, хотя бы в том, что в языке есть слова, несомненно, относящиеся к основному словарному составу, однако редко встречающиеся в текстах неспециального характера. Таковы, по его наблюдениям, например, такие лексемы, как *Lunge* "легкое" или *Leber* "печень". Поэтому составленные на основе критерия частотности списки должны быть скорректированы и дополнены качественными характеристиками лексем, опирающи-

мися на определенные тематические группировки текстов.

Чтобы избежать слишком общих и потому не подлежащих проверке суждений, автор рецензируемой книги считает необходимым исходить из анализа уже существующих списков лексем, при составлении которых те или иные использованные составителями критерии определенным образом уже повлияли на конечный результат. Некоторые исследователи (Хофман, Эрх, Венглер) строят свои списки исключительно на признаке частотности. Другие (Пфайфер, Ёлер) считают необходимым несколько модифицировать составленные на основе встречаемости лексем списки, хотя отнюдь не все авторы (ср. Пликат) это ясно осознают. Если же используются смешанные критерии (Ёлер, Пликат, Ортман), то при совокупном представлении материала их довольно трудно разграничить.

Общий вывод автора рецензируемой работы состоит в том, что критерий частотности можно сохранить, но он нуждается в существенных дополнениях. Впрочем, некоторые исследователи, на которых опирается Д. Крон, (например, Штегер – Кайл или Кюн) вообще выступают против использования данного критерия при отборе лексем в основные списки.

На основе проведенного анализа и сопоставления списков Д. Крон приходит к некоторым важным заключениям:

1) Различная степень использования критерия частотности может оказаться существенной для состава словаря, включаемого в основные списки у разных авторов.

2) Из числа коммуникативно-прагматических критериев, к которым относится ситуация, интенция и тема, наибольшую роль при отборе словаря играет тематика текстов.

3) Коммуникативная ценность лексем и степень "покрытия" текста определенными лексемами (Textdeckungsgrad), по всей видимости, не совпадают.

Итак, тематика является основным фактором, дифференцирующим словарь и позволяющим представить его в виде ряда основных списков, границы между которыми, впрочем, довольно неотчетливы. По наблюдениям Крона, часть словаря совпадает во всех группах, а часть является специфичной для каждой из групп, т.е. может быть охарактеризована как интратематическая в противоположность интертематическим лексемам. Автор использует для характеристики отдельных лексических групп понятие поля и понятие фрейма. При этом под лексическим полем он понимает тематически связанные слова одного и того же класса, что не

характерно для фрейма: сюда относятся слова различных классов и разрядов, связанные общей темой (путешествие, спорт, еда и т.д.).

Последний этап анализа связан с использованием в группах *haxax legomena* — единично употребляемых лексем. При этом различаются инклюзивные и эксклюзивные *haxax legomena*, которые базируются или на единичном употреблении в разных текстах, или на репрезентации только в одном из текстов, принадлежащих данной группе.

Эксклюзивные лексемы — это в большинстве своем имена существительные, они тематически специализированы и имеют такой общий признак, как конкретность значения. Напротив эксклюзивный тип содержит до 20% абстрактных имен существительных, половина которых образована от глаголов и (реже) прилагательных. По наблюдениям Д. Крона, у имен больше специфических по тематике лексем (*themenspezifisch*), а среди глаголов более широко представлены неспецифические лексемы (*themenunspezifisch*).

Таким образом, в рецензируемой работе затрагивается вопрос о том, в какой степени некоторые особенности состава лексем в отдельных списках, совпадения и расхождения этих списков определяются семантической структурой самих лексем, принадлежащих к тому же к разным грамматическим классам. При определении лексем, включаемых в основной список, должны также учитываться, с точки зрения автора книги, такие их признаки, как сочетаемость (*Anbindbarkeit*), употребительность (*Brauchbarkeit*), понятность (*Verstehbarkeit*) и возможность использования в процессе обучения (*Lernbarkeit*).

Итак, перед автором рецензируемой книги стояло несколько задач, которые и были им последовательно разрешены:

1) Определить на основе глубокого и очень детального анализа уже существующих списков "основных" слов немецкого языка, какой именно принцип отбора слов дает наиболее удачные и убедительные результаты.

2) Показать в этой связи, как могут комбинироваться при этом частотные и коммуникативно-прагматические критерии и какой итог может быть достигнут в результате использования тех или иных подходов.

3) Постулировать необходимость дифференцированного подхода к лексическому материалу, который разграничивается по грамматическим классам слов, по синсемантическим/автосемантическим группам лексем и по критерию единичности /неединичности употребления слова в отдельных списках.

Выбор основного словаря (основных словарей) возможен на базе очень разных теоретических посылок, но наиболее плодотворным представляется Д. Крону комплексный частотно-коммуникативный критерий (*frequentiell-kommunikativer Ansatz*).

В заключение следует заметить, что объединение собственно лингвистических и дидактических целей, в принципе возможное, все же создает в ряде случаев известную двойственность и задач, и результатов этой интересной и, бесспорно, полезной работы. Некоторая противоречивость создается также разнородностью исходного лексикографического материала. Он включает списки,

отражающие наиболее употребительный основной словарь немецкого языка, списки слов, характерных для его отдельных функциональных сфер (язык газеты, научный язык, разговорный язык), и даже для некоторых специфических областей науки (словари физики, химии, математики). Представляется, что задачи отбора лексем для основных списков, используемых в столь разных областях коммуникации, должны значительно различаться, что необходимо учитывать и при использовании и оценке тех или иных критериев отбора лексики.

Н.Н. Семенов

Linguistica Baltica. International journal of Baltic Linguistics / Editor: W. Smoczyński. W. Warszawa, 1992. 302 p.; Colloquium Pruthenicum Primum. Papers from the first International Conference of Old Prussian held in Warsaw, September 30-th – October 1-st, 1991 / Ed. by Smoczyński W. and Holvoet A. Warszawa, 1992. 184 p. + I-II.

Первый том журнала *Linguistica Baltica* (LgB) и материалы Первого Коллоквиума по прусскому (древнепрусскому) языку (СРР), проведенного под эгидой созданной в 1990 г. кафедры балтийской филологии Варшавского университета – убедительные свидетельства высокого международного авторитета польской баллистики. В Польше, стране высоко-развитой индоевропейистики и славистики, всегда успешно велись и исследования по балтийскому языкознанию. Достаточно напомнить имена Я. Карловича, Я. Бодуэна де Куртенэ, В. Поржезинского, З. Рысевича, Е. Куриловича, Я. Отрембского, Т. Бух, Г. Лер-Сплавиньского, Я. Сафаревича. Последние годы отмечены новым и весьма значительным подъемом.

LgB и СРР содержат более сорока статей, а также (в LgB) – "Рецензии", "Хронику" и "Библиографию" – перечень баллистических публикаций в Польше и других странах за 1990–1991 гг. "Прусская" ориентация СРР по ряду причин соблюдена лишь отчасти. Не менее половины материалов выходят за рамки "узко" прусской проблематики, что как бы компенсируется работами по прусскому языку в LgB.

Статьи LgB и СРР затрагивают важнейшие аспекты баллистики: сравнительно-историческая фонология и морфология, синтаксис, лингвогеография, ареальные отношения, этимология и балто-славянские (балто-индоевропейские) лексические связи, текстология древних памятников, ономастика, гидронимика и др. Широкий диапазон проблематики и мно-

гочисленность работ обуславливает фрагментарность настоящей рецензии. Названия статей ради краткости приходится опускать.

Рассматривая появление рефлексов балт. *ā на месте ожидаемого *ā, например, в лит. *sodinti* 'садить' (модель апофонии *sed-~*sod-~*sēd-~*sōd- предполагала бы лит. *suodinti, ср. *suodžiai* 'сажа'), А. Баммесбергер усматривает его главную причину в совпадении рефлексов и.-е. *o, *a, *ā в балт. *a, что обусловило возможность преобразования исходного и.-е. *sod-: *sōd-(*suodžiai*) в балт. *sad-: *sād- (лит. *sodinti*) по аналогии с балт. *sta-: *stā- (лит. *statyti* 'ставить' и *stoti* 'стать') <и.-е. *stā-: *stā- (LgB, с. 49–54). А. Баммесбергер придерживается, по-видимому, традиционных взглядов на качество балт. рефлексов и.-е. *o, *a, *ā, чего нельзя сказать об А. Брейдаке. Исходя из большей архаичности прусского в сравнении с литовским, и прусского помезанского диалекта (Эльбингского словаря, далее Э) в сравнении с самбийским (в катехизисах), он аргументирует точку зрения, по которой написания *hordus* 'борода' (Э 101) и под. отражают протобалт. рефлекс и.-е. *o и *a, а написания типа *moazo* 'тетка' или *brote* 'брат' (Э 178, 173) – протобалт. рефлекс и.-е. *ā (LgB, с. 173–178). Соглашаясь, что высокая частотность употребления тех или иных слова может быть причиной изменения их фонетического облика (ср. англ. *God be with you* > *Good bye*), приходится тем не менее признать малоэффективными попытки В. Маньчака

(СРР, с. 23–30) универсализовать этот фактор в качестве причины, объясняющей такое, например, явление, как исчезновение гласной в номинативе прус. *-o-* основ, ср. *deiwas* и *deiws* 'бог'.

Б. Стунджа на материале современного литовского языка осуждает тезис о немотивированности акцентной характеристики производных имен, выделяя лингвистические и прагматические факторы, влияющие на акцентуацию слова (LgB, с. 71–83). Автор не оговаривает (или не учитывает) того, что мотивированность акцентной характеристики может быть вторичной, и не обнаруживает знакомства с соответствующим пассажем в книге В.А. Дыбо, где тезис о "немотивированности (традиционности) выбора акцентных типов у производных имен" в балто-славянском рассматривается именно в связи с литовским материалом [1]. В другой статье Б. Стунджа обосновывается точка зрения, согласно которой оппозиция двух типов плюралиса ("обычного" и "собирабельного"), представленная, например, в греч. $\mu\pi\rho\acute{\iota}$ 'бедренные части' и $\mu\pi\rho\acute{\upsilon}$ 'совокупность таких частей' (ед. ч. $\mu\pi\rho\acute{\upsilon}\zeta$ 'бедро, ляжка') получила в восточнобалтийских диалектах акцентологическое выражение, так что баритонированные формы мн.ч. на *-(i)ai* у *-(i)o-* основ противопоставляются плюрализованному окситонированному собирабельным формам на *-(i)ai* < **(i)ai*, ср. лит. *uošviai* 'тесты' мн.ч., 1 литовская акцентная парадигма (а.п.) и *uošviái* 'родители жены, их дом', 4 лит. а.п. (СРР, с. 151–156). Заслуживает внимания, что на основе этого противопоставления объясняются отношения типа лит. *púodai* мн.ч. 'горшки' и лтш. *puódi* мн.ч. 'то же'. Развитие категории собирабельности в балтийский языках специально исследуется В. Амбразасом (LgB, с. 35–48), в центре внимания которого оказывается анализ характеризующих *nomina collectiva* формантов **-ā-*, **-ij-ā-*, **-(i)j-ā-* (ср. об этом суффиксе [2]) и **-ā-i-o-*, **-ā-to-* и т.п.

У. Шмолстиг предлагает гипотезы о происхождении литовских окончаний 2 л.ед.ч. презенса *-(i)* выводится из спряжения типа *minīti*; и.-е. **mn-ou-* > вост.-балт. **mn-ē-* > **minie-* > лит. *mini*) и 2–3 л. претерита (лит. *-ė-* < **-ē-*), сопоставляемого со славянскими аористами *nes-e*, *vez-e*, *ved-e* и т.п. Долгота **ē* в претерите объясняется аналогическим воздействием *ā*-претерита, реконструируемого в виде **pirkām*, **pirkās*, **pirkāt*, и т.п. (LgB, с. 25–33). Тот же автор (СРР, с. 39–45) дает еще одну версию окончания *-ts* претерита в прусском, в которой возможные славянские соответствия, особенно аористы типа ст.-слав. *у-мрѣтъ*, играют решающую роль. В. Эйлер

рассматривает происхождение и функционирование личных местоимений 3 ед. в прусском (LgB, с. 127–141). Автор цитирует бесспорные иранские соответствия прус. *-di-*, считая, по-видимому, излишним касаться спорного вопроса об отношении *-di-* к болг. *еди-кой* 'такой-то' и близким славянским фактам [3; 4; 5]. В связи с прус. *stas* 'der' любопытно (по крайней мере, типологически) блр. диал. (дрогичинское Полесье) *стоiй, ста, стэ, сты* 'этот, эта, это, эти' [6]. В результате анализа прусских прилагательных с *-и*-основой П. Ванас приходит к выводу об экспансии *-и*-основ в литовском как собственно литовском процессе, начало которого восходит к правосточнобалтийской эпохе, но не ранее (СРР, с. 85–91). Возникает, однако вопрос об интерпретации многочисленных схождения литовских адъективов с *-и*-основой и славянских с суффиксом *-ъk-*, ср. *saldūs* 'сладкий' – рус. *солодкий* и т.п. [7]. Эти схождения затрагиваются, помимо прочего, в статье М. Войтыла-Свежовской, анализирующей некоторые балто-славянские дериватологические параллели в кругу тематических отглагольных имен (LgB, с. 183–192). К указанию ряда тенденций в словообразовании латышских адъективов в сравнении с литовскими А. Блинкена приступает с несколько неожиданной стороны, а именно, имея в виду перспективу "рекреации" прусского языка (ср. [8]) и потенциального проявления в нем разного рода эволюционных процессов. Едва ли реалистично, однако, как-то связывать создание "новопрусского" с прослеживаемым у латышских адъективов сокращением (в активном узусе литературного языка) числа древних суффиксов, семантическими сдвигами отадъективных производных, субституцией консонантных суффиксов суффиксами, содержащими вокалический элемент (СРР, с. 121–127).

А. Холвутом, одним из двух издателей LgB и СРР, а также составителем "Библиографии", написаны статьи о взаимоотношении объектной и спациональной и/или темпоральной функций латышского аккузатива (LgB, с. 103–112) и об изменениях в латышской падежной системе, вызванных тенденцией к устранению инструменталиса (СРР, с. 143–149). Ему же принадлежит рецензия на книгу В. Амбразаса о синтаксисе балтийских причастий (LgB, с. 241–246) и отклик на доклады Первого Коллоквиума по прусскому языку (LgB, с. 293–295). Л. Савицки исследует некоторые функции литовских генетива и датива (LgB, с. 93–101). Перу В.Б. Крысько принадлежит статья о балто-славянских конструкциях с двойным объектным аккузативом при транзитивных рефлексивных глаголах. На основании при-

влекомого материала автор считает возможным сделать вывод об "общеевропейских" истоках исследуемого синтаксического явления (LgB, с. 11–24).

Лингвогеографический аспект баллистики (так или иначе затрагиваемый и в ряде других публикаций LgB и CPP) представлен статьей В. Руке-Дравини (LgB, с. 55–62), демонстрирующей с помощью атласа литовского языка и еще не опубликованного латышского атласа картографию ареалов палатального ζ и балтийских названий мошкельника и жабы. В статье четыре карты, причем, карта по ζ ограничена латышским, так как "Lietuvių kalbos atlasas" сведений об ζ не содержит. "Легенда" к карте ареала *kr(i)upis* и т.п. названий жабы (LgB, с. 61) отличается чрезмерным лаконизмом, что теперь компенсируется исследованием А.П. Непокупного [9].

Статья Л. Беднарчука о явлениях структурной и ареальной конвергенции между балто-славянскими и прибалтийско-финскими языками подытоживается выводом о существовании в регионе между Валдаем и нижней Вислой языкового союза с участием локализуемых здесь "этнолектов". Вывод основывается на суммировании и анализе атрибутируемых данному союзу явлений, таких как симметрия вокалических систем, интенсивное развитие дистриктивной мягкости (вплоть до спирантизации палатальных), аккомодация, колебание согласных по признаку звонкости-глухости (ср. "baltische und slavische bjp-Fälle" по В. Кипарскому), тенденция к элиминации грамматического рода и ряда других (CPP, с. 99–120). Л. Беднарчук справедливо указывает, что привлекаемые им факты не исчерпывают всех исследуемых сходжений. Более важно, однако, то, что на основании имеющихся данных правильнее говорить все же о влияниях, а не о союзности и х языковой союз, но не "дотягивающих" до него из-за отсутствия достаточной полноты и гомогенности в реализации совокупности наблюдаемых конвергенций на всем ареале "południowo-wschodnich Pojezerzy Bałtyku" (CPP, с. 144)¹. Автора можно упрекнуть в игнорировании двух важных обсуждений проблематики языковых союзов в Прибалтике [10; 11]. Полезно было бы учесть работу, демонстрирующую разительные славянско-самодийские типологические сходства в развитии корреляции по палатальности [2. С. 114–119]. Не учитывает Л. Беднарчук полученную этимологическими средствами аре-

ально-генетическую характеристику "являющегося" языка [12], вносящую серьезные оговорки к предположению, что "являющийся" был "этнолектом", первоначально локализовавшимся у "pogranicza fińskiego", где-то в Курляндии (CPP, с. 106).

В. Смочинский, инициатор и издатель LgB и CPP, предлагает обширное исследование о прусских гапаксах на примере *dėigiskan* 'mild' (LgB, с. 143–171), а также обоснование фонетического закона, на которому в прусском имела место деназализация типа *aN > ai* (CPP, с. 47–83). Если это обоснование подтвердится, оно "будет иметь далеко идущие последствия для реконструкции прусской падежной системы..." (А. Холвут, LgB, с. 294). В "Хронике" LgB (с. 285–291) В. Смочинский публикует некролог выдающегося языковеда Я. Сафаревича (1904–1992 гг.).

Статья Э. Хэмпа о "кентумных" элементах в балто-славянском (ср. прус. *balgnan* 'седло' при *balsinis* 'подушка' и т.п.), трактующая их как заимствования из "соседних кентумных диалектов" (LgB, с. 7–10), пожалуй, не дает ощутимого прогресса в решении проблемы, ср. более широкую ее постановку В.Н. Чекманом ([13] – "кентумные" рефлексии и рефлексии и.-е. $R > ur$ как следы некоего индоевропейского диалекта). В другой статье Хэмпа (CPP, с. 13–14) в прус. *brote* 'брат' и в "Энхиридионе") *brāu* 'то же', *ducktu* 'дочь' усматриваются отражения и.-е. **bhrātē* и **dhughitē* (без -r). В статье Дж. Левина с интригующим названием "Голуби, коровы и апрель в Литве" рассматриваются лит. *balai̯dis* 'голубь', 'апрель' и 'безрогая скотина', *karvėlis* (собственно, 'коровка') 'голубь' и 'апрель'. Доказывается, что *balai̯dis*, в основу которого положен признак белизны – первоначальный эпитет к утраченному **galambis*, ср. слав. **golq̃bь* (LgB, с. 85–91). Связующее же звено между коровой и голубем усматривается в том, что голубь – единственная птица, кормящая своих детенышей молоком, ср. лит. *balandžio pienas* (с. 87). Отнюдь не исключая правдоподобности соображений автора, нельзя не отметить, что его оригинальная аргументация (преимущественно – экскурсы в область орнитологии и биологии) оставляет без всяких комментариев – хотя бы критических – известное сравнение *balai̯dis* 'голубь' с осет. *bəlon* 'голубь домашний', заа *baurān* 'голубь' ([14] – наряду с малоудачным сопоставлением *bəlon* с др.-инд. *bāla*- 'дитя'), а также параллелизм лит. *balai̯dis* 'голубь' – *balānda* 'лебеда' и слав. **elbedь* 'лебеда' – **elbeda* 'лебеда'. Лит. *karvėlis* 'голубь' очень близко к рус. диал. (владимир.) корьвка 'порода

¹ Выработке мнения рецензента по поводу статьи Л. Беднарчука способствовала консультация Е.А. Хелимского.

небольших диких голубей; голубь этой породы' ([15]; Ф. [4. Вып. 11. С. 119]), которое, по Левину, тоже следовало бы отнести на счет "одних и тех же эндокринных механизмов у голубей и млекопитающих" (LgB, с. 88). В Тенхаген правдоподобно толкует значение прус. *mercline* (Э 248) как 'Nieselregen, моросищий дождь' и сближает его с лит. *merkii merkiu* 'мочить' (LgB, с. 113–125). Нельзя все же исключать если не родство, то, по крайней мере, контаминацию *mercline* с фактами типа лит. *mérkiu mērkiu* 'закрывать глаза, мигать' (любопытны с.-хорв. *mrkлина, mrkлина* 'темнота', 'мрак'), ср. рус. диал. *морбчить* 'моросить': 'мелкий дождь' <'мрак с дождем'>'туча, мрак' (ср. [4. Вып. 19. С. 216, 218]). Р. Эккерт уточняет славянское соответствующее прус. *kellewesze* 'возница' – рус.-цслав. *коловозьць, коловозець* 'кочевник' (LgB, с. 179–182). Он же дает утвердительный ответ на вопрос "Gibt es eine altpreußische Phraseologie?", подтверждая свое мнение (эксплицирующее уже имеющиеся наблюдения В.Н. Топорова) перечислением нескольких примеров, таких, как прус. *Deiwa engraudis* 'erbarme dich Gott', рус. *не грусти Бога – грех* (СРР, с. 7–11). Строго говоря, речь здесь идет не о фразеологизмах, а об устойчивых лексических сочетаниях. Справедливо напоминание о необходимости создания нового балто-славянского словаря (взамен известного словаря Р. Траутмана) как давно назревшей задаче балто-славянского языкознания, В. Борысь предлагает удачное сближение словен. *végašt* 'шаткий, неустойчивый', *végav* 'то же', *végati se* 'шататься', с.-хорв. *végav* 'кривой, изогнутый' и близких фактов с лит. *véngti* 'избегать, уклоняться, увилывать' и проч. (LgB, с. 193–199). Полезно напомнить, что с помощью лит. *véngti*, а также *vangus* 'вялый, медлительный, ленивый', *vingiuoti* 'извиваться, петлять' и т.п. В. Урбугис подтверждал сопоставление чеш. *liknavý* 'нерешительный, медлительный', 'колеблющийся', 'ленивый' с лит. *ližklas* 'тонкий, гибкий, стройный' [16]. Перечень балто-южнославянских лексических соответствий пополняется и в другой статье В. Борыся (СРР, с. 129–134), где ю.-слав. **eža* 'полоса земли', 'межа', 'грядка' отождествляется с лит. *ežā*, лтш. *eža* в сходных значениях < балт.-слав. **ež iā*.

В статье К. Витчака, содержащей обоснование реконструкции и.-е. **ək'pēwā* 'бузина' и анализ его балтийских и других рефлексов (LgB, с. 201–211), обращает на себя внимание сообщение, что в университете г. Лодзь готовится "a new Indo-European dictionary" (LgB, с. 208, примеч. 12). Статью

завершает "lexical entry" из этого словаря (э2 передается в нем как *ā*) для **ək'pēwā*, где приводятся, кроме прочего, греч. *ακτέα* 'бузина' и балт. **žewā* 'то же' > лит. *žėivā-medis, žėiv-medis* 'то же'. "Неожиданный дифтонг", по мнению автора, обусловлен народно-этимологическим притяжением рефлекса балт. **žewā* к *žėivā* 'цевка, шпудля'. Однако, предлагаемое объяснение лит. *žėiv(a)-medis, žėiv-medis* 'бузина' (то же слово применяется и к разновидностям *Sambucus*, бузины – *Sambucus racemosa* и др., и к сирени – *Syringa vulgaris*), скорее всего, ошибочно. Это слово генетически тождественно *žėivā*, ср. еще слав. **сѣва* 'цевка, трубка из стебля растений', 'трубка, дудка', **сѣвъ* 'то же' (ср. и диал. **кѣвъ* 'то же', а также фин. *käämi, käävi* 'цевка', эст. *kääv* 'то же' < рус. [17]). Это тождество доказывается той особенностью бузины (или сирени), что из ее стволов "... благодаря легкости извлечения сердцевины получают трубочки, свирели", ср. лат. *syringa* 'сирень' < греч. *σῦριγξ* 'трубка, флейта, свирель', с.-хорв. *сijев'turka z b z u lub trzciny*' [5. Т. II. S. 85]. Лит. *žėiv(a)medis* можно сопоставить с рус. *цѣвочникъ-пищальникъ* '*Sambucus racemosa*' [18], ср. *цєвница* 'свирель, флейта'. Реконструкция балт. **žewā* 'бузина' у Витчака крайне сомнительна (не внушает большого доверия и **ək'pēwā*). В другой статье К. Витчак отвергает предположение Я. Эндзелма о реликтах дуалиса в прус. *nozu* 'нос' и *austo* 'рот' (Э 85, 89), усматривая такие рефлексy в прус. *strannau* 'бедро', *broakau* 'штаны' (Э 136, 481), а также в "ятвяжск." *libai* 'губы' (СРР, с. 93–98). Пока нет уверенности, что гипотезу Витчака нельзя оценить его собственным вердиктом по поводу упомянутого предположения Я. Эндзелма: "... not convincing, because... these forms can be explained in another way" (СРР, с. 93).

Г. Риков в терминах ларингальной теории уточняет индоевропейский источник лит. *pažėl* 'напрасно' и сравниваемых с последним индоевропейских фактов (LgB, с. 213–216). С. Каралюнас рассматривает балтийские и другие рефлексy и.-е. **žl-* 'гореть, пылать', в частности, лит. *aiškus* 'ясный, светлый', слав. **žs(k)ъ* 'то же', прус. *epnoys* 'лихорадка' (LgB, с. 217–223; в статье дважды приведено др.-инд. *indhē*, надо: *inddhē*). Кроме того, Каралюнас на основании реконструируемого им балт. **arwa-* 'быстрый' объясняет прус. *arwaikis* 'жеребенок' (Э 484); прус. *swintian* 'свинья' и лит. *svūnas* 'загон для свиней' он

связывает с и.-е. *s^hin(o)- 'свинья', а прус. *seweynis* 'свинарник' вслед за Я. Эндзелином – с и.-е. *s^h 'свинья' (СРР, с. 14–21).

Г. Микелини выявляет некоторые общие моменты в текстологии "Эхиридиона" и древнелитовского перевода латинского трактата "Margarita Theologica" (СРР, с. 31–37). Обосновывая неправомочность пренебрежения данными описаний прусов у Э. Стеллы и П. Джамбуллярно (XVI в.), П. Дини анализирует содержащиеся в них следы преданий о Видевуте и его имя *Biotterus-Biottero*, обобщенное вниманием в прусской этимологии (СРР, с. 135–141).

В.Н. Топоров в широком археологическом и этноязыковом контексте рассматривает "круг гидронимов Верхнего Подонья, подозреваемых в балтийском происхождении" – *Смолка, Табола, Деготенка, Мжара* и т.п. (LgB, с. 225–240). А. Балуоде разбирает ряд тождественных семантических мотивировок (по цветовому признаку) латышских, литовских и прусских гидронимов (LgB, с. 157–172), а К. Шчесняк – особенности написания восточнопруссских топонимов в ряде документов середины XIX в. (СРР, с. 173–176).

Трагическая участь литовского населения бывшей Восточной Пруссии (Прусской Литвы) и балтийской топонимии этого региона – тема статьи З. Зинкявичюса, затрагивающего также вопрос о современном состоянии и изучении тамошних литовских говоров (LgB, с. 63–69). "Сталинисты не оставили в древнем краю балтов ни единого литовского или иного балтийского названия..." (с. 65), причем, заменялись даже гидронимы, ср. *Aismarès* → *Вислинский залив*, *Ametà* → *Строговка*, *Gilijà* → *Матросовка*, *Netunūnas* → *Злая* и т.п.

Высказанные выше в порядке дискуссии замечания ни в коей мере не препятствуют общему выводу о чрезвычайно высоком научном уровне LgB и СРР. Все без исключения статьи обнаруживают превосходное знание материала, отточенную исследовательскую технику, широту и "остроту" в трактовке наиболее актуальных проблем балтистики. Хорошее впечатление оставляет полиграфическая сторона дела. Поздравляя издателей и участников обоих изданий с успешным дебютом, хочется пожелать не менее успешного их продолжения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дыбо В.А. Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. М., 1981.
2. Хелимский Е.А. Две заметки о славяно-самодийских аналогиях // Балто-славянские исследования 1983. М., 1984.
3. Топоров В.Н. Прусский язык. Словарь. А–D. М., 1975. С. 344.
4. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 8. М., 1981. С. 185.
5. Słownik prasłowiański. T. VI. Wrocław, 1991. S. 13.
6. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе награнічча. Т. IV. Мінск, 1984. С. 587.
7. Откупщиков Ю.В. Балтийские и славянские прилагательные с -и- основой // Baltistica 1983. XIX/1, С. 13–14.
8. Палмайтіс М.Л., Топоров В.Н. От реконструкции старопрусского к рекреации новопрусского // Балто-славянские исследования 1983. М., 1984. С. 36–63.
9. Непокупный А.Л. Славянские названия земноводных в составе северноевропейского словаря // Слов'янське мовознавство. Київ, 1993. С. 112–123.
10. Топоров В.Н. К балтийско-скандинавским мифологическим связям // Donum Balticum. To Prof. Ch. S. Stang on the occasion of his 70th birthday. Stockholm, 1970.
11. Судник Т.М., Толстая С.М., Топоров В.Н. К характеристике южной части балтийско-славянского языкового союза // Советское славяноведение 2, 1967.
12. Орел В.Э., Хелимский Е.А. Наблюдения над балтийским языком польско-"ятвяжского" словарика // Балто-славянские исследования. 1985. М., 1987.
13. Чекман В.Н. Об отражении индоевропейских плавных в балтославянском языковом ареале // Acta Baltico-Slavica, 1976. 9. С. 17.
14. Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.–Л., 1958. С. 249.
15. Словарь русских народных говоров. Вып. 14. Л., 1978. С. 355.
16. Urbutis V. – Baltistica VIII/2, 1972: Rec.: Этимология 1968. М., 1971.
17. Николаев С.Л., Хелимский Е.А. Славянские (новгородско-псковские) заимствования в прибалтийско-финских языках: -а- и -и- в рефлексах имен мужского рода // Uralo-Indogermanica. Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. Материалы 3-ей балто-славянской конференции. Ч. I. М., 1990. С. 41.
18. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 4-е изд. СПб.–М., 1913. Т. I. Стлб. 336.

А.Е. Аникин

**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
"ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ" В 1994 г.**

СТАТЬИ

Баранов А.Н. Заметки о <i>дескать</i> и <i>мол</i>	4
Бондарко А.В. К проблеме интенциональности в грамматике (На материале русского языка).....	2
Бэбби Л.Х. Нестандартные стратегии выбора падежа, задаваемого синтаксическим контекстом.....	2
Веретенников А.А. Об одной грамматической инновации в современном персидском языке (некодифицированная функция послелога <i>-ra</i>).....	1
Гузев В.Г. К вопросу о слоговом характере тюркского рунического письма.....	5
Гуревич В.В. Указательная связь в общей системе синтаксических связей.....	2
Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода.....	4
Джапаридзе З.Н. О методах изучения и природе субсенсорных фонетических единиц.....	1
Домашнев А.И. К проблеме языка общения в объединенной Европе.....	5
Зеликов М.В. Эллиптические модели в языках Испании (Ареальные черты, происхождение и функционирование).....	1
Золотова Г.А. О новых возможностях лексикографии.....	4
Иванов Н.В. Смысловая функция артикля: опыт логико-философского анализа (На материале португальского языка).....	2
Иткин И.Б. Еще раз о чередовании <i>e ~ 'o</i> в современном русском языке.....	1
Караулов Ю.Н. Памяти С.Г. Бархударова.....	4
Климов Г.А. Фрагмент культуры древних картвелов по данным языка.....	6
Козинцева Н.А. Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа).....	3
Корди Е.Е. Безличные конструкции в современном французском языке (Синтактико-деривационный и типологический подход).....	3
Крейдли Г.Е. Метафора семантических пространств и значение предлога.....	5
Крысько В.В. Заметки о древненовгородском диалекте (I. Палатализация).....	5
Крысько В.В. Заметки о древненовгородском диалекте (II. <i>Varia</i>).....	6
Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука.....	4
Кузнецов П.И. О происхождении тюркских падежных аффиксов.....	2
Кузнецов П.И. Система узковокалических формантов в древнетюркском – среднеазиатскотюркском – османском – турецком языках.....	6
Кустова Г.И., Падучева Е.В. Словарь как лексическая база данных.....	4
Левичкий В.В. Фонетическая мотивированность слова.....	1
Лепская Н.И. Детская речь в свете теории коммуникации.....	2
Лёнигрэн Л. Опыт построения ассоциативного словаря шведского языка.....	4
Михайлова Т.А. "Красный" в ирландском языке: понятие и способы его выражения.....	6
Нефедьев М.В. Семантическая эволюция глагольных приставок <i>na-</i> и <i>ob-</i> в истории русского языка XI–XVIII вв.	4
Николаев С.Л. Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов.....	3
Пильх Г. Язык или языки? Предмет изучения лингвиста.....	2
Поликарпов А.А., Курлов В.Я. Стилистика, семантика, грамматика: опыт анализа системных взаимосвязей (По данным толкового словаря).....	1

омазан Н.Г. Характеристика алеманнского диалекта (Центральный и маргинальные ареалы).....	2
омирко Р.С. Звуковые альтернации и семантика слова.....	1
охилина Е.В. О лексических базах данных.....	4
эдеи К. Влияние церковнославянского языка на семантику и синтаксис древнезырянского.....	3
эзина Р.И. Объект, средство и цель в семантике глаголов полного охвата.....	5
эзина Р.И. Когнитивные отношения в таксономии. Категоризация мира в языке и в тексте.....	6
удницкая Е.Л. Некоторые классы сентенциальных наречий в русском языке. Семантика. Синтаксис. Лексикография.....	1
узин И.Г. Когнитивные стратегии именованья: модусы перцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и их выражение в языке.....	6
абанеева М.К. О сущности наклонения.....	5
едов В.В. Восточнославянская этноязыковая общность.....	4
ань Аошуан. Китайский язык и концептуальный мир говорящего (на примере показателя <i>men</i>).....	5
опорова Т.В. О древнеисландских формулах хаоса и конца мира и их индоевропейских соответствиях.....	4
руб В.М. О коммуникативных аспектах отрицания как негативной оценки истинности.....	1
рубачев О.Н. Маргиналии к новому "Этимологическому словарю древнеиндоарийского языка" М. Майрхофера.....	3
рубачев О.Н. Мысли о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания (по поводу новой книги: Leszek Moszyński. Die vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft. Böhlau Verlag, Köln - Weimar - Wien, 1992).....	6
ураева З.Я. Лингвистика текста и категория модальности.....	3
раковский В.С. Условные конструкции: взаимодействие кондициональных и темпоральных значений.....	6
аннон Р. О новом подходе к анализу грамматических отношений.....	1
ернышева М.И. К вопросу об истоках лексической вариантности в ранних славянских переводах с греческого языка: переводческий прием "двуязычные дублеты".....	2
Гаховский В.И. Типы значений эмотивной лексики.....	1
ИUTOBA E.И. Проблема выделения слова в китаеведении.....	4
Дека Ю.В. Гипотеза о возможных этапах языковой эволюции (На материале интонологии турецкого языка).....	1
дельман Д.И. Состояние и перспективы сравнительно-исторической лексикологии иранских языков.....	3
Ковлева Е.С. Фрагмент русской языковой картины времени.....	5
Книн В.Л., Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1990-1993 гг.....	3
Кнко Т.Е. Когнитивные стратегии в речи: коммуникативная структура русских интродуктивных предложений.....	6

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. Из неопубликованного наследия А.М. Сухотина.....	6
Зондарко Л.В. К девяностолетию со дня рождения Л.Р. Зиндера.....	4
Замятина Н.А. Рукописная картотека "Материалы для словаря графических искусств старого и нового времени" П.К. Симоны.....	6
Зиндер Л.Р. Бодуэн, Щерба и истоки фонологической теории Трубецкого.....	4
Мосс К. Ольга Фрейденберг и марризм.....	5
Сухотин А.М. Тезисы к докладу-реферату о "Курсе общей лингвистики" Фердинанда де Соссюра.....	6
Циркова А.Г. Пражская школа и академик Богуслав Гавранек.....	3

ОБЗОРЫ

Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дискурсу	5
Плунгян В.А., Рахилина Е.В. О некоторых направлениях современной французской лингвистики	5
Трубачев О.Н. О работе XI Международного съезда славистов (историческое языкознание)	4

РЕЦЕНЗИИ

Алпатов В.М. <i>Кибрик А.Е.</i> Очерки по общим и прикладным вопросам.....	1
Аникин А.Е. <i>Linguistica Baltica. Colloquium Pruthenicum Primum</i>	6
Бабенко Н.С. <i>Баранов А.Н., Добровольский Д.О.</i> Немецко-русский и русско-немецкий словарь лингвистических терминов (с английскими эквивалентами).....	4
Вернер Г.К. Языки мира. Уральские языки	6
Демьянков В.З. <i>Jacob A. Temps et langage: Essai sur les structures du sujet parlant</i>	1
Долинин К.А., Дымарский М.Я. In honour of Professor Victor Levin. Russian philology and history	1
Домашнев А.И., Ермолаева Л.С. <i>Schirmunski V. Linguistische und ethnographische Studien über die alten deutschen Siedlungen in der Ukraine, Rußland und Transkaukasien</i>	2
Ермакова О.П. <i>Земская Е.А.</i> Словообразование как деятельность	1
Каменева М.С. <i>Веретенников А.А.</i> Очерки глагольной фразеологии персидского языка.....	4
Кёстер-Тома З. Sprachlicher Substandard I-III	3
Князев Ю.П. Verbal aspect in discourse. Contributions to the semantics of time and temporal perspective in Slavic and non-Slavic languages	2
Красухин К.Г. Reconstructing languages and cultures	5
Крысько В.Б. <i>Чекмонас В.</i> Введение в славянскую филологию; <i>Сунрун А.Е.</i> Введение в славянскую филологию; <i>Чедиа В.В.</i> Введение в славянскую филологию....	2
Крысько В.Б. <i>Рождественская Т.В.</i> Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые источники XI-XV вв.	4
Купина Н.А., Матвеева Т.В. Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект.....	5
Макеева И.И., Пичхадзе А.А. Die Lexik der altrussischen Version des "Jüdischen Krieges" des Flavius Josephus.....	2
Мейеров В.Ф. <i>Иванова В.Ф.</i> Современная русская орфография.....	3
Плунгян В.А. <i>Haspelmath M.</i> A grammar of Lesgian.....	3
Подлеская В.И. <i>Craft W.</i> Syntactic categories and grammatical relations: the cognitive organization of information	5
Семенюк Н.Н. <i>Krohn D.</i> Grundwortschätze und Auswahlkriterien. Metalexikographische und fremdsprachdidaktische Studien zur Struktur und Funktion deutscher Grundwortschätze.....	6
Сорокин Ю.А. <i>Семенов А.Л.</i> Лексикология современного китайского языка	5
Ходорковская Б.Б. Latein und Indogermanisch. Akten des Kolloquiums der Indogermanischen Gesellschaft, Salzburg, 23-26 September, 1986	3
Широков О.С. <i>Климов Г.А.</i> Основы лингвистической компаративистики.....	2
Щербак А.М. Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft.....	1

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки.....	2-5
---------------------------	-----

CONTENTS

O.N. Tr u b a š e v (Moscow). Thoughts on the pre-Christian religion of the Slavs in the light of Slavic linguistics (in connection with L. Moszynski's book "Die vorchristlichen Religion der Staven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft"); V.B. K r y s ' k o (Moscow). Remarks on the Old Novgorod dialect (II. Varia); G.A. K l i m o v (Moscow). Fragments of culture of the ancient Kartvelians in the light of linguistic data; T.E. J a n k o (Moscow). Cognitive strategies in speech: communicative structure of the Russian introductory sentences; R.I. R o z i n a (Moscow). Cognitive and taxonomic relations. Categorisation of the world in language and in text; I.G. R u z i n (Moscow). Cognitive strategies of naming: moduses of perception (the sight, the hearing, the sense of touch and smell, the taste) and their expression in language; P.I. K u z n e c o v (Moscow). The system of narrow-vocalic formants in Old Turkic – Middle Asian Turkic – Osmanic – Turkish; T.A. M i - x a i l o v a (Moscow). The red colour in Irish: the notion and means of its expression; V.S. X r a k o v s k i j (St-Petersburg). Conditional constructions: interaction of conditional and temporal meanings: **From the history of science**: F.D. A š n i n , V.M. A l p a t o v (Moscow). From the unpublished heritage of A.M. Suxotin; A.M. S u x o t i n. The main points of the report "On F.de Saussure's "Course of general linguistics"; N.A. Z a m i a t i n a (Moscow). A manuscript card-index "Materials for a Dictionary of graphic arts of old and new times" by P.K. Simoni (1918); **Reviews**: G.K. W e r n e r (Bonn). Languages of the world. The Uralic languages; N.N. S e m e n i u k (Moscow). *D. Krohn* Grundwortschätze und Auswahlkriterien. Metalexikographische und fremdsprachdidaktische Studien zur Struktur und Funktion deutscher Grundwortschätze; A.E. A n i k i n (Novosibirsk). *Linguistica Baltica*. Colloquium Pruthenicum Primum; Index of articles and reviews published in the journal "Voprosy Jazykoznanija" in 1994.

Технический редактор *Н.С. Евсеева*

Сдано в набор 26.08.94. Подписано к печати 6.10.94 Формат бумаги 70 × 100 1/16.
Офсетная печать. Усл.печ.л. 13,0 Усл.кр.-отг. 24,9 тыс. Уч.-изд.л. 15,7 Бум.л. 5,0.
Тираж 1881 экз. Зак. 1761

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-74-42
Московская типография № 2 РАН, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

ОБЩЕСТВО ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ

Целью Общества Лингвистической Типологии (ОЛТ), основанного в марте 1994 года, является содействие прогрессу научных исследований по типологии, иначе говоря, внутриязыковому многообразию и лежащих за ним структур. С этой целью ОЛТ будет стремиться (i) способствовать взаимной осведомленности, диалогу и сотрудничеству внутри международного сообщества типологов, и (ii) придать типологии более четкую позицию как в рамках, так и за пределами языкознания, и, в особенности, действовать от лица сообщества типологов, объединенных общим интересом, по отношению к миру науки и научному финансированию. Основной общественной деятельностью будет (i) организация регулярных собраний и, возможно, рабочих семинаров, (ii) издание журнала и (iii) ежегодное присуждение премии за выдающееся исследование по типологии.

Являясь ассоциацией лингвистов, у которых специальные профессиональные знания лежат в области лингвистического многообразия, ОЛТ разделит ответственность за дело огромного культурного значения – документацию и поддержание этого многообразия, которому угрожает драматическое сокращение в ближайшем будущем.

На совещаниях ОЛТ, которые будут проводиться ежегодно в разных местах, и, по возможности, в связи с собраниями ассоциаций по изучению конкретных языковых семей, первоочередное внимание будет уделяться детальному представлению и обсуждению исследований по типологии, достойных обсуждения. Вступительное первое совещание запланировано на ноябрь 1995 года; ему будет предшествовать предварительное собрание осенью 1994 года (возможно, в г. Констанц, Германия).

Хотя типология представляет заметную область исследования, она не имеет специализированного журнала, за который бы международное сообщество типологов могло бы нести полную ответственность. ОЛТ ставит целью основать такой журнал с названием *Linguistic Typology* (*Лингвистическая Типология (ЛТ)*). Обслуживая специальные потребности сообщества типологов, ЛТ, по нашим намерениям, будет содержать следующие постоянные элементы: (i) целевые статьи с комментариями, как это было впервые начато в *Current Anthropologist* и в *Behavioral and Brain Sciences*; (ii) обычные статьи; (iii) "накопитель смысловых значений", документирующий смысловые универсалии, становой хребет типологии; (iv) типологические профили отдельных языков или семей; (v) основные тематические библиографии; (vi) основные моменты из истории типологии; (vii) обзоры, обзорные статьи, уведомления о книгах. Стандартным языком публикаций будет английский, хотя и другие широко известные языки не исключаются.

Для подготовки почвы для ЛТ, ОЛТ начнет выпускать с осени 1994 года *Working papers in Linguistic Typology* (*Рабочие публикации по Лингвистической Типологии*).

Будут две основные категории членства: постоянные члены и учащиеся. Годовые взносы, значительно более низкие для учащихся, будут определены так, чтобы покрыть затраты на работу ассоциации. Право членства будет включать (i) свободную подписку на журнал ОЛТ (то есть подписка на журнал будет обязательной для членов, и часть взносов будет использована на оплачивание журнала); (ii) представление работ на совещаниях; (iii) занятие должностей в ОЛТ и право голоса на выборах и конкурсах на награду.

Если Вы заинтересовались ОЛТ или уже знаете, что хотите стать ее членом, обращайтесь в представительства ОЛТ (адреса указаны ниже).

Frans Plank, Sprachwissenschaft Universität Konstanz, Postfach 5560 D 175, D-78434 Konstanz, Germany. Tel: +49-7531-882656/882465/57450; Fax: +49-7531-882741

Johan van der Auwera, Linguistiek (GER), Universiteit Antwerpen (UIA), B-2610 Antwerpen, Belgium. Tel: +32-3-8202776; Fax: +32-3-8202244

Типологи всех стран, соединяйтесь!

Апрель 1994 2